



Виктория Федорова, Гескел Фрэнкл

Ж Е Н Щ И Н А - М И Ф

# ДОЧЬ АДМИРАЛА





Victoria Fyodorova, Hansel Frankel

# THE ADMIRAL'S DAUGHTER

Delacorte Press  
New York 1979

Виктория Федорова, Гэнсэл Фрэнкл



ЖЕНЩИНА - МИФ

# ДОЧЬ АДМИРАЛА

Смоленск "Русич"  
1997

**ББК 84(7США)**

**Ф 33**

**УДК 820(73)**

*Серия основана в 1995 году*  
Перевод с английского *Г. Шахова*  
Редактор *А. Панкова*

Публикуется впервые с разрешения авторов и их литературного агента. Любые другие публикации настоящего произведения являются противоправными и преследуются по закону.

**Ф 33**      **Федорова В., Фрэнкл Г.**  
**Дочь адмирала: Документальная повесть /**  
**Пер. с англ. Г. Шахова. — Смоленск: Русич,**  
**1997. — 480 с. — (Женщина-миф).**  
**ISBN 5-88590-531-2.**

Книга Виктории Федоровой, написанная в соавторстве с Гэскелом Фрэнклом, напоминает голливудский сценарий фильма со счастливым концом: молодая русская актриса встречается с отцом-американцем, которого никогда в жизни не видела. Однако полная история жизни двух русских женщин — Зои и Вики Федоровых — куда сложнее.

История любви американского военного и русской актрисы, дорого заплатившей за мгновения счастья, в свое время облетела весь мир и вот наконец вернулась к российскому читателю.

**Ф 8200000000**

**ББК 84(7США)**

**ISBN 5-88590-531-2**

- © Перевод. «Прогресс» — «Литера», 1995
- © Текст. В. Федорова
- © Ю. М. Нагибин. «Афанасьич», рассказ
- © Разработка и оформление серии. «Русич», 1996
- © Художник. А. И. Барило, 1996



Моей дорогой мамочке, чья любовь согревала меня и в добрые, и в тяжкие времена, где бы я ни была — рядом или вдали от нее, — и которая всегда будет жить в моей памяти.

*В.Ф.*

Моим родителям — Силли и Тобиасу Фрэнкл, которые всегда верили в меня, а также Мэй и Гарольду Фридмен, которые верили, но не могли ждать.

*Г.Ф.*



## ПРОЛОГ

### ВИКТОРИЯ

Еще и сейчас, проснувшись утром и выглянув из окна спальни, я прихожу в замешательство. Судьба забросила меня на другую половину земного шара, и я не сразу понимаю, где я.

Но потом вспоминаю. Это Коннектикут, я дома, я в безопасности. Осознав это, я улыбаюсь. Какие странные слова. Дом. Безопасность. Дом для меня — это что-то сиюминутное. Мне неведомо глубинное значение этого слова, ибо жизнь внушила мне страх: добро не вечно, а зло всегда возвращается.

Наверно, этим же объясняется и мое отношение к слову «безопасность». В памяти с детства осталось слишком много жестокого, слишком много злых людей, чьи лица все еще стоят у меня перед глазами, чтобы я могла чувствовать себя в безопасности.

И все же я дома, я в безопасности. Мне так часто напоминают об этом, что я наконец и сама начинаю этому верить. Но полной уверенности у меня нет. Будет ли когда-нибудь?

Все так странно. Я в Соединенных Штатах, но я еще не американка. Я покинула Россию, но я все еще русская. Ощущение такое, словно сидишь в вагоне поезда, глядя, как за окном проносится мир. Ты сидишь неподвижно, а мир летит мимо тебя.

Мне часто приходит в голову, что, если бы кому-нибудь довелось увидеть меня в те часы, когда я



остаюсь дома одна, они бы решили, что я сошла с ума. Бывает, я иду по комнате и вдруг останавливаюсь как вкопанная, а бывает, начинаю ни с того ни с сего смеяться, хотя ничего смешного вокруг нет. Но я-то знаю, почему это происходит.

Однажды я шла куда-то через столовую и вдруг замерла на полпути. Я проходила в тот момент мимо вазы с фруктами, не обратив на них никакого внимания. Яблоки и апельсины. Они уже стали чем-то таким привычным, что я их и не заметила. Подумать только, а ведь я хорошо помню время, когда апельсин виделся мне лишь в мечтах, в несбыточном сне.

А однажды я вдруг поймала себя на том, что стою перед открытым холодильником и громко смеюсь. За минуту до того мне вздумалось сделать себе бутерброд, и я застыла в нерешительности, не зная, что выбрать: ветчину или болонскую копченую колбасу. Представляете, такая проблема! Это для меня-то, до восьми лет не знавшей вкуса мяса! Я вспомнила о всех тех людях, которые остались в моем прошлом, у которых никогда не будет возможности выбора между ветчиной и болонской копченой колбасой, вспомнила и разревелась.

Я знаю — я очень счастливая. К тому же мне не раз говорили об этом. В какой-то мере так оно и есть. Но только в какой-то мере. Бог одарил меня чудесными подарками, но какими же странными путями они дошли до меня!

В ушах до сих пор звучат слова, по-прежнему причиняя боль, — безотцовщина, подкидыш, сиротка. Они мучают и ранят даже сейчас, когда сама жизнь опровергла их. У меня есть и отец и мать, хотя в глубине души я все еще никак не осознаю этого. Впервые я увидела свою мать, когда мне было девять лет, а отца — почти в тринадцать. За всю жизнь мне ни разу не случилось оказаться в той единственной комнате, сидя в которой я могла бы, по-



вернув голову, перевести взгляд с отца на мать. И ни разу не случилось такого мгновения, когда бы весь мой мир сосредоточился в одном месте. Это всего лишь сон, которому теперь уже никогда не суждено сбыться.

Но ведь столько чудесных снов, в несбыточности которых меня твердо уверили, обернулись явью, что грех сетовать на тот один, совсем маленький, который не сбылся. Достаточно и того, что стоит мне вернуться мыслями в прошлое, как меня обступают чудеса. Ведь если в моем детстве было так много людей, с ненавистью отворачивавшихся от меня, желавших мне зла, то я помню и немало таких, что дарили мне улыбку и протягивали руку помощи. Я не забыла, сколько писем получила от людей со всего света, желавших мне благополучия и молившихся за меня. Я их до того никогда не встречала.

Я помню женщину, которая подошла ко мне в магазине сразу по приезде в эту страну. Она сказала, что знает, кто я, и протянула мне крошечный американский флажок. У меня на глаза навернулись слезы. Какая скромная доброта, какой исполненный значения жест! Я всегда ношу этот флажок с собой как доказательство того, что мечта стала явью.

Особняком от всех стоит Ирина Керк, которая всю душу вложила в то, чтобы отыскать мне отца. У других, так или иначе вмешавшихся в мою жизнь, были на то самые разные причины — моя история была отличным материалом для броской газетной статьи и для выигрышной рекламы, — но Ирина просто приняла ее близко к сердцу, и только это чувство двигало ее поступками. И каждый раз, когда из прошлого на меня вновь надвигаются злобные лица, я вспоминаю Ирину и понимаю, что не только злые люди живут на земле. В мире много и хороших людей, и я здесь именно благодаря им.

И благодаря им я обрела отца.



Если все прочитанное вами навело вас на мысль, что я человек не очень-то счастливый, то отчасти вы правы. Но всего лишь отчасти. Я вполне счастлива сейчас, только мне трудно отрешиться целиком от прошлого. Оно глубоко вошло в мою плоть, прочно утеснилось там и время от времени шевелится, напоминая о том, что оно живо и вовсе не собирается меня отпускать.

Больше всего меня пугает, когда я слышу от кого-нибудь, что мне выпала особенная жизнь. Я знаю, что так оно и есть, и все же каждый раз, прежде чем согласиться с этим, я на миг задумываюсь. Глядя на свою жизнь со стороны, я и впрямь вижу, сколь она необычна, но самой мне она таковой никогда не казалась. Я всегда жила одним днем, они шли своей чередой, и даже в самые худшие времена это придавало жизни какой-то смысл. Один день так или иначе перетекал в другой, в этом и заключалась моя жизнь. Наверное, русским это понять легче, чем кому-либо другому.

Мне кажется, что жизнь других людей всегда представляет завершенную мозаичную картину — составляющие ее кусочки могут меняться или увеличиваться в размере, но в самой картине нет пустых мест. Я же всю жизнь искала недостающие кусочки и старалась приладить их на нужное место, чтобы можно было в конце концов разглядеть на картинке себя.

Такую картинку мне не удавалось собрать целых тридцать лет, и вот наконец она у меня есть — сложенная целиком, как у всех других людей. И только теперь я могу заглянуть в свою прошлую жизнь, увидеть ее — всю полностью — и понять, почему и что произошло со мной, а также с моей матерью и с моим отцом.

## КНИГА ПЕРВАЯ

### ДЖЕКСОН РОДЖЕРС ТЭЙТ

Согласно семейному преданию, когда Леола Тэйт рожала сына, Эрнест Кернс Тэйт вместе с берейторским полком под командованием Тедди Рузвельта приближался к Кубе. Но мальчик родился 15 октября 1898 года, а испано-американская война закончилась в июле.

Где же был в таком случае Эрнест Кернс Тэйт? Собственно, это не столь уж и важно. Важно другое: в тот день, когда на свет появился его сын, Эрнеста Кернса Тэйта не было рядом с женой в Тэйтс-Айленде, штат Флорида. Впрочем, со времени их свадьбы он редко бывал дома. Наверно, Эрнесту Тэйту вообще не следовало жениться. Для человека, обуянного страстью к путешествиям, горящего желанием повидать мир, брак был слишком тяжелой обузой. По натуре своей он был, как тогда говорили, «искателем приключений», и именно это и пленило Леолу Роджерс, когда они повстречались в Клируотере, городке в штате Флорида.

В нем есть какая-то одержимость, твердила она с самой первой их встречи. И хотя друзей она уверяла, что — не в пример своим родителям — не придает значения таким пустякам, ей было приятно сознавать, что Эрнест принадлежит к столь славному



американскому роду. Один из Тэйтов был в свое время губернатором Теннесси, а отец Эрнеста — полковником в годы Гражданской войны. Если вам случится поехать на запад от Мемфиса, вам никак не миновать трех крупных плантаций — Джексонборо, Роджерсвилл и Тэйт-Спрингс; все они играют роль в истории Тэйтов. (Именно поэтому Леола сочла вполне правильным и пристойным дать сыну при крещении имя Джексон Роджерс Тэйт.)

После свадьбы Эрнест постоянно находился в отъезде, то в Центральной, то в Южной Америке, и Леоле оставалось лишь ждать его в Тэйтс-Айленде. Чем дальше он отсутствовал, тем глубже становилась ее обида. Но вот в один прекрасный день он внезапно появлялся дома, и от радости, что вновь видит его, она тотчас забывала свои обиды. Они говорили до глубокой ночи, он рассказывал ей обо всем, что видел и что совершил, а видел и совершал он так много всего, что от его рассказов у нее начинало путаться в голове, а нарисованные им картины представляли смутными, как в тумане. Он был произведен в генералы армии Никарагуа и в адмиралы флота какой-то другой страны. Нет никакого сомнения, заверял он ее, что Центральная Америка вот-вот станет частью Соединенных Штатов и, конечно же, его положение будет весьма выигрышным.

А потом он снова исчезал. А как же я? — спрашивала она себя. И разражалась слезами, пока не засыпала под шум набегавших на берег и откатывавшихся в море волн. Этот шум лишь усиливал чувство горечи. В ту пору, когда они решили пожениться, их мечтой было поселиться вдвоем на тропическом острове. И тогда мать Эрнеста Лиззи Кернс Тэйт, или Нэнан — ей нравилось, когда ее так называли, — преподнесла им свадебный подарок — остров Тэйтс. Но для томившейся в одиночестве женщины тропи-

ческого рая из острова не получилось. Для Леолы Роджерс Тэйт остров стал тропической тюрьмой.

Тот факт, что Леола стала матерью, отнюдь не превратил в отца Эрнеста. Конечно, когда он бывал дома, он преисполнялся чувством гордости за сына. Случалось, он качал его на колене, а по вечерам час-тенько поднимался наверх и проводил часок-другой у колыбели спящего ребенка. Леола иногда прокра-дывалась по лестнице следом за мужем и подсмат-ривала за ним из холла. Нежное, любящее выраже-ние его лица на какой-то миг возрождало у нее надежду, что брак их сохранится, хотя умом она по-нимала, что надеяться на это тщетно.

Мечте о рае на тропическом острове положил конец страшный ураган, бушевавший над островом с такой яростью, что Леола испугалась, как бы он не разрушил их дом. Она выбежала с ребенком на ру-ках из дому и привязала мальчика веревкой к стволу дерева, заслонив его от ветра своим телом. Эрнеста, который и на этот раз был не дома, ураган застал на материке — как всегда, вдали от его семьи. На своей моторке с одноцилиндровым двигателем он смог добраться до острова, только когда стих ураган.

Его встретила Леола, вне себя от пережитого, и тут же объявила, что с нее хватит, она сыта по горло жизнью на острове. Они перебрались к Лиззи в Там-пу и продали Тэйтс-Айленд за 7400 долларов. Полу-ченная ими прибыль была по тем временам весьма значительной, принимая во внимание, что Нэнан купила остров у федеральных властей всего за пол-торы тысячи долларов. В наши дни Тэйтс-Айленд получил другое название — Клируотер-Бич.

Тампа не внесла существенных изменений в се-мейную жизнь Тэйтов. Устроив жену и ребенка на новом месте, Тэйт тут же снова исчез.

Когда Джеку исполнилось три года, Леола окон-



чательно поняла, что жизнь замужней женщины с мужем-призраком ее не устраивает. И хотя в 1901 году развод не считался пристойным выходом из положения, Леола не видела другого пути. Лучше быть разведенной, чем без толку вянуть в жаркой Тампе.

Нэнан не перечила ей. Конечно же, Эрнест ее плоть и кровь, но она отнюдь не одобряла его поведения. По правде говоря, теряя такую прекрасную женщину, как Леола, он получал по заслугам. Но Нэнан, которой суждено было прожить до 103 лет, вовсе не собиралась терять внука.

Она заставила Эрнеста и Леолу подписать контракт, согласно которому они лишались всех прав на юного Джексона Роджерса Тэйта, после чего усыновила его.

Эрнест Кернс Тэйт снова отправился в плаванье по морям-океанам. Какое-то время он служил капитаном одномачтового рыболовного судна, промышленного у берегов Юкатана, потом первым помощником на шхуне, курсировавшей по южным морям. Пять лет он был капитаном парохода «Гаитянский принц», совершавшего рейсы между Нью-Йорком и Сингапуром. В Первую мировую войну он командовал торпедным катером. После войны вышел в отставку и вместе со своей второй женой и их сыном поселился в Лагуна-Бич, в Калифорнии.

Леола Роджерс Тэйт поначалу отправилась в Солсбери, штат Северная Каролина, а оттуда в Филадельфию, где повстречала Джона Говарда Хайнса, за которого и вышла замуж, — они прожили вместе до последнего дня его жизни.

Джек Тэйт оказался в весьма своеобразной ситуации, приходясь братом своему собственному отцу, деверем — своей матери (хотя и бывшей), сыном — бабушке и, как ни крути, дядей — самому себе. Нэнан отдала своему новому сыну всю душу и никогда

не простила Эрнесту его скитаний по свету. Все свои деньги она завещала «двум своим сыновьям, Джексону и Эрнесту», поставив Джека первым, а рожденного ею сына вторым. Однако банк, где она держала деньги, обанкротился в самом начале Депрессии, и ее сыновья остались ни с чем.

Первым учебным заведением, куда поступил Джек, была частная католическая школа Маунт-Вашингтон неподалеку от Балтимора в штате Мэриленд, которую держали монахини. Скорее всего, Нэнан выбрала эту школу вовсе не потому, что она была католическая, а лишь по той причине, что она считалась хорошей. При рождении Джексон Роджерс Тэйт был крещен в епископальной церкви. Но после двух или трех лет учебы в школе Маунт-Вашингтон его крестили заново — теперь уже в католическую веру. Эти два крещения мало сказались на нем. Сейчас он объясняет это так: «Я никогда не отличался большой религиозностью. Я искренне верю в Бога, но я не верю, что какая бы то ни было религия оставляет в душе особый след».

Следующей школой была Мэни-Скул в Кампбелле, штат Вирджиния, где он проучился до двенадцати лет. После этого Нэнан перевела его в другую частную школу, на сей раз в Булонь-сюр-Мэр во Франции. В четырнадцать лет он вернулся в Штаты и поступил в частную школу Филиппс-Брукс в Филадельфии. Там он жил у своей родной матери, миссис Джон Хайнс.

Из Франции Джек привез с собой нечто такое, чему было суждено определить всю его дальнейшую жизнь. Ему случилось увидеть там людей, поднимавшихся с земли в небо на каких-то странных машинах, которые они называли аэропланами. Мальчик был потрясен увиденным. Возможно, сыграло свою роль и подсознательное воспоминание о морских волнах, омывавших Тэйтс-Айленд. Как бы то ни было,



в шестнадцать Джек уже твердо знал, что хочет пойти на флот и хочет летать.

Это решение еще более окрепло в последних классах средней школы Уэст-Филадельфия — то была единственная в его жизни государственная школа. Судя по всему, переход в государственную школу был продиктован решением Леолы, а уж потом Нэннан отправила его в Колумбийскую подготовительную школу в Вашингтоне, славившуюся тем, что она направляла своих выпускников в Аннаполис и Уэст-Пойнт.

Джеку исполнилось девятнадцать, когда он получил назначение в Аннаполис — Соединенные Штаты только-только вступили в Первую мировую войну. Молодой, нетерпеливый, полный сил и энергии, он отправляет записку первому после него кандидату на это назначение — им был Джим Нолан, тот самый, который впоследствии будет служить младшим офицером под началом Джека: «Отправляйся в Аннаполис. С этой запиской я передаю тебе свое назначение. А я уезжаю во Францию, сражаться и победить в войне».

Какова была реакция Нэннан, история умалчивает, во всяком случае, Джек был зачислен в военно-морской флот матросом второго класса, начав тем самым свое восхождение по служебной лестнице. И хотя он несколько раз подавал рапорт с просьбой направить его на летные курсы, за время войны перевода в авиацию он так и не дождался. Но во Францию он отплыл уже в чине младшего лейтенанта, а войну заканчивал, работая переводчиком на Мирной конференции.

И если большинство американцев всеми силами рвались домой, то Джек заявил старшим офицерам: «Я бы охотно остался в Европе. Мне тут интересно».

Сознавал он это или нет, но принятое им решение мало чем отличалось от многих других реше-

ний, которые принимал в своей дальнейшей жизни Джексон Роджерс Тэйт. Быстрые, четкие, лишённые каких-либо сантиментов. Возможно, все это было заложено в нем с детства, но он научился мыслить самостоятельно, нимало не заботясь о том, чего ждут от него другие. Он не был эгоистом, просто он решал свои проблемы, исходя из того, какими они представлялись ему: правильными или нет.

Нэнан была уже очень стара, мать жила своей жизнью, и вольная жизнь моряка как нельзя более устраивала Джека Тэйта. Только и всего.

Ни разу за всю свою службу на флоте в разных частях света он не задался вопросом, похожа ли жизнь, которую он ведет, на ту жизнь, которую провел его отец. Подобные мысли были чужды Джеку. Человек живет, человек совершает поступки — только и всего.

Если у Нэнан и были какие-нибудь далеко идущие планы в отношении ее приемного сына, Джек так никогда о них и не узнал. И слава Богу, ибо Нэнан всегда мечтала, что он будет служить в акционерном обществе, занимающемся производством скобяных изделий в Тампе, в которое она вложила большие деньги, и со временем возглавит его. В кризисном 1929 году предприятие обанкротилось.

В 1921 году молодой младший лейтенант получил назначение на эсминец «Бори», который подготавливали к плаванию на верфях Крампа в Филадельфии. На борту «Бори» Джеку предстояло совершить первое свое путешествие в Россию. К тому времени Джек служил на флоте уже более двух лет.

По возвращении на родину в 1921 году он получил предписание о прохождении дальнейшей службы на «Лэнгли». «Лэнгли», в прошлом угольщик «Юпитер», стал после переоборудования первым авианосцем военно-морского флота США. С «Лэнгли» Джек расстался, поступив на летные курсы в

Пенсаколе, а закончив их, вернулся на корабль и отправился на нем в Панаму.

На военно-морской и воздушной базе в Панаме он командовал третьей эскадрилей торпедоносцев. Оттуда перешел в первую эскадрилью истребительной авиации, базировавшуюся на борту «Саратоги», а затем был переведен в Пенсаколу командиром учебной эскадрильи.

За годы скитаний он обзавелся женой — Хильдой Эвери, которая родила ему дочь, Жаклин. Хильда повсюду следовала за мужем, терпеливо поджидая его вместе с дочерью, когда он уходил в плаванье. Через пять лет после свадьбы она умерла от гипертонии — Джек был в это время где-то в море. Жаклин вырастила бабушка, мать Хильды, и дочь ушла из его жизни — еще один отголосок детства самого Джека.

Став летчиком-испытателем, Джек быстро завоевал репутацию человека, который может летать на любом самолете. Именно он испытывал первый самолет из когда-либо созданных Роем Груманном. В 1929 году он был участником знаменитого авиационного парада в Кливленде, когда девять одноместных «боингов»-бипланов, летящих в едином строю, выполняли фигуры высшего пилотажа. Будучи в Панаме, Джек на свой страх и риск пролетел вниз головой от Атлантического до Тихого океана, преодолев дистанцию в 46 миль за 12 минут.

В начале 30-х его пригласили на студию «Метро-Голдвин-Майер», где он продемонстрировал серию фигур высшего пилотажа на съемках фильма «Адские водители», сделавшего кинозвездой Кларка Гейбла. Гейбл и Джек стали друзьями. В последующие годы он познакомился и подружился с женой Гейбла Кэрол Ломбард, а также с Люсиль Болл и Дэзи Арнац. И вовсе не потому, что они были ки-



нозвездами. Знаменитости *per se*<sup>1</sup> ничего для Джека не значили. Просто эти люди ему нравились. В конце концов, за истекшие годы ему случалось встречаться с людьми не менее известными и знаменитыми. Он хорошо знал Говарда Хьюза. Однажды он сопредседательствовал на званом обеде, который они с приятелями-моряками устроили в честь Эйми Семпла Макферсона. А был еще случай, когда он на самолете доставил воскресные газеты на президентскую яхту, улетел, а потом вернулся снова за заработанными им деньгами, которые и получил из рук самого президента Калвина Кулиджа.

В тридцатых годах он вновь женился. Хелен Харрис Спэн была вдовой с четырьмя детьми. Но как и в предыдущем браке, эмоциональные узы ни в коей мере не изменили стиль жизни Джека. Два года он прослужил командиром авиагруппы, базировавшейся на борту «Йорктауна», затем был направлен на Аляску с заданием переоборудовать военно-морскую базу в порту Ситка.

Когда началась Вторая мировая война, Джеку было поручено перегнать авианосец «Альтамаха», что на языке индейцев племени крик означает «дырявое каноэ», в южный район Тихого океана. Через год он возвратился в Штаты и вскоре отплыл из Сан-Диего в Карачи, тогда порт в Индии, с самолетами Р-51 на борту. К этому времени он уже был в чине капитана.

Он принимал участие в боевых операциях у островов Гвадалканал и Тарава. На каком-то витке этого периода его жизни распался его брак с Хелен. Они расстались.

После Тарава Джека направили на родину, где он занял пост заместителя начальника учебной базы в порту Корпус-Кристи, штат Техас. Он был крайне

---

<sup>1</sup> Сами по себе (лат.).

раздосадован этим назначением. Мир был охвачен войной, отсиживаться в Техасе казалось ему бесчестным. Он стремился обратно на войну.

Используя свои связи в военно-морской разведке, Джек узнал, что Рузвельт и Сталин достигли в Тегеране соглашения о том, что Советский Союз вступит в войну с Японией через 90 дней после прекращения боевых действий в Европе. Проанализировав ход событий на континенте, Джек пришел к выводу, что к тому времени, когда ему удастся добиться туда перевода, война в Европе вполне может закончиться. Другое дело — война с Японией.

Джек вылетел в Вашингтон, чтобы повидаться со своим другом Полом Фостером, близким человеком Рузвельта. Не кто иной, как Рузвельт, вернул в свое время Фостера на государственную службу. Пол Фостер устроил перевод Джека на работу в Москве.

Джек был назначен военно-морским представителем при специальной военной миссии в Москве, возглавлявшейся генералом Джоном Дином и носившей кодовое название «Операция "Вежа"». Ее целью было проведение бомбардировок Японии американскими самолетами с аэродрома, который американцы построят в Сибири.

В январе 1945 года Джексон Роджерс Тэйт, 46 лет, разведанный, прибыл в Москву.

## **ЗОЯ ФЕДОРОВА**

В 1912 году Алексей Федоров мог, оглянувшись на прожитую жизнь, с удовлетворением признать, что она обошлась с ним вполне благосклонно. У него хорошая работа — он рабочий-металлист на одном из санкт-петербургских заводов. У него прекрасная квартира — четыре комнаты — чего же желать боль-

ше? Конечно, страной правит царь, но дни его явно сочтены. Близится революция, об этом говорят на каждом митинге, которые он посещает.

Но больше всего его радовала жена — Екатерина, родившая ему двух дочерей — Александру и Марию, которых он очень любил. А совсем скоро Екатерина подарит ему сына. Конечно же, это будет сын.

Итак, Алексей был вполне доволен жизнью. В доме царила любовь, на работе он пользовался уважением. Все, кто работал вместе с ним, считали Алексея человеком умным и порядочным, который всегда говорит, что думает, и к советам которого стоило прислушаться.

21 декабря 1912 года на свет появился его третий ребенок. Снова девочка, которой дали имя Зоя. Если поначалу родители и испытали мгновенное чувство разочарования, то оно быстро забылось, настолько хороша была новорожденная — куда красивее своих сестер. Алексей был счастлив. В конце концов они с Екатериной еще совсем молодые. Придет время и для сына. (Судьба дала им четвертого ребенка, сына, который погиб на Второй мировой войне.)

Через два года после рождения Зои Санкт-Петербург стал Петроградом. Через пять лет после ее рождения произошла революция, в которой принял участие и ее отец. Но Зоя ничего этого не запомнит. Первое воспоминание, оставшееся в ее памяти, — какой-то человек, однажды появившийся в их квартире и помогший погрузить на свою телегу их скарб, и мать, со слезами на глазах прощавшаяся с соседкой.

Она запомнит тащивших телегу лошадей, которых она хорошо рассмотрела, когда отец посадил ее к себе на колени. И соседскую собаку, которую она частенько подкармливала, — собака бежала за ними несколько кварталов.



Они переезжали в Москву — такова была награда, полученная ее отцом от самого Ленина. Алексею предстояло работать на государственной службе в Кремле, его обязанностями будет оформление документов на вход и выход из Кремля.

Алексей радовался, что, работая, сможет прибегнуть наконец к помощи не только рук, но и головы. Жадный до чтения, самоучка по образованию — как часто друзья и родственники подтрунивали над ним за его пристрастие к книгам! И зачем они вообще рабочему человеку? Глаза вылезут на лоб, а толку ни на грош.

Все же, видеть, был в них какой-то толк, размышлял Алексей, рассказывая вместе с женой и тремя дочерьми по шестикомнатной квартире, которую им выделили в Москве. Никогда в жизни не видел он такой красивой обстановки. Сверкающая на солнце лаком мебель, красивые картины в роскошных рамах. Что и говорить, красота да и только. Но принять все это Алексей Федоров не мог. Позже он так объяснит это Екатерине, а заодно и чиновникам, в ведении которых находилась вся эта красота: «Не могу я взять эту мебель и все остальное, потому что она мне не принадлежит. Я этого не заработал».

Зоя помнит, как из квартиры выносили эти красивые вещи. Еще долгое время семейство Федоровых будет обедать, сидя на полу и поставив тарелки на расстеленные газеты. И спать дети будут на полу, точно цыгане. Мало-помалу у них появилась и собственная мебель, но куда ей было до той роскошной, что стояла в квартире прежде. А две комнаты и вовсе отдали посторонним людям, потому что Алексей не считал возможным пользоваться такой большой площадью. Не то чтобы у него был трудный характер. Просто он знал, что правильно, а что неправильно, и полагал, что четырех комнат более чем достаточно для семьи из пяти человек.

Что и говорить, жить с отцом, человеком исключительно честным и принципиальным, было отнюдь не всегда легко, но он, безусловно, вызывал к себе уважение. Даже ребенком Зоя понимала это. Однако в последующие годы, при Сталине, честность и открытость Алексея уже перестали быть добродетелями, став скорее грехами, которые обратились против него самого.

Еще в ранние школьные годы Зоя влюбилась в театр, в волшебство перевоплощения. На школьной сцене разыгрывались спектакли по известным сказкам, и она открыла для себя чудесный мир, неведомый ей прежде. Стать частью этого мира — это ли не предел мечтаний?

Увлеченность театром сохранялась все школьные годы. Ничто не могло сравниться с тем волнением, которое охватывало все ее существо, когда она выходила на подмостки школьной сцены. Эта увлеченность переметнулась потом на кино, и ей больше всего в мире захотелось стать актрисой.

Достаточно ли она для этого красива? Она отнюдь не была в том уверена. Если же приставала с этим вопросом к родителям, то мать обычно отвечала: «Все мои дочери писанные красавицы», а отец лишь посмеивался и гладил ее по голове, так что от родителей добиться правды было трудно. Но время от времени она ловила на себе взгляды, которые искося бросали на нее мальчишки, и ей казалось, что в их глазах она читает восхищение.

Зоя так и не пришла к определенному выводу. «Может быть, славненькая» — пожалуй, с этим она еще могла согласиться. У нее была, на ее взгляд, неплохая фигура, хотя и явно склонная к полноте. А что, если рост ее так и останется сто шестьдесят сантиметров? Не маловато ли? Нос слегка вздернутый, но зато в зеленых глазах играют задорные искорки, а белокурые волосы очень красивы. Ну что ж, хоро-

ша она собой или нет, тут уж ничего не поделаешь — какая есть. Она твердо решила стать актрисой.

После окончания школы Зоя поступила в театральное училище, которым руководил знаменитый Завадский, ученик Станиславского и сам известный режиссер. Однако через два года училище закрыли, и Зоя осталась ни с чем. Но, не закончив училища, она не могла получить документы, необходимые для работы актрисой.

Пришлось начинать все сначала — Зоя поступила в училище при Театре Революции, намереваясь пройти четырехлетний курс под руководством знаменитого актера Попова. Однако ее карьера киноактрисы началась уже через год с небольшим. Как-то раз ее неожиданно вызвали из класса. В коридоре ее поджидал ассистент одного из кинорежиссеров. Оказалось, на нее обратили внимание в крошечной роли, которую она сыграла в учебном спектакле. Было решено, что Зоя подходит на роль главной героини будущего фильма, который будет называться «Концертина». Зоя почувствовала, что теряет сознание. Ей только-только исполнилось 20, она еще не окончила училища, и вот оно — свершилось!

Не исключено, что «Концертина» будет фильмом с песнями и танцами. Может ли Зоя петь? А танцевать? Прямо тут же, в пустом коридоре, она что-то спела этому человеку. С танцем, по счастью, и вовсе все обошлось как нельзя лучше — ему хотелось посмотреть, как она исполняет народный танец, а это уже было проще простого. И тут она услышала свои слова, обращенные к ассистенту режиссера:

— А как же мой нос? — тотчас подумав: «Лучше б мне язык проглотить». — Вы только поглядите, какой он короткий и вздернутый.

Ассистент режиссера лишь рассмеялся в ответ.

— Глупышка. Только из-за вашего носа мы вас и выбрали.

Играть перед камерой было поначалу трудно — до сих пор Зоя играла лишь перед живой аудиторией. Но она очень быстро освоилась на съемочной площадке. Съемки еще не закончились, а девушка уже получила несколько приглашений сниматься в других фильмах.

«Концертина» имела успех, она принесла известность хорошенькой блондинке — но не более того. И только второй ее фильм, «Подруги», вышедший на экраны в 1934 году, закрепил за Зоей Алексеевной Федоровой звание кинозвезды на все времена.

В основу «Подруг» был положен сюжет о трех девушках, добровольно ушедших сестрами милосердия на фронт в годы Первой мировой войны. Картина имела бешеный успех. Казалось, она затрагивала какие-то тайные струны в сердцах русских женщин, окрыляла их, звала куда-то.

Люди выстаивали огромные очереди у кинотеатров, чтобы снова и снова посмотреть фильм — вымышленные сестры милосердия стали живым примером для подражания. У русской женщины появилась возможность, глядя на одну из подружек, проверить себя. «А что ты сделала для своей страны?» — казалось, вопрошал фильм. «Подруги» настолько потрясли женщин, что, когда началась Вторая мировая война, фильм снова выпустили на экраны страны. Картина вдохновляла, и женщины шли в армию, готовые выполнять любую работу, лишь бы походить на экранных героинь.

После выхода «Подруг» на экраны двадцатидвухлетняя Зоя познала в своей стране славу кинозвезды. На улицах женщины с радостными криками «Зоя Федорова!» кидались обнимать ее, в квартире родителей, где она по-прежнему жила, не смолкали



телефонные звонки ее почитателей. Где бы она ни появилась, мужчины встречали ее улыбками. Она стала «нашей Зоей», «лирической героиней» тогдашнего кино — неизменно обаятельной, всегда доброжелательной, всегда влюбленной и всегда расстающейся с героем своего романа в заключительных кадрах. Она стала мечтой — о такой жене мечтал каждый.

В 1934 году Зоя и сама так считала. Почему бы и нет? Она была влюблена — по крайней мере ей казалось, что влюблена. В то время Зоя еще не понимала, что все свои познания о любви она черпает скорее из прочитанных киносценариев и пьес, нежели из реальной жизни. Его звали Владимир Раппопорт, он был оператором на фильме «Подруги», и пока шли съемки, они встречались каждый день. Он был добрым, очень внимательным, их объединяла работа. Во Владимира трудно было не влюбиться. Иногда ей казалось, что они вместе играют в каком-то из ее фильмов, где ему выпала роль героя.

Когда съемки подошли к концу, они с Владимиром подолгу бродили по ленинградским улицам, где снимались «Подруги». По вечерам вместе ужинали, днем перекусывали на студии. Он всегда был рядом, любящий, поглядывавший на нее из-за камеры с ласковой улыбкой.

Когда он признался ей в любви и предложил выйти за него замуж, она с легкостью согласилась. Они поженились за несколько дней до того, как ей нужно было возвращаться в Москву. Владимир настаивал, чтобы она осталась в Ленинграде, где он работал. Но Зою ждал в Москве новый фильм, ее карьера только-только начиналась. Трудно было ожидать, что она откажется от работы.

Поначалу Владимир понимал ее, и они виделись лишь по выходным или от случая к случаю, когда

кому-то из них удавалось выкроить время, чтобы поехать в другой город. Однако, вопреки расхожему мнению, разлука отнюдь не способствовала усилению их чувств. И если в первые месяцы после брака их встречи приносили радость и любовь, то с течением времени свидания все чаще стали оканчиваться ссорами. Владимир надеялся, что понемногу все утрясется и их брак станет таким же, как у всех других людей, но очень скоро понял, что стал женатым человеком, у которого нет жены. Зое нужно было быть рядом с ним. Им даже предоставили квартиру в Ленинграде, правительство ясно давало понять, где им надлежит строить свою жизнь. Ведь что было у Зои в Москве? Кровать в родительской квартире, и только!

На все его мольбы Зоя отвечала лишь вздохами, иногда слезами и почти никогда словами. Ей нечего было сказать. В глубине души она знала, что Владимир прав, но совсем переселиться к нему не могла, поскольку не любила его. То не был выбор между любовью и карьерой. Для любимого человека она пожертвовала бы любой карьерой. Просто она не любила Владимира Раппопорта. Чувства, которые она испытывала к нему в начале их романа, безвозвратно улетучились. Да, он ей нравился, она его уважала, но и только. Этого явно недостаточно.

Каждый раз перед тем, как им встретиться, она давала себе слово, что скажет Владимиру всю правду. Что он о ней ни подумает, все лучше, чем так, как сейчас. И каждый раз решимость покидала ее. Скорбь в его глазах обезоруживала.

Их брак длился почти пять лет, и наконец Владимир не выдержал. Они развелись.

В 1936 году у Зоиной мамы обнаружили рак. Врачи сказали Алексею, что надежды на выздоровление нет. Он не хотел мириться со страшным диаг-

нозом. Екатерина не может умереть. Должен же найтись в таком огромном городе, как Москва, кто-нибудь, кто ее вылечит. Он обращался ко всем знакомым, умоляя посоветовать ему нужных врачей. Однажды он остановил на улице музыканта-немца, жившего в одном с ним доме. Может быть, немецкий доктор, который пользуется семью музыканта, знает лекарства, неведомые русским врачам? Немец вытащил из кармана пальто листок бумаги и карандаш и, написав на нем имя и адрес своего врача, протянул листок Алексею. Алексей сразу же бросился на поиски этой новой надежды на спасение жены.

Но Екатерина умерла. Шли месяцы, а Алексей, обычно общительный и разговорчивый, вечер за вечером проводил, не произнося ни слова, подчас даже не замечая наступления темноты. Возвращаясь домой, Зоя или ее сестры заставляли отца одиноко сидящим в темной комнате.

Со временем Алексей стал заглядывать после работы в пивные, где мужчины часами обсуждали мировые проблемы. Но то были времена Иосифа Сталина, и в разговорах люди соблюдали величайшую осторожность. Не тот был век на дворе, чтобы здравомыслящий человек мог позволить себе высказаться против правительства. Однако Алексей Федоров был не из тех, кто когда-либо скрывал свои мысли.

В один из вечеров он оказался за одним столиком с пятью другими мужчинами, городившими, на его взгляд, совершенную чепуху о том, как был бы доволен Ленин Сталиным и тем, что он сделал для народа. Разве не сам Ленин назначил Сталина своим преемником? — говорили они. Алексей не верил своим ушам. Неужто они вовсе не умеют мыслить самостоятельно? Он поднялся и изо всей силы хва-

тил кулаком по столу. В зале стало тихо, все повернулись к нему. «Я работал с Лениным, — произнес он громко, чтобы все слышали. — Кому и знать об этом, если не мне? Так вот, я знаю точно, и голову готов дать на отсечение, что Ленин никогда не назначал Сталина своим преемником. Сталин сам это решил. Ленин тут ни при чем».

Посетители повскакивали с мест и, прощаясь на ходу, бросились вон из пивной. Находиться рядом с полоумным отнюдь не безопасно. Алексей проводил их взглядом: воротники подняты до глаз, словно для того, чтобы скрыть лица. Он почувствовал презрение. Если Россия при Сталине — свободная страна, то почему им нужно спастись бегством?

При всем том до 1938 года с Алексеем ничего плохого не случилось. Прошло уже два года со смерти Екатерины. В тот год по стране прокатилась новая волна арестов, и как-то ночью пришли и за Алексеем. Обвинение гласило — 58-я статья. В те дни это сочетание цифр было известно каждому. Эта статья годилась на любой случай: выбирай за основу любой ее параграф, подкрепив его сфабрикованным показанием.

Алексею Федорову предъявили обвинение в сооружении туннеля под кремлевской стеной с целью убийства высокопоставленных членов правительства. Все протесты Алексея остались без внимания. «Да покажите же мне, где этот туннель? — требовал он. — Покажите! И зачем мне понадобилось его копать? Разве я мало поработал на правительство?»

Но никто его не слушал.

Позднее Алексея Федорова обвинили еще и в том, что он немецко-японский шпион. «Чудовищно! — возмущался он. — Я за всю свою жизнь в глаза не видел ни одного японца!»

Ночь за ночью, когда кончались допросы, Алек-



сей в изнеможении пытался обдумать происходящее. В конце концов он вспомнил немецкого музыканта, который протянул ему на улице листок бумаги. И еще вспомнил, как Екатерина не раз после ухода очередных гостей молила его следить за своими словами.

— Наступили недобрые времена. Каждый из них может оказаться доносчиком. Даже кто-то из наших приятелей.

А он, бывало, лишь погладит ее по щеке и скажет:

— Дорогая, я не смогу жить, если не смогу говорить то, что думаю. Без этого я не человек.

Теперь он знал, в чем его вина. Он осмелился думать вслух и попытался спасти жизнь своей жены. Алексея приговорили к десяти годам в лагере усиленного режима. Зоя не знала, куда отправили отца, знала лишь, что лагерь находится то ли где-то на севере, то ли в Сибири, где зимняя стужа пронизывает человека до костей. При аресте на Алексея были лишь легкие брюки да летний пиджак.

Отправить ему теплую одежду было невозможно, добиваться смягчения приговора — бесполезно. Сестрам оставалось лишь молиться за отца.

Шли годы, и Зоина слава достигла нового пика. В 1941 году ей было присвоено звание лауреата Сталинской премии за участие в картине «Музыкальная история». Как и в прежних своих картинах, она сыграла роль лирической героини, в которой в России так привыкли видеть «нашу Зою»: роль простой девушки, которая работает в гараже и влюбляется в шофера такси, а он становится впоследствии оперным певцом. Звание лауреата Сталинской премии было самой высокой наградой, о которой только могла мечтать актриса, — серебряная медаль на крас-

ной ленточке с золотым профилем Сталина. Все деньги, полученные при вручении награды, Зоя отдала на благотворительные цели. В 1942 году ей снова присудили звание лауреата Сталинской премии, на этот раз за картину «Фронтовые подруги».

Зоя приобрела общественный вес, вполне достаточный для того, чтобы обратиться с просьбой о встрече с Лаврентием Берией, наркомом внутренних дел, главой страшного НКВД, занимавшим второе после Сталина место в государственной иерархии. Некоторые даже считали, что Берию стоит бояться больше, чем Сталина. И все же Зоя решилась попросить его за отца. «Я не знаю даже, жив ли он», — говорила она.

Берия стоял за столом, спиной к окну, из которого лился яркий солнечный свет, и она почти не видела его лица.

— Я ознакомлюсь с делом вашего отца, — произнес он, — и мы посмотрим, можно ли что-нибудь сделать.

Лишь на мгновение открылись ей черты его лица, когда он, отвернувшись от нее, устремил взгляд за окно. Солнечный луч, ударив о стекла его пенсне, словно стер с лица глаза, и ей показалось, что на его губах мелькнула усмешка.

— Никакой он не шпион. Мой отец предан родине, он патриот. Вы же сами знаете!

Он кивнул, не поворачиваясь к ней, продолжая смотреть в окно.

— Все может быть, Зоя Алексеевна, и возможно, очень скоро вы увидите отца. А теперь позвольте попрощаться.

В июне 1941 года немецкая армия перешла границы России. Как одна из самых популярных в стране актрис, Зоя была нарасхват повсюду. В перерывах между съемками она уезжала на фронт, посещала

госпитали, пела, рассказывала забавные истории, пытаясь подбодрить измученных в боях бойцов. Уже много лет спустя каждый раз, вспоминая о палате, заставленной раскладушками с ранеными, она не могла сдержать слез. Она только что допела песенку, как вдруг в наступившей тишине прозвучал молодой звонкий голос:

— Простите, Зоя Алексеевна, что мы вам не хлопаем, у нас ни у кого нет рук.

После развода с Владимиром Раппопортом Зоя не раз задавалась вопросом: способна ли она вообще полюбить кого-нибудь? В такие минуты даже самой себе она не могла объяснить, почему ее жизнь покатилась по неверному пути. Как она умудрилась спутать любовь с привязанностью, влечением или чем там еще? А что, если то потаенное свойство ее натуры, которое так настоятельно заставило ее стать актрисой, столь же бесповоротно лишило ее способности к сильным, прочным чувствам? Она знала нескольких актрис, жизнь которых сложилась подобным образом: они так долго жили в мире придуманных чувств, что разучились их испытывать. Неужели и она принадлежит к числу этих унылых созданий?

Но в 1941 году Зоя встретила летчика Ивана Клычева, и все ее страхи разом улетучились. Сомнений быть не могло: к ней пришла любовь. Иван тоже полюбил ее. Они говорили о свадьбе как о деле решенном. Только вправе ли они думать о свадьбе, когда Россия охвачена войной? Может, лучше подождать, пока она кончится? Они решили подождать, и причина оказалась совсем уж глупой: в основе ее лежало тщеславие Ивана.

Зоя была лауреатом Сталинской премии. Иван пообещал ей, что до их свадьбы дважды станет Героем Советского Союза.

— Будь моим героем, — убеждала его Зоя. — Этого вполне достаточно.

Иван поцеловал ее:

— Я буду твоим героем и Героем Советского Союза, Зочка.

Один раз, до того, как его самолет сбили в битве за Сталинград, он успел стать Героем Советского Союза. Тяжело раненного, но живого, его вытащили из-под обломков самолета. Целый месяц он пролежал в госпитале, и Зоя каждый день навещала его. Иван невыносимо страдал, понимая, что никогда больше ему не быть боевым летчиком.

По выходе из госпиталя он получил назначение в отдел по расследованию авиакатастроф. Зоя вздохнула с облегчением. Это означало, что ее Иван будет жив.

Но жизнь распорядилась иначе. Вылетев однажды на место очередной катастрофы, он вместо того, чтобы переждать там ночь, решил, несмотря на нелетную погоду, вернуться как можно скорее в Москву, к Зое. Его самолет разбился близ Тамбова. За его могилой ухаживают пионеры (члены организации советской молодежи), навещала ее до последних своих дней и Зоя.

В конце лета 1941 года Зоя снова пошла на прием к Берии:

— Вы обещали мне ознакомиться с делом отца.

Берия снова встретил ее, стоя за столом, но на этот раз на небе не было солнца. Она отчетливо видела его лицо, прячущиеся за стеклами пенсне холодные глаза, которые, казалось, никогда не мигали.

— Я обещал? Что я вам обещал, Зоя Алексеевна?

Она судорожно сжала руки, впившись ногтями в ладони, чтобы сдержаться и не дать ему пощечину. Этот человек играет с ней, играет жизнью ее отца.

— Вы сказали, что я скоро увижу отца. Вы обещали.

— Скоро. — Казалось, он обдумывает это слово. — А как долго это «скоро» может длиться, Зоя Алексеевна? Сколько дней, недель, месяцев?

Она расплакалась. Безнадежно. У этого человека нет сердца.

— А может, «скоро» — это уже сейчас?

Она подняла глаза: легкая улыбка тронула его губы.

— Возвращайтесь домой. Я не уверен, кто там окажется первым — вы или ваш отец.

Всю дорогу домой Зоя бежала. Когда она ворвалась в квартиру, отец был уже дома. Она узнала летний пиджак, в котором его арестовали, скорее, чем узнала его самого. Три года в лагерях превратили его в глубокого старика. Отцу было всего 56, а выглядел он на все 70. Лицо избородили глубокие морщины, он был чудовищно худ. Когда она вошла в комнату, он стоял, держа руки за спиной, словно заключенный на лагерной поверке.

— Папочка!

Она бросилась к нему и обняла, покрывая лицо поцелуями. У обоих по щекам текли слезы.

— Моя маленькая Зоя, — прошептал он, прижимаясь лицом к ее волосам.

Она почувствовала, как его руки обняли ее, но стоило ей на мгновение отстраниться, он тут же отдернул их и спрятал за спину.

— Папочка! — воскликнула она. — С тюрьмой покончено. Тебе больше не надо держать руки за спиной. Ты дома.

Он горько улыбнулся:

— Я не знаю, как показать тебе...

— Показать мне что? — не поняла она.

Помедлив, он убрал из-за спины руки и протя-

нул их вперед. На руках оставались лишь обрубки больших пальцев. Других пальцев не было.

Зоя закричала. Прижав руки ко рту, она попыталась подавить крик. Пол качнулся у нее под ногами, и, почувствовав, что голова у нее идет кругом и она вот-вот потеряет сознание, Зоя быстро опустилась на стул. К горлу подступил комок.

Алексей сел напротив, спрятав ладони в коленях. Когда она немного пришла в себя, он рассказал, что произошло с его руками.

Это случилось прошлой зимой; тот день выдался на редкость морозным, ледяной ветер злобно хлестал занятых на расчистке дороги людей. Как он пережил минувшие зимы в своих жалких тюремных обносках, он и сам толком не понимал, но в тот день он почувствовал, что заболел. Болело горло, грудь сдавило так, будто ее накрепко стянули ремнями, временами ему казалось, что лицо пылает жаром, хотя ветер по-прежнему дул со страшной силой, сбивал с ног. Он пытался работать, не обращая внимания на боль — любая жалоба грозила суровым наказанием.

Но наконец он сдался. Уж очень ему было плохо. Конвойный поглядел на него с презрением. «У нас здесь лечить некому. Сам знаешь. Придется отправить тебя в другой лагерь, где есть врач».

Его отвели к грузовику, на который грузили трупы. Когда погрузку закончили, трупы накрыли брезентом, а ему приказали лезть наверх. Грузовик тронулся, и Алексей прижался к стенке кабины, пытаясь хоть как-то защититься от ветра.

Ехали долго, несколько часов, как ему показалось, хотя точно он не знал. От сотрясавшей его тело лихорадки и жестокого мороза он погрузился в полудремотное, полубеспамятное состояние. В какой-то момент он почувствовал, что руки у него онеме-



ли. Он попытался пошевелить пальцами, но это причинило дикую боль. В отчаянии он засунул руки между ног, где еще сохранялось какое-то тепло.

Когда грузовик добрался до лагеря, где находился врач, конвоирам пришлось снимать Алексея с грузовика — он совсем окоченел и не мог стоять. В кабинете врача Алексею помогли раздеться. Ступни от холода стали багровыми, но врач сказал, что с ними все обойдется. Температура была выше 40. «Наверно, воспаление легких», — сказал врач и сделал какой-то укол. Потом занялся его руками. Отмороженные пальцы почернели.

Врач взял медицинские ножницы и, словно подрезая куст роз, один за другим отрезал на руках все пальцы. Алексей потерял сознание.

Зоя с сестрами поочередно оставались дома, ухаживая за отцом. Он почти ничего не мог сделать для себя сам. За все это время он не проронил ни слова жалобы. Прежнего Алексея, который говорил все, что было на уме, и которому сам черт не был страшен, более не существовало. Вернувшийся из тюрьмы Алексей вздрагивал при каждом громком звуке, донесшемся с улицы, вскакивал и замирал по стойке «смирно», когда кто-нибудь подходил к двери.

Он не прожил дома и нескольких недель, когда у него обнаружили рак лимфатических узлов. Из-за войны все больницы были переполнены, и все же Зое удалось, в силу занимаемого ею положения, поместить отца в одну из них. Он скончался 22 сентября 1941 года.

На следующий день после его кончины Зое позвонил Берия.

— Я с сожалением узнал о смерти вашего отца.

С сожалением? Зоя с трудом сдержалась, чтобы не плюнуть в телефон. А кто погубил его? Кто бро-

сил его в лагерь, который убил его? Ни один из этих вопросов задать она не могла. Вместо этого она сказала:

— Вы ведь знаете, что мой отец был невиновен.

Последовала краткая пауза, затем Берия произнес:

— Зато он был болтун, каких мало.

Слухи, ходившие по Москве о Берии, были один другого страшнее. Пьяница, развратник, насилующий женщин и молоденьких девушек. Случалось, что какая-нибудь девушка, отправившаяся по делам, не возвращалась домой и сразу же по Москве распространялись слухи, что виной тому Берия, захотевший ее. Люди говорили: Берии стоит только шепнуть Сталину, что такой-то хочет убить его, и этого человека немедленно арестовывали. Говорили, что Сталин безоговорочно доверяет Берии, верит всему, что тот ему докладывает.

Едва ли не каждый месяц Берия звонил Зое. От его звонков ее бросало в дрожь. Она не знала, как покончить с этой «дружбой». Он был неизменно вежлив. Он только что посмотрел фильм с ее участием и хотел сказать, как его восхитила ее игра. Или: он получил хвалебные отзывы о ее последней гастрольной поездке. Она так много делает для укрепления морального состояния страны, ему хочется лично поблагодарить ее за это. Не испытывает ли она нужды в чем-либо? Быть может, в его силах ей помочь?

Как правило, Зоя всегда благодарила и говорила, что ни в чем не нуждается.

И вот как-то он позвонил в очередной раз. Сказал, что делает это по просьбе жены. Они устраивают большой прием по случаю дня ее рождения, и она просила пригласить на него Зою Федорову.

Зоя удивилась: не странно ли получить пригла-

шение на день рождения от женщины, с которой она незнакома? Но приглашение приняла. Да и кто осмелился бы отказаться от приглашения Лаврентия Берия? Он сказал, что вечером прийдет за ней машину с шофером.

Шофер помог Зое сесть на заднее сиденье лимузина. Такие машины она вообще видела редко, а после того, как началась война, ни разу. Автомобиль плавно и бесшумно скользил по полупустым улицам Москвы. В те дни лишь военным машинам отпускали бензин.

Зое показалось, что она еще не успела как следует устроиться, а машина уже свернула на улицу Качалова и въехала в ворота с каменной оградой, окружавшей дом Берия. Пока шофер помогал ей выйти из машины, Зоя оглядела двор — никакого оживления. Двор был пуст.

И дом казался на удивление тихим. В нескольких окнах горел свет, но отчего же не слышно звуков музыки и смеха гостей?

Ей стало страшно. Мгновение она колебалась, потом резко повернулась, но между нею и машиной стоял шофер. Он наклонил голову: дама что-нибудь забыла в машине? Зоя отрицательно мотнула головой и направилась к входной двери.

Ее встретил полковник, который служил у Берия одновременно секретарем и охранником. Он помог ей снять пальто, шляпу и ботики. Когда он открыл дверь шкафа, Зоя увидела, что никаких других пальто там нет. Ее охватил панический страх, но она тотчас подавила его. Быть может, все дело в том, что она приехала самой первой?

По лестнице, ведущей сверху в холл, спустился Берия. На последней ступеньке он немного задержался и улыбнулся Зое. Она ответила улыбкой, но отнюдь не в знак приветствия, как он, должно быть,

подумал. Будучи актрисой, она по достоинству оценила эту паузу — хорошо рассчитанный театральный прием. Вот только чего он намерен добиться этим приемом?

Улыбка его была холодна, словно улыбаться было для него чем-то из ряда вон выходящим. Одутловатое, бледное лицо, яркое освещение и невидимые за отсвечивающими стеклами пенсне глаза, тускло блестящая лысина — Зое показалось, перед ней жирная, злобная лягушка. Подойдя к ней, он взял ее за руку.

— Зоя Алексеевна, — сказал он, заглядывая ей в глаза, и, не выпуская ее руки, повел в соседнюю с холлом комнату.

Комната была маленькая; наверно, здесь ждут приема, подумала она. Посредине стоял круглый стол, на нем лампа, ее неяркий свет не рассеивал подступающего из всех углов мрака. В такой комнате не принимают гостей. Захотелось немедленно убежать, но она не осмелилась. Вместо этого лишь резко отвернулась от Берии и села, лишь бы высвободить руку из холодных, липких тисков.

— А где же праздничный стол? — спросила она, стараясь придать голосу естественность. — Где ваша жена? Где остальные гости?

Берия отвернулся, закуривая сигарету, так что разглядеть выражение его лица было невозможно.

— Моя жена приносит вам свои извинения. У нее страшно разболелась голова, и она решила проехать за город, чтобы подышать свежим воздухом. Она скоро вернется.

Зоя ждала. Берия не спешил. Он медленно повернулся к ней. Ухмылка на его лице, казалось, говорила: «Конечно же, я вам наврал. И мы оба знаем это. Но какое это имеет к нам отношение?»

— Я тут же позвонил другим гостям, попросил

их не приходится до ее возвращения. Но, поскольку за вами к тому времени машина уже уехала, я ничего не мог сделать. Надеюсь, вы меня понимаете?

Это был вопрос. Зоя кивнула. Она поняла.

— А теперь, Зоя Алексеевна, вы должны меня извинить. У меня срочное совещание, мне обязательно надо на нем присутствовать. Но я скоро вернусь. Никогда не знаешь, когда понадобится в Кремле. Но если вам что-нибудь будет нужно, к вашим услугам моя горничная Таня. И наш кот, который с удовольствием развлечет вас. В углу проигрыватель с хорошим, на мой взгляд, набором пластинок. — И, кивнув, Берия вышел из комнаты.

Зоя подождала, надеясь услышать, как открывается и затем захлопывается за ним входная дверь. Но в доме было тихо. Она не сомневалась, что он по-прежнему находится где-то поблизости.

Зоя прошлась по комнате. Тусклый свет не позволял прочесть заголовки на корешках книг, но, когда она дотронулась до одной из них, рука тотчас нырнула в толстый слой пыли. Она обнаружила проигрыватель, но как с ним обращаться? Вдруг она нечаянно разобьет пластинку? По Москве ходило немало слухов о бешеном нраве Берии.

Время тянулось в напряженной тишине. Никакого кота. Никакой горничной. Прошло пятнадцать минут, двадцать, полчаса. Как долго намерен он продолжать этот фарс? Зоя была убеждена, что жены Берии вовсе нет в Москве.

Тишина и духота действовали угнетающе. Зоя вытерла носовым платком ладони. Конечно же, у любого гостя, независимо от того, с какими целями его пригласили, есть кое-какие права. Она подошла к двери и открыла ее. Холл был пуст. Она прислушалась, не донесутся ли какие-нибудь звуки со второго этажа. Нет, тихо, лишь где-то тикают часы.

Дальше по коридору было еще несколько дверей. Должна ли она, имеет ли она право подойти, заглянуть внутрь? Что, если кто-то подглядывает за ней? Зоя подумала об отце. Времена такие, что любого можно обвинить в шпионаже, а уж проявлять любопытство в доме Лаврентия Берии... Но ведь она как-никак гость в этом доме и обошлись с ней хуже некуда. В самой бедной московской квартире гостя хоть чем-нибудь да угостят, а тут, в этом богатом доме, на нее не обращают ни малейшего внимания.

Зоя почувствовала приступ негодования. Выйдя из комнаты, она пошла по коридору. Если кто-то остановит ее, она скажет, что ищет горничную, хочет попросить у нее чашечку кофе. Первая дверь, к которой она подошла, оказалась запертой, вторая открылась, и, заглянув в комнату, Зоя убедилась в том, о чем догадывалась с той самой минуты, как вошла в этот дом.

Это была столовая, в ней стоял стол, накрытый, должно быть, для банкета, о каких люди и думать забыли с тех самых пор, как началась война. Ска-терть старинного кружева, с двух концов серебряные канделябры со свечами, пока еще не зажженными. В хрустальном ведерке со льдом хрустальный графин с водкой. Рядом хрустальная чаша с черной икрой. И только два прибора на весь длинный стол. С одного конца стола два стула, поставленные под углом друг к другу.

Зоя тихонько прикрыла дверь и возвратилась в маленькую приемную. Вся дрожа, она опустилась на стул. Ее переполняли разноречивые чувства: стыд, гнев, страх, возмущение. Как он, эта жаба, посмел, как он осмелился притащить ее в этот дом, словно какую-нибудь проститутку? Как посмел подумать, что она согласится на это?

На глаза навернулись слезы негодования, но она



сдержала их. Он не увидит ее покрасневших глаз. Спокойствие, приказала она себе. Надо хорошенько подумать. Гнев тут плохой помощник. Она откинулась на спинку стула и глубоко вздохнула.

Ну вот, так-то лучше. Но что же все-таки делать? По всем правилам приличия у нее полное право уйти. Прошел почти час, как он исчез. Нет ни жены, ни гостей, ни дня рождения. Это очевидно. Как очевидно и то, зачем ее сюда заманили. Но только ненормальный может подумать, что Зоя Федорова с этим смирится! Если он силен, то ведь и она не из слабых. Надо уйти, но она знает, что это невозможно. В маленькой комнатке сбоку от вестибюля наверх сидит адъютант, в обязанности которого входит выпроваживать нежелательных посетителей и задерживать тех, кого Берия угодно оставить.

Дальнейшим ее размышлениям был положен конец — отворилась дверь и вошел Берия.

— Тысяча извинений, Зоя Алексеевна, но на таких заседаниях всегда находится человек, возмнивший себя великим оратором.

Зоя кивнула. Она не слышала шума подъехавшего автомобиля, не слышала, как открылась входная дверь, на его ботинках не было и следа снега.

Он улыбнулся:

— Боюсь, с днем рождения сегодня ничего не получится. Я только что разговаривал с женой, головная боль у нее еще больше усилилась. Она приносит вам свои извинения и передает, что решила поехать на дачу, может быть, на воздухе ей станет лучше. Я приказал своему помощнику отменить все приглашения.

Зоя поднялась:

— Надеюсь, к утру вашей жене полегчает. А мне пора домой.

Берия рассмеялся и обнял ее за плечи.

— Но это же глупо, милая Зоя. У нас накрыт стол на пятьдесят персон. Вы, конечно же, останетесь. Я уже распорядился, чтобы убрали лишние приборы.

Он провел ее в столовую и усадил справа от себя. Свечи на сей раз уже горели. Берия положил ей на тарелку большую ложку черной икры и, несмотря на протесты, налил в бокал водки. Предложив тост за ее успехи в кино и за ее красоту, он залпом осушил бокал. Зоя, которая вообще пила мало, свой лишь пригубила. Нельзя терять власть над собой. Сквозь стекла пенсне, в которых плясали блики от горящей свечи, на нее смотрели холодные, внимательные глаза.

Берия снова наполнил бокал. Зоя накрыла ладонью свой. Он улыбнулся. Грузин, подумала она, все они пьяницы, все как один.

А он пустился в рассуждения о производстве фильмов. Зоя вздохнула с облегчением. Может, она ошиблась и все ее страхи напрасны? Что ни говори, а кинофильмы — могучее средство пропаганды, особенно в военное время. Возможно, в этом причина того, что она здесь.

Но тут разговор принял неожиданный оборот, настороживший ее. Он заговорил о евреях, занятых в киноиндустрии. Со многими ли из них знакома Зоя? Что она о них думает? Насколько они, по ее мнению, опасны?

Нет, этого она не потерпит. Он просто животное, бестактное, непорядочное животное. Как глава секретной полиции Берия имел доступ к досье на каждого гражданина Советского Союза. Он прекрасно знал, что первый муж Зои, работавший на производстве фильмов, был евреем.

Прислуга убрала со стола тарелки из-под икры и поставила перед ней горшочек с дымящейся золо-

тистой чихиртмой — грузинским куриным супом, заправленным яичным желтком, лимонным соком и оливковым маслом. А из кухни до нее донесся запах жареного барашка. Головокружительные ароматы! С начала войны она ни разу не вдыхала таких запахов. О Господи, только бы сдержаться и не выплеснуть в лицо этому животному свой гнев, прежде чем она успеет поест!

Она посмотрела на Берию. Неужели он издевается над ней, думает соблазнить? Однако лицо его оставалось непроницаемым.

— Простите, Лаврентий Павлович, — сказала Зоя, тщательно подбирая слова, — но вы меня удивляете.

Он взглянул на нее поверх бокала, осушая его во второй раз.

— Это почему же, Зоечка? — Он наклонился к ней и положил руку на ее колено.

Она повернулась и, намеренно дернувшись всем телом, стряхнула с колена его руку.

— Да потому, что, когда вы так говорите, вы становитесь похожи на обыкновенного уличного мальчишку. Это вы-то, человек, обладающий такой властью в нашем государстве! Нужный, без сомнения, всем народам нашей страны.

Она наблюдала за выражением его лица, стремясь разгадать ход его мыслей. Достаточно ли сироп в ее словах? Не обидела ли она его? Лицо Берии оставалось бесстрастным. Он снова наполнил свой бокал водкой и откинулся на стуле, не обращая внимания на суп.

От его молчания ей стало не по себе.

— Вы, конечно, знаете, что мой муж был еврей? — спросила она.

Он улыбнулся.

— Но ведь сейчас вы не замужем. — Он снова наклонился к ней и обнял за талию. — Вы очень

страдаете от того, что лишены тех радостей, которые дает брак, а, Зоя Алексеевна?

Зоя сбросила его руку, словно стряхнула вошь.

— Перестаньте, не то я уйду.

— Я не хочу, чтобы вы уходили, — сказал он тоном, не терпящим возражений.

Его безграничная самоуверенность привела Зою в бешенство. Она вскочила с места.

— За кого вы меня принимаете? И где мы, по-вашему, живем? Это уже не та Россия столетней давности, когда вы могли выбрать себе любую актрисочку и приказать притащить ее вам в постель!

— Bravo! — сказал Берия, захлопав в ладоши. Но на лице сразу появилось жесткое выражение. — А теперь сядьте. Вы ведете себя глупо, вылитая маленькая обезьянка.

Какой уж тут контроль над собой! Ее возмутил не удар, нанесенный ее тщеславию, а абсолютная уверенность этого урода в том, что прояви он желание, и она будет ему принадлежать.

— Если я обезьянка, то кто же вы? Встаньте и подойдите к зеркалу! Посмотрите на себя в зеркало! Вы же на гориллу похожи!

Берия потемнел:

— Да как вы смеее так со мной разговаривать? Неужели вы думаете, что хоть капельку волнуете меня, коротышка несчастная? Просто смешно! Вас пригласили сюда как актрису, чьи фильмы мне нравятся. И все. Физически вы мне отвратительны!

— Рада это слышать, — ответила Зоя. — А теперь я бы хотела вернуться домой.

Берия нажал ногой какую-то кнопку под столом. В дверях появился полковник.

— Эта женщина уезжает.

Потянувшись за графином, он снова наполнил свой бокал. Откинулся на спинку стула и стал вертеть бокал над горящей свечой. Зои уже не суще-

ствовало. Он даже не шелохнулся, когда она вышла из комнаты.

Полковник подал ей пальто и помог надеть ботики. Машина с шофером ждала перед домом. Шофер открыл перед ней дверцу, и Зоя увидела на заднем сиденье роскошный букет роз. Она взяла цветы и чуть не рассмеялась. Великий нарком не успел сказать шоферу, что она не заслужила благодарности. Типичная наглость безмерно уверенного в себе человека!

Повернувшись к дому, она увидела стоявшего в дверях Берию. Зоя взяла с сиденья букет.

— Это мне? — спросила она.

На Берию со спины падал свет, и ей было не разглядеть его лица.

— На вашу могилу, — ледяным тоном произнес он.

Тяжелая дверь захлопнулась, и Зоя осталась стоять, дрожа от страха. Потом сунула цветы в машину, отодвинув их подальше от себя. Когда шофер помог ей выйти у ее дома на улице Горького, она оставила букет в машине.

В январе 1945 года Зое Алексеевне Федоровой только что исполнилось тридцать два года. Она была одной из самых любимых в Советском Союзе кинозвезд, зарабатывала, по советским меркам, большие деньги, у нее была квартира на улице Горького, всего в нескольких кварталах от Красной площади. Учитывая трудности войны, она жила прекрасно. Если бы не ее одиночество.



# КНИГА ВТОРАЯ

## МОСКВА, ГОД 1945-й

Каким-то чудом квартира оказалась пуста. Джек Тэйта обрадовала царившая в ней тишина. Куда подевались два других американских офицера, деливших с ним эту площадь, он не знал, и, честно говоря, его это мало заботило. Люба, их кухарка и домоправительница, была либо дома, либо отправилась в НКВД сдавать свой еженедельный отчет об американцах. Это отнюдь не игра его воображения: Люба откровенно призналась, что ее приставили следить за ними. Пожалуй, это было единственное положительное обстоятельство, которое Джек Тэйт мог привести в ее защиту. Некрасивая, угрюмая, никудышная кухарка, она по крайней мере шпионила за ними честно и открыто.

Москва угнетающе действовала на него. И не сам город, не постоянно падающий снег, не трудности военного времени. Больше всего сил отнимали бесконечные проволочки и придирки к самым, казалось бы, второстепенным деталям операции «Веха». Русские дали согласие вступить в войну против Японии через девяносто дней после окончания военных действий в Европе. Они также дали согласие на строительство в Сибири американского аэродрома для нанесения бомбовых ударов по островам Японии. После того как все эти вопросы были ула-

жены, ожидалось, что весь проект пройдет без сучка без задоринки, и тем не менее он постоянно увязал в дебрях бюрократических мелочей. Каждый русский, с которым ему приходилось иметь дело, больше всего на свете боялся принять хоть какое-нибудь определенное решение или взять на себя малейшую ответственность. Работать с ними было все равно что пытаться выбраться из зыбучих песков. Чем дальше, тем вы все глубже и глубже увязали в них.

Он приехал в январе, сейчас уже февраль. Прошел целый месяц, но, черт возьми, он вовсе не уверен, что хоть чего-то добился. С тем же успехом можно было оставаться в Техасе.

Посмотревшись в ванной комнате в зеркало, он провел рукой по лицу. Решил, что вполне можно обойтись без бритвы, и повязал полагающийся по форме галстук.

Больше всего ему хотелось бы остаться в этот вечер дома, поесть чего-нибудь из того, что осталось на кухне, скорее всего щей — единственное блюдо, которое Люба готовила более-менее сносно, и лечь спать. Но отклонить официальное приглашение на прием, полученное от Молотова, не так-то просто. Дело не в том, что они знакомы. Приглашение получили все американцы, живущие в Москве. Однако к приглашению была приложена записка американского посла Аверелла Гарримана, предлагающего отнести к нему со всем возможным вниманием, что на самом деле было вежливым приказанием «прибыть».

Джек прошел в гостиную, чтобы еще раз взглянуть на приглашение. Оно лежало на крышке рояля, рядом с открытыми нотами. Кто втащил в квартиру этот рояль, кто купил ноты? Ни один из нынешних обитателей квартиры не способен был сыграть даже «Собачьего вальса».

Приглашение гласило, что прием состоится в



восемь вечера в Доме приемов на Спиридоновке, форма одежды «официальная, при орденах». Прием устраивался по случаю 27-й годовщины Красной Армии, значит, будет грандиозное застолье. Джек прикрепил на китель свой «фруктовый салат» — три ряда орденских ленточек, заработанных многими годами тяжелой работы. Сегодня, подумал он, рядом с русскими, которые напялят на себя все свои бряцающие ордена и медали, никто и не заметит, что их много.

Выходя из гостиной, он бросил взгляд на залитую лунным светом Красную площадь и, как всегда, с трудом оторвал глаза от открывшегося вида. Он в Москве уже около месяца и до сих пор не может привыкнуть ко всей этой красоте, особенно к храму Василия Блаженного, вздымающемуся вверх во всем своем византийском великолепии. Быть может, от совместной работы с русскими и можно сойти с ума, но, наверно, стоит забыть об этом ради вот этого вида на храм Василия Блаженного или ради того ощущения мощи, которое придавливает к земле всякого, кто проходит вдоль красной кремлевской стены.

Джек посмотрел на часы. Пора идти. Он взял пальто, нащупал в кармане ключи от машины. Во всяком случае, еда там будет куда вкуснее Любиных щей.

Зоя стояла перед зеркалом и, вертясь из стороны в сторону, внимательно разглядывала свое изрядно поношенное темно-синее бархатное платье. Сомнений не было: рукава на локтях начинали лосниться, и бока платья тоже. Что ж, ничего не поделаешь. Войне не видно конца, приличное новое платье купить практически невозможно. А что, если накинуть сверху шерстяную шаль и спустить ее пониже? Да-да, так она и сделает.

Затем она занялась чулками. Выше икр их вид-

но не будет. И если малюсенькая зацепка на самом верху правого чулка выдержит и петля не поползет вниз, она спасена.

Она с удовольствием представила себе прием в доме на Спиридоновке. Это был настоящий дворец. Она запомнила его с прошлого года, когда там отмечали тот же праздник. Для артиста получить приглашение на такой прием считалось большой честью. А какая еда, какие напитки! Напитки ее заботили весьма мало, но вот еда! Вкусно поесть по нынешним временам дело первостепенной важности. Но и это не главное, главное — яркие, умные люди, которые там соберутся. Наиболее известные в своей области искусства. Вот они-то и интересовали Зою больше всего. В политике Зоя не разбиралась, да она ее и не занимала.

Зоя чувствовала потребность в новых людях. Война принесла ей много горя, заставила замкнуться в себе. Она отняла у нее брата, потом Ивана и отца. И хотя она понимала, что смерть отца никак не связана с войной, тем не менее проявленная к нему жестокость невольно ставила и его в тот же ряд. Слишком долго она жила одной лишь работой — работа, несколько фотографий мужчин, которые ушли из ее жизни, и три могилы.

Что ж, пришло время вернуться к жизни. Где-то глубоко внутри она уже чувствовала легкое возбуждение. Ощущение счастья было более естественным для нее состоянием души, и она готова была бороться, лишь бы вернуть его.

Она бросила последний взгляд на себя в зеркало. Темная синевя бархата как нельзя лучше гармонировала со светлыми волосами. Она направилась к вешалке, чтобы надеть пальто и ботики.

Когда Джек подъезжал к Дому приемов, вереница машин уже растянулась чуть не на полкварта-

ла. Добравшись наконец до ворот, он беспрепятственно миновал кордон энкавэдэшников, даже не спросивших у него удостоверения личности или приглашения. Вне сомнения, они как облупленных знали всех американцев, живущих в России.

Сдав в гардероб пальто и фуражку, Джек вошел в залу, оказавшуюся первой в анфиладе огромных зал с мраморными стенами и полами и множеством больших хрустальных люстр. В первой зале находился Молотов с супругой, через все пространство к ним тянулась длинная вереница гостей. Джек встал позади высокого мужчины во фраке и его жены в красном шелковом платье. Судя по их внешности и языку, на котором они говорили, решил Джек, они принадлежат к одной из Скандинавских стран. Далеко впереди он разглядел посла Гарримана в строгом двубортном костюме. Ему показалось также — впрочем, без большой уверенности, — что он узнал Дмитрия Шостаковича. Человек был очень похож на того Шостаковича, которого он видел на концертных афишах. Больше никого из русских он не знал, хотя понимал, что этим вечером здесь соберется вся московская элита.

Звуки голосов словно ударялись о мраморные стены и тут же отскакивали от них — в зале стоял оглушительный шум. В углу залы играл струнный квартет, но что именно они играли, не было слышно.

Наконец Джек подошел к Молотовым. Мадам Молотова едва коснулась его руки своей пухленькой ручкой. Она улыбнулась, но не произнесла ни слова. Молотов, в те дни нарком иностранных дел, был крупным, широколицым. Джек не знал, что полагается делать в таких случаях: должен он пожать Молотову руку или нет? И решил предоставить инициативу хозяину. Бал давал он. Молотов слегка наклонил голову и произнес: «Добро пожаловать». На его лице не появилось и следа улыбки. Глаза скольз-

нули по эполетам Джека и тут же обратились к следующему гостю. Джек ответил по-русски: «Спасибо» — и отошел.

Он направился в соседнюю залу, где по стенам стояли столы, уставленные графинами с водкой, рюмками, а также бутылками русского шампанского, белого и розового. Вся оставшаяся часть залы была занята рядами складных стульев, перед ними возвышалась сцена, на которой стоял рояль. Видимо, вначале будет что-то вроде концерта. Джек налил себе водки и направился в следующую залу. Он вовсе не был настроен слушать песни, которых не понимал.

В стародавние времена, когда Дом приемов был жилым дворцом, здесь, несомненно, была бальная зала. Сегодня в одном конце залы разместился оркестр, а во всю длину двух стен протянулись банкетные столы. На них стояли только водка, шампанское да легкая закуска, которой Джек поначалу даже не заметил. Он откусил кусочек, но ему не понравилось. Допив водку, он снова наполнил рюмку, мысленно давая слово следить за собой. Ничто не доставляет русским такого удовлетворения, как вид пьяного американца, поставившего себя в глупое положение.

В залу вошли человек пять мужчин в военной форме. Они направлялись прямо к тому месту, где стоял Джек, и вдруг остановились на мгновение как вкопанные, затем повернулись и быстро вышли из залы.

Какое-то безумие, подумал Джек. Мы же союзники, а настоящего доверия между нами нет и в помине. Где бы он ни был, подобное ощущение не покидало его. Высшее начальство всегда держалось неприступно и отчужденно. В глазах чиновников из более низких эшелонов власти таился страх. Самые мелкие из них понимали, что им никуда не деться и

дело с ним иметь придется, но от ответственности любыми путями стремились уйти. Предпринимали все возможное и невозможное, только бы не подписать самую пустяковую бумажку, которая когда-нибудь, возможно в отдаленном будущем, может стать уликой против них.

Лишь прохожие на улице казались дружелюбными. Если он был в форме, то нередко ловил на себе любопытные взгляды и робкие улыбки. Его не покидало ощущение, что, если бы не страх, кто-нибудь решился бы заговорить с ним.

Но зато когда он был в гражданской одежде, которую ему настоятельно посоветовали взять с собой в Россию, — темно-синий костюм, фуражка и высокие ботинки — и ничем не отличался от большинства москвичей, с ним обращались точно так же, как с любым другим русским, то есть грубо. На него налетали на улицах, его пихали, не подумав при этом извиниться и лишь наградив вслед раздраженным взглядом.

Он потягивал водку и поглядывал по сторонам в надежде найти собеседника. Никого, кто, на его взгляд, мог бы говорить по-английски. Пятеро русских военных только что осушили рюмки после очередного тоста. Перед тем как снова наполнить их, они подняли рюмки кверху и перевернули вверх дном в доказательство того, что они пусты. Оркестранты, несмотря на их яркие народные костюмы, оказались джазистами. Свое выступление они начали с популярной в те дни в Москве песенки «Не сиди под яблоней с кем-нибудь другим...»; музыка, усиленная мраморными стенами и эхом, звучала с удвоенной громкостью; соответственно, повысили голоса и разговаривающие.

Джек уже собрался было перейти в другую залу, но тут в дверях показалась миниатюрная блондинка в темно-синем плаще. Пятеро военных тут же под-

няли рюмки в ее честь. Она приняла их тост с явным удовольствием. Пока женщина шла к накрытому столу, Джек заметил, что многие гости обращаются ей вслед. Видно, какая-нибудь важная шишка, но в какой области — не определить. По виду, во всяком случае, не из мира политики.

Новая гостя заинтересовала Джека. Он оглядел ее с ног до головы. Прекрасная фигура, изящная, в отличие от многих русских женщин, грациозная походка. Когда официант предложил ей водки, она лишь отрицательно покачала головой и взяла фужер с шампанским. Какой-то мужчина подошел к ней и, наклонившись, стал ей что-то нашептывать. Она улыбнулась, видимо, его слова не вызвали у нее интереса. Мужчина отошел.

Зоя почувствовала, что кто-то смотрит на нее, и подняла глаза. Джек разглядел, что они зеленые, и это ему понравилось. Она вежливо улыбнулась ему и отвернулась.

Джек уже собрался было подойти к незнакомке, но тут в зале неожиданно воцарилась тишина. Он увидел, что перед оркестром, подняв бокал, стоит мужчина в форме, весь увешанный орденами. Еще один тост. Русские осушили свои бокалы. Джек отхлебнул из своего.

Со всех сторон к столу проталкивались люди, желавшие снова наполнить рюмки. Джек отошел в сторону и огляделся в поисках той женщины. Но ее нигде не было.

Джек направился к тому месту, где видел ее в последний раз. Но тут на его плечо легла чья-то рука.

— Как дела, дружище?

Это был американский майор, живший в одном с ним доме, имени которого он не знал.

— Прекрасно. А у тебя?

Майор показал на пустой стакан:

— Да вот, пытаюсь напиться.

— Будь осторожнее, парень.

Майор рассмеялся:

— Сегодняшний вечер обязательно взбудоражит мою язву, так пусть уж лучше причиной тому будет водка, чем русская еда. Да я бы, кажется, родную сестру сейчас продал за добрый старый гамбургер!

Джек кивнул и снова отправился на поиски незнакомки. Было в ней что-то удивительно трогательное. Она не выходила у него из головы, а подобного с ним уже давным-давно не случалось.

Он был уверен, что она не покидала бальной залы, которая меж тем быстро заполнялась гостями по мере появления на столах еды. И какой еды! Обильная закуска — русские бутерброды необъятных размеров; огромные миски с черной икрой — казалось, будто это озера с чернильной водой; блюда с ростбифом, осетриной и фаршированной уткой; на подносах горы пирожков с мясом и сыром. Прекрасно одетые люди ринулись к накрытым столам, словно изголодавшиеся оборванцы. Чтобы избежать давки, Джек отступил в сторону и отправился дальше вдоль залы.

Он обошел почти три четверти ее, прежде чем нашел свою незнакомку. Заслышав негромкий, мелодичный, словно колокольчик, смех, он обернулся. Поначалу он вообще не заметил женщину, только трех высоких дородных мужчин, стоявших полукругом. Но тут снова послышался смех, и, подойдя ближе, чтобы разглядеть, нет ли кого внутри полукруга, Джек увидел ее. Разговор велся на русском, и он решил подождать.

Американец повернулся и направился к накрытому столу. Неужели он собрался уходить? Ей не хотелось, чтобы он уходил. Она лучезарно улыбнулась окружающим ее мужчинам:

— А теперь мне придется покинуть вас, мои слав-



ные герои. Я не знаю, почему меня пригласили на этот роскошный прием, но убеждена, что вовсе не для того, чтобы всецело посвятить себя только вам троим. Как бы приятно ни было мне ваше общество. Насколько я понимаю, нам, дамам, полагается следить за тем, чтобы никто из гостей не скучал, и занимать их.

Что им оставалось делать? Отсалютовав ей поднятыми бокалами, мужчины отошли в сторонку. Зоя направилась к столу и протянула пустой бокал официанту, разливавшему шампанское. Американец стоял чуть поодаль от стола. Зоя повернулась к нему. Он не сводил с нее глаз. Она улыбнулась, и он шагнул ей навстречу.

— Хеллоу!

Зоя кивнула:

— Халло!

— Меня зовут Джексон Роджерс Тэйт. Капитан. Военно-морской флот.

У него славная улыбка, подумала она. Очень подходит к его щенячьим глазам. Но что он такое сказал? Если бы только он говорил чуть помедленнее! Она одарила его чарующей улыбкой. Никакого эффекта. Казалось, он явно озадачен.

— Я сказал, меня зовут Джексон Роджерс Тэйт. А вас?

Только теперь она поняла, о чем он спрашивает.

— Зоя Алексеевна Федорова. — И рассмеялась. Теперь пришла его очередь смущаться.

— Зой-я, Зой-я, — попытался повторить он, и она одобрительно закивала головой. Но как же он назвал себя?

— Пожалуйста, повторите ваше имя.

— Джек-сон. Джек-сон, или Джек, если вам...

Она жестом остановила его:

— Джексон, правильно?

Он взял протянутую руку и тут же почувствовал глубокое волнение. Такая маленькая, такая нежная, такая мягкая...

Ей показалось, ее рука попала в плен, однако в этом плену она чувствовала себя спокойно и уверенно.

— Вы говорите по-английски? — спросил он.

— Чуть-чуть, — ответила она. — А вы говорите по-русски?

— Чуть-чуть.

Джек обвел рукой залу. Она утвердительно кивнула. Он предложил ей руку, но она лишь грустно улыбнулась и покачала головой. Не слишком удачная мысль. Он понял.

Они медленно пошли вместе, переходя из одной переполненной залы в другую. Время от времени кто-то останавливался поговорить с Зоей. В другой раз Джека остановил, схватив за руку, теперь уже сильно пьяный майор.

— Как дела, дружище? — спросил он, хитро подмигнув Джеку.

— Отлично, — ответил Джек, с удивлением почувствовав раздражение против этого человека. Черт возьми, он едва-едва знаком с этой женщиной, не знает даже, кто она такая. Откуда это желание защитить ее?

Они остановились неподалеку от струнного квартета. Скрипач поднял смычок, приветствуя Зою. Повернувшись, он сказал что-то своим коллегам, и они заиграли мелодию, которая, видимо, была ей хорошо известна. Кивком головы она поблагодарила их и начала подпевать, но так тихо, что слышал ее только Джек.

Он не понимал слов песни, но голос ее ему понравился. Когда она допела до конца, он беззвучно зааплодировал. Она залилась краской.

— Спасибо, — сказал он по-русски.

— Пожалуйста, — улыбнулась Зоя.

Они пошли дальше.

— Вы певица? — спросил Джек.

— Актриса. Кино. Ее слова, похоже, произвели на него впечатление. Зоя обрадовалась, что он никогда не видел ее раньше. Значит, она заинтересовала его не как киноактриса, а как женщина.

Как жаль, размышлял Джек, что они лишены возможности поговорить по-настоящему, тем более просто поболтать. Что ж, ничего не поделаешь, остается лишь рискнуть в надежде, что она проявляет к нему столь же искренний интерес, как он к ней.

— Вы живете в Москве?

Она не поняла. Тогда он по-другому построил вопрос.

— Ваш дом. Москва?

— Да.

Он глубоко вздохнул. Они почти полностью завершили круг по зале, и у него не было ни малейшего желания снова начинать его. Слишком уж большая толчея.

— Ваш муж тоже здесь? Я бы с удовольствием познакомился с ним.

Она не поняла ни слова. Он соединил колечком два пальца и продел в него палец, на котором положено быть обручальному кольцу. Она рассмеялась.

— Не замужем. А вы?

— Разошелся.

Она не знала этого слова. Он попытался объяснить.

— Не хотим вместе. Разведусь, когда приеду домой.

Она кивнула с видимым удовольствием.

Они молча посмотрели друг на друга, без слов понимая, что между ними возникло что-то значительное.

— А теперь я пойду. — Зоя улыбнулась с наигранной грустью.

Не может ли он проводить ее домой, спросил Джек. Зоя покачала головой. Ей нужно время как следует подумать об этом американце. В том, что он ей нравится, нет никаких сомнений, но не следует забывать об опасности, грозящей ей, если их увидят вместе.

Джек проводил ее в вестибюль. Помог надеть пальто и ботинки.

Она протянула ему руку. Он принял ее. Они обменялись долгим взглядом. Затем она повернулась уходить.

— Зоя!

Она остановилась и обернулась к нему. Джек достал записную книжку и ручку.

— Как я найду вас? Я хочу снова вас увидеть.

Она, видимо, не поняла, что он сказал.

— У вас есть телефон? Какой ваш номер? — Джек приложил руку к уху, словно телефонную трубку, и сделал вид, что набирает номер.

Зоя улыбнулась, поняв наконец, для чего ему понадобились записная книжка и ручка.

— Да, — произнесла она и записала в книжке номер своего телефона.

Улыбнувшись на прощание, она направилась к выходу.

Прежде чем положить записную книжку в нагрудный карман, он бросил взгляд на номер телефона. При мысли, что он снова увидит ее, его охватило волнение. Он сам себе удивился: ему ли, мужчине средних лет, испытывать давно забытый юношеский трепет?

Он вдруг понял, что страшно голоден, и вспомнил, что за все время, проведенное с Зоей, у него во рту не было ни крошки. Он вернулся в первую залу, ту самую, где принимал гостей Молотов. Теперь по-

среди ее во всю длину был расставлен стол. Он взял тарелку, положил на нее ростбиф и кусок фаршированной утки, не заинтересовавшись осетриной, вкус которой был ему непривычен.

Отойдя от стола, он в изумлении остановился. У дальнего его конца, возле самой двери, стояла Зоя. меховая шубка просто наброшена на плечи. Он с удивлением наблюдал, как она завертывает в салфетку несколько кусков мяса, а затем, прикрывая полую шубки, сует их в сумочку. После чего спокойно и гордо покинула залу.

Джек рассмеялся:

— Вот же черт подери!

На улице было холодно и скользко, но Зоя едва обращала на это внимание. Она даже не заметила человека, который, узнав ее, приподнял шляпу. Мурлыча песенку из кинофильма, которую исполнили для нее музыканты, она вся ушла в мысли об американце, с которым повстречалась на приеме. Каждые несколько секунд она, затаив дыхание, повторяла: «Джексон. Джексон». Какое странное имя. Но надо запомнить его на случай, если он позвонит по телефону. Нет, поправила она себя. Не *если*, а *когда* он позвонит.

Как они и договорились, обе сестры поджидали ее дома. При виде серьезного лица Александры ее обуяло легкомысленное веселье.

— О-ля-ля! — победно воскликнула она и закружилась в танце.

Сестры отреагировали на это именно так, как она ожидала. Маленькое личико Марии засветилось радостным любопытством — ей не терпелось узнать, как прошел блестящий прием. Александра нахмурилась.

— Ты пьяна, — сказала она.

Зоя засмеялась:

— В некотором роде — да.

— Замечательный прием? — спросила Мария.

— Замечательный! — ответила Зоя. Она открыла сумочку и вытаскила насквозь промокшую и красную от мясного сока салфетку.

— Ну как? — спросила она, положив перед сестрами тонкие куски мяса. Их было пять. Три куса Зоя дала Александре — как-никак у нее двое детей, а два — Марии. — В следующий раз возьму сумку побольше.

— Тебя могли засадить на всю жизнь за воровство, — сказала Александра.

— А вас — за то, что приняли украденное, — рассмеялась Зоя. — Если ты, дорогая сестричка, побаиваешься, не бери.

Александра презрительно фыркнула, завернула в газету два куса, а третий тут же съела. Мария откусывала мясо крошечными кусочками, словно это был шоколад наивысшего качества, вкусом которого она хотела насладиться как можно дольше.

Непрерывно болтая, Зоя поставила на огонь чайник. Она понимала, что разыгрывает перед сестрами спектакль. Несколько слов, сказанные ей Молотовым, она изобразила как долгий разговор. Рассказала, как музыканты исполнили одну из ее песен и как после этого присутствующие устроили ей настоящую овацию. Но, болтая, она не переставала думать о Джеконе и никак не могла решить, рассказывать о нем сестрам или нет. Да, собственно говоря, о чем рассказывать? Она познакомилась с американцем, и у них завязался легкий флирт. Вот и все. Что тут рассказывать? Что она повела себя как наивная школьница, которая каждый день влюбляется в нового мальчика? Вот когда будет о чем рассказать, тогда она с ними и поделится.

Зоя налила в стаканы чай. И все же, размышля-

ла она, даже если это и всего лишь короткая встреча, американец вернул ее к жизни. И вот этим-то и стоит поделиться с сестрами. Эта новость заслуживает того, чтобы о ней рассказать. Иван навсегда останется в ее сердце, но теперь она все начнет заново.

Они сидели за круглым столом, пили чай, и Зоя как бы между прочим заметила:

— Я сегодня познакомилась с одним очень интересным американским офицером. Он попросил мой телефон.

— И ты дала? — Глаза Александры сузились.

Мария, не сдержав волнения, рассмеялась:

— Какой он? Я слышала, все они высоченные и тощие. Он такой же?

— Не очень высокий и я бы не сказала, что тощий. Но хорошо сложен.

Александра схватила Зою за запястье:

— Я спрашиваю, ты дала ему номер своего телефона?

— Конечно. Я же сказала, что он мне очень понравился.

— Идиотка!

Не надо было им рассказывать, подумала Зоя. А теперь счастье ушло из этой комнаты. Она ведь сделала это, чтобы они снова могли посмеяться все вместе, как когда-то до войны.

Она посмотрела на Марию, уставившуюся в стакан с чаем; сестра вся сжалась, стараясь сдержаться, подавить любопытство. Бедняжка Мария, подумала Зоя, до чего же она похожа на меня! Ей тоже хочется видеть жизнь с радостной стороны. Только Александра относится к жизни излишне серьезно, воспринимая ее лишь как неустанную кару. Нынешняя жизнь и без того тяжела, куда уж тут придумывать новые сложности!

— Если он позвонит, ты встретишься с ним? — спросила Александра.

Зоя посмотрела сестре прямо в глаза:

— Конечно. Почему бы нет?

Александра наклонилась вперед:

— Я объясню тебе почему. Для этого мне понадобится только одно слово: папа.

— При чем здесь папа?

— Папа спросил у немца адрес врача, и этот вопрос стоил ему жизни.

Зоя понимала, что в словах сестры есть доля правды, но не хотела с ней соглашаться. Согласиться означало вернуться в унылый мир, в котором она жила до сегодняшнего вечера.

— Ты забываешь, Александра, что американцы — наши союзники. И если он позвонит и попросит о встрече, а я соглашусь, то ведь я пойду на свидание не с врагом.

— Кто сейчас знает наверняка, кто враг, а кто нет? Разве немец был нашим врагом, когда папа попросил у него адрес врача? Мы тогда даже и не воювали с немцами. Твоему американцу нечего бояться. Проиграешь только ты. Подумай обо всем как следует, Зочка. Это тебе не кино.

Только бы Александра замолчала. У нее еще будет время хорошенько обо всем подумать, прежде чем он позвонит.

— Что они мне могут сделать? — возразила Зоя. Она подняла руку, предупреждая ответ сестры. — Я не какая-нибудь деревенская девчонка. Да, я твоя младшая сестра, но за стенами этого дома я Зоя Федорова, а это что-нибудь да значит. Люди любят меня. Никто не посмеет меня тронуть.

Помолчав немного, Александра выдохнула:

— Надеюсь.

Три сестры в молчании допили чай. Под конец Зоя сказала:

— Так или иначе, а беспокоиться не о чем. У этого великолепного романа есть одна большая про-



блема: мы с моим американцем почти не понимаем друг друга.

Джек Тэйт сидел на диване лицом к Красной площади и докуривал последнюю перед сном сигарету. При всей усталости он был уверен, что не заснет. Прошедший вечер разбередил ему душу. Как умудрилась эта маленькая блондинка так быстро войти в его жизнь? Он уже довольно давно не был близок с женщиной. Может, поэтому? Но нет, вряд ли. В конце концов, он же не какой-нибудь сексуально озабоченный юнец. И уж, конечно, не потому, что эта Зоя сказала что-нибудь особенное. Черт возьми, да они с трудом понимали друг друга.

Нет, за всем этим кроется что-то совсем другое, более сильное, чем физическое влечение или желание, и отнюдь не восхищение ее умом — как ему судить, умна она или нет, если они и говорить-то друг с другом не могут? Дело в том, что она лучилась теплом, которое с того самого момента, как он увидел ее, постепенно завладевало им. Он даже самому себе не мог объяснить, что произошло, ибо еще ни одной женщине никогда не удавалось привести его в такое волнение.

Он жаждет встречи с ней, но имеет ли на это право? Он никогда никому в этом не признается, но испытывает что-то похожее на страх — легкое, едва уловимое ощущение страха. Долгие годы морской жизни и жесткие требования, которые она предъявляет к человеку, почти начисто вытравивали из него все эмоции, и он вовсе не был уверен, что может или хочет вернуть их. Но одно он знал точно: эти несколько минут, проведенные с ней, воскресили в его памяти времена, когда его слух улавливал далекий шум девятого вала задолго до того, как он обрушивался на берег.

Он загасил сигарету и встал. Пора ложиться спать. Неловко повернувшись, он ударился бедром о бок рояля. Выругавшись, потер рукой ушибленное место. Какого черта у них в комнате стоит этот рояль, если никто не умест на нем играть?

Уже засыпая, он подумал о том, что обязательно позвонит Зое. А главное — не забыть купить русско-английский словарь.

Зоя лежала в постели. С улицы Горького временами доносился шум проезжавших машин. Кусочек неба в окне почернел. Должно быть, снова пошел снег. Мысли текли медленно-медленно. Скоро она уснет.

Александра, конечно же, права. Встречаться с этим американцем, безусловно, рискованно. А может, и нет. Он — союзник Советского Союза, она — Зоя Федорова в зените своей популярности. И все же... Удивительно, почему ей вечно приходится спорить с Александрой, даже в тех случаях, когда она с ней согласна? Александра всегда все видит в черном свете; если Зоя — это день, то Александра — ночь. Они любят друг друга, но, когда они оказываются вместе, в воздухе пахнет грозой. А Мария всегда где-то посередине, протягивает руку помощи обоим.

Джексон. Джексон какой-то Тетт. Ладно, Джексон, и хватит. Запомнить хотя бы это.

Она улыбнулась в темноте, вспомнив их встречу. Надо же было так разволноваться, забыла даже те английские слова, которые знала. Если он не позвонит, так ей и надо.

Нельзя сказать, что она хорошо знала английский, но за последние годы нахваталась слов и выражений. Работа в кино сталкивала ее со многими людьми из всяких стран — с газетчиками, журна-

листами, дипломатами. Она старалась слушать и запоминать. Но стоило этому американцу сказать два слова, и она начисто забыла все английские слова. Ладно, при следующей их встрече она возьмет себя в руки. Может быть, стоит позвонить завтра ее приятельнице, журналистке Элизабет Иган. Она поможет Зое выучить хотя бы несколько американских фраз.

Зоя тихонько замурлыкала: «Мой воппие ждет за океаном, мой воппие за морем ждет» и улыбнулась в темноте. Она так и не выяснила, что означает слово «воппие». Как же звали того журналиста, который научил ее этой песенке на каком-то приеме? А что, если это что-то неприличное?

Если он позвонит, она обязательно купит словари — и русский, и английский.

Зоя повернулась на бок и мгновенно заснула.

На следующий день Джексон обратился к прикомандированному к нему для работы переводчику. Вытащил листок бумаги, на котором предварительным образом написал печатными буквами: «Семь часов. Завтра вечером. Послезавтра вечером? Ваш адрес? Я зайду за вами». И положил листок на стол перед переводчиком.

— Напишите мне эти слова по-русски. Но только не как они пишутся, а как произносятся.

Прочтя фразы, переводчик понимающе улыбнулся и принялся писать, тоже печатными буквами.

Вечером Джек набрал ее номер.

— Зоя?

— Да.

— Это Джексон Тэйт, вы меня помните?

— Добрый вечер, Джексон.

Он тщательно повторил слова с бумажки и договорился о встрече на следующий день в семь часов вечера.

И очень удивился, когда в конце разговора она сказала:

— Большое спасибо, Джексон.

На следующий день переводчик сказал ему:

— Извините, капитан, но те слова, что вы просили меня написать вчера... Они предназначались для русской женщины?

Джек посмотрел на него подозрительно.

— А вам, собственно, какое дело?

Русский протестующе замахал руками.

— Простите, сэр, но я ведь по-дружески...

— И что же?

— Я бы на вашем месте не стал надевать форму. Для нее так будет лучше. Меньше неприятностей.

— Каких неприятностей?

Русский пожал плечами и ушел.

В тот вечер Джек надел синий костюм и кепку.

Открыв ему дверь, Зоя бросила взгляд на костюм и заметила:

— Очень хорошо, — кивнув головой в знак того, что одобряет его мудрое решение.

Поймав ее взгляд, он спросил:

— Вы боитесь?

Она не поняла. Сделав знак, чтобы он подождал минутку, подошла к столу и взяла словарик, купленный ею накануне. Потом протянула ему.

Джек улыбнулся и вытащил из кармана пальто свой собственный словарь. Оба рассмеялись.

Ресторан при гостинице «Центральная» находился всего в нескольких кварталах от Зоиной квартиры на улице Горького. Но Джек выбрал его вовсе не по этой причине. Он слышал, что вдоль одной из его стен тянулся ряд кабинок, отделенных занавесками от основного зала. Когда-то давно, до революции, великие князья в интимной обстановке угощали здесь

ужинном своих балеринок. Джек надеялся, что в одном из таких кабинетов сможет побыть наедине с Зоей. У него на уме не было ничего, что следовало бы скрывать, просто ему ненавистен был сам факт, что столик на двоих в России почти недостижимая мечта, а перспектива делить его с двумя незнакомцами и двумя словариками представлялась и вовсе невыносимой.

Едва они вошли, как к ним устремилась женщина-метростель. Она не обратила ни малейшего внимания на Джека.

— Добро пожаловать, дорогая Зоя Алексеевна. Мы так рады видеть вас здесь.

Занавеси кабинок были задернуты, и, прежде чем Джек успел обратиться к женщине с вопросом, все ли они заняты, она уже вела Зою в главный зал, в этот час полупустой, намереваясь усадить их за круглый стол, уже занятый какой-то парочкой. Зоя что-то сказала ей, женщина кивнула и повела их к пустому столику в углу зала.

Когда они устроились, Джек спросил:

— Вы знаете ее?

Зоя покачала головой:

— Она знает меня. Мои фильмы.

Джек вздохнул. Вот каково оно бывает, когда ухаживаешь за кинозвездой.

Зоя наклонилась к нему.

— Если говорите по-английски, говорите тихо, ладно? — мягко сказала она.

Джек понял.

— Вы боитесь? — задал он тот же вопрос.

— Нет, — ответила она по-русски, но при этом как-то странно махнула руками, словно призывая соблюдать осторожность. По-прежнему считая, что ей нечего опасаться, Зоя в то же время понимала, что в словах Александры есть своя мудрость. В Рос-

сии и без того можно в любой момент ждать неприятностей, не стоит самой напрашиваться на них.

Толстая официантка принесла кувшин с квасом и наполнила их бокалы. Потом она появилась снова — с закуской, выдержанной в традиционном стиле: узкое блюдо, на нем два тоненьких ломтика колбасы, а вокруг ломтики маринованных яблок и мелко нарезанная капуста.

— Простите нас за такую закуску, Зоя Алексеевна, но время такое, военное.

Зоя сказала что-то по-русски, и женщина улыбнулась.

— Вы действительно хотите пить эту дрянь? — спросил Джек. — Может, заказать лучше водку или шампанское?

Зоя улыбнулась:

— Ничего такого здесь нет.

Она оказалась права. Им даже не принесли меню. Пришлось довольствоваться тем, что мог предложить ресторан. Для начала им подали щи. Джек застонал, вспомнив Любу и щи, которые она ежедневно для них готовила. Правда, щи в ресторане оказались не такие водянистые, сдобренные какими-то приправами.

Главным блюдом был курник — пирог с курицей, овощами и рисом, в котором овощей было куда больше, чем курицы. Но... опять же «военное время».

Однако Зою и Джека меньше всего интересовала еда. Обоих целиком захватил мучительный процесс узнавания и взаимных откровений. Джек поинтересовался, в каких фильмах она играла, и никак не мог понять, что такое «лирическая героиня». Пытаясь объяснить это, Зоя сделала несколько суетливых жестов и взмахнула ресницами. Джек рассмеялся.

Он сказал, что знаком со многими людьми на студии «Метро-Голдвин-Майер», — может, ей захочется сниматься в Америке?

Зоя улыбнулась его наивности. За всю свою жизнь она ни разу не выезжала за пределы СССР, и вряд ли ей когда-нибудь это разрешат. Она вспомнила Берию, представила его холодную усмешку. Да, пока он жив, ее никуда не выпустят. Но Джеку она сказала, что подумает.

Она спросила его о жене. Для нее это было важно.

— Я должна понять, — объяснила она. В ее жизни и без того было достаточно страданий, не хватало еще впутаться в близкие отношения с женатым человеком, да к тому же еще и американцем.

— Мы в браке только согласно букве закона, — объяснил Джек.

Зоя посмотрела в словаре слово «закон». Оно ничего ей не прояснило. Джек принялся объяснять снова, произнося каждое слово отдельно.

— Не — любить — друг — друга.

Зоя кивнула.

— Не — видеть — очень — долго.

Зоя снова кивнула.

— Раз-вод? — спросила она.

Джек утвердительно кивнул:

— Когда вернусь домой.

Выходит, он скоро уедет? Зоя с удивлением обнаружилла, что у нее перехватило дыхание. Неужели этот человек уже так много для нее значит?

— Вы ехать скоро домой?

Джек покачал головой:

— Сомневаюсь.

Она не поняла.

— Думаю, нет.

Джек улыбнулся. Очень похоже на разговор Тарзана с Джейн, подумал он.

— Что такое? — спросила Зоя, увидев, что он улыбается.

Джек показал на себя, потом на нее.

— Вы. Я. Это же безумие.

Зоя согласно кивнула:

— Почему бы и нет?

Подняв бокал с квасом, Джек предложил тост:

— Почему бы и нет?

К ним приближалась, лавируя между столиками, официантка. За нею следовали двое мужчин. Она посадила их к ним за столик. Сделав вид, что вытирает рот салфеткой, Зоя приложила к губам палец. Ужин они завершили в полном молчании.

Когда они вышли из ресторана, Джек предложил прогуляться. Зоя подняла воротник пальто, и они пошли по улице. Джек взял ее под руку, но она отстранилась, объяснив, что в России считается неприличным проявлять на улице нежные чувства.

Они направились в сторону Красной площади. Машин почти не было, им встречались лишь редкие пешеходы. Замотанная в шаль старушка сметала с тротуара в коллектор талый снег. Поглядев на нее, Джек покачал головой. Ей бы, бедняжке, сидеть сейчас дома, в тепле и покое.

— Вы что? — спросила Зоя и, когда он объяснил, ответила: — Но ей же надо что-то есть.

Они обогнали двух пьяных солдат. Увидев Зою, они стащили с себя шапки и начали раскланиваться, приговаривая:

— Зочка!

Зоя выпрямилась и, не глядя в их сторону, зашагала быстрее. Джек поспешил за ней. Ее обидели?

— Да.

Джек повернулся, готовый броситься к солдатам. Зоя схватила его за руку. Она объяснила, что в словах их не было ничего оскорбительного, просто они позволили себе фамильярность.



— Зюечка» я только для моих близких, для тех, кто мне дорог.

Продуваемая со всех сторон Красная площадь встретила их обжигающим ветром. В призрачном лунном свете тускло светилось золото куполов Успенского собора.

Джек показал рукой на один из темных домов:

— Там я живу.

Зюя кивнула.

Мимо торопливо прошли две женщины с авоськами — веревочными сумками, ставшими в те годы неотъемлемой принадлежностью спешащей куда-то москвички. Вдруг небо взорвалось сверкающими огнями фейерверка, залив лежащую во мгле площадь ярким светом. Над городом загрохотали глухие раскаты артиллерийских залпов. Зюя радостно улыбнулась:

— Замечательно!

Это был салют победы, которым правительство оповещало сограждан, что им следует включить радио, чтобы послушать об очередном триумфе Красной Армии. Джек поглядел на Зюю. Полыхавшее в небе зарево осветило ее сияющее лицо. Она была удивительно хороша, и ему захотелось прямо здесь, посреди Красной площади, обнять и поцеловать ее. Но он понимал, что даже теперь, в этот момент общего торжества, об этом не может быть и речи.

Каждый вечер громыхало, как правило, два или три салюта победы. Иногда они возвещали о важных победах, например о взятии какого-нибудь города на пути русских к Берлину; иногда же были просто дополнением к набору ничего не говорящих слов, из которых можно было понять только, что какая-то танковая бригада хоть и не продвинулась вперед, но не сделала и шагу назад. Джек относился к салютам как к пропагандистскому приему, предпринимавшему для поднятия морального духа лю-

дей, и только теперь, глядя на Зоино лицо, он понял их истинное значение. Для русских это была долгая, дорого обошедшаяся им война. Каких только бед не принесла она им. А теперь они жили надеждой, и каждая разорвавшаяся в небе ракета действовала на них, словно доза адреналина.

Джек взял ее за руку и на мгновение задержал в своей.

— Скоро. Скоро все кончится.

— Надеюсь, — промолвила Зоя. Лицо ее подернулось грустью. — И тогда вы уедете домой, Джексон.

Он пожал плечами:

— Меня там никто не ждет.

Она, конечно же, права. Через какое-то время ему предстоит вернуться в Соединенные Штаты. И куда же он отправится? Во Флориду? В Калифорнию? В Техас? Он успел пожить во многих местах, но нигде у него не было настоящего дома. Если что и можно назвать домом, так это борт «Альтамахи». Этот корабль был его домом, пожалуй, в гораздо большей степени, чем какое-либо другое место на земле.

Дом там, где тебя кто-то любит. Из-за Зои его дом теперь Москва, город, в котором он никогда прежде не чувствовал себя уютно. Они ведь едва знакомы, но — надо признать — между ними уже существует какая-то трудноуловимая связь. Он чувствует это и уверен, что то же самое чувствует и она.

Они ушли с Красной площади и по улице Горького направились к Зоиному дому.

Она пригласила его подняться и, войдя в квартиру, взяла у него пальто.

— Я хочу с вами поговорить, — сказала она.

Он сел, и она села рядом, нервно теребя в руках носовой платок.

— Что-нибудь случилось?

Подняв глаза, она улыбнулась:

— Нет, просто я... — Ей пришлось обратиться к помощи словаря. — Просто я... я смущаюсь.

— Говорите же.

Она глубоко вздохнула:

— Мы еще встретимся?

— Именно это вас смущает? Вы об этом хотели поговорить?

Зоя снова опустила голову и утвердительно кивнула.

Джек рассмеялся. Он потянулся к ней и взял ее за руку.

— Зоя, посмотрите на меня. — Она подняла голову. — Я больше всего в жизни хочу опять встретиться с вами, понимаете?

Она кивнула:

— Раз так, значит, нам надо поговорить.

На ломаном английском, много раз останавливаясь, чтобы заглянуть в словарь, она объяснила ему, что, если они хотят встречаться, им придется соблюдать некоторые правила. Не потому, что она боится, но просто глупо не соблюдать осторожность. Поэтому лучше, если, приходя к ней, он будет надевать штатский костюм, а не военную форму. Если ему все же захочется надеть форму, то пусть не удивляется, если она пригласит еще кого-нибудь, может, свою сестру Марию, чтобы про них не подумали, будто они остались вдвоем. А на улице если будет в форме, то тоже пусть не удивляется, если она пойдет не под руку с ним, а на некотором расстоянии. Но даже когда он в штатском, а вокруг будут люди, им лучше не говорить по-английски. Тогда все подумают, что он русский. Если же им повстречается кто-то из друзей Зои, Джексону лучше молчать. Большинству своих друзей она, безусловно, полностью доверяет, но кто может поручиться за остальных?

После того как к власти пришел Сталин, слишком часто случается слышать рассказы о друзьях и даже близких родственниках, которые доносят друг на друга в НКВД.

— Но ведь наши страны союзники, — воскликнул Джек.

Зоя пожала плечами:

— Сегодня союзники, а кто знает, что будет завтра?

— Ладно, — сказал Джек. — Это ваша страна, вам и решать. А я, пожалуй, приналягу на русский.

— Приналяжете? Как это?

Он рассмеялся:

— Буду учить.

— Прекрасно, — сказала она, — а я налягу на английский, чтобы говорить, когда мы одни.

Он поднялся, она помогла ему надеть пальто и проводила до двери. Он обернулся и обнял ее. Она подняла к нему лицо, и он поцеловал ее.

— Зочка, — шепнул он в ее волосы.

Она кивнула:

— Да, для вас Зочка.

Они снова поцеловались.

На следующий вечер он позвонил ей. Ему ответил незнакомый женский голос.

— Зоя?

— Кто говорит?

— Это Джексон. С кем я говорю?

— Зои нет дома. — Телефон замолк.

Подождав час, он снова набрал ее номер. На этот раз подошла Зоя. Когда он поинтересовался, кто была та, другая женщина, она объяснила, что это ее сестра Александра.

— Ей не нравится.

— Что не нравится? Я? Но ведь она и в глаза меня не видела.

— Нет, не вы, Джексон. Вы и я вместе. Она считает, все это очень плохо, принесет неприятности.

— Вам тоже так кажется?

— Я решила рискнуть.

— Я рад. Хочу видеть вас. Завтра вечером?

— Хорошо.

— В семь. Я зайду за вами.

— Приходите ко мне. Я приготовлю обед.

Джек был тронут. Получить приглашение в русский дом американцу — вообще большая редкость. Но приглашение на обед... Карточная система привела к тому, что разделить с кем-то свой обед стало непозволительной роскошью.

— Скажите, может вам что-то нужно, Зочка? Я постараюсь для вас достать.

— Мне ничего не надо, — ответила Зоя. — Только вы.

Повесив трубку, Джек направился к холодильнику и взял с тарелки кусок масла. Аккуратно завернул его в чистый носовой платок и положил на окно в своей спальне. Пусть другие думают, что масло взяла Люба. Они знали, что она частенько уносит домой кое-какие продукты, но молчали.

Потом он вернулся на кухню и отсыпал в бумажный кулек половину пачки соли. Соль ценилась в Москве на вес золота. В другой кулек он насыпал немного кофе и взял с полки банку консервов. Если обвинение предъявят Любе, он во всем признается. Пока что он спрятал продукты под кровать, где, судя по всему, Люба никогда не подметала.

Затем взял листок бумаги и написал на нем печатными буквами: «Меняю американские сигареты на бутылку вина». Поставил свою подпись, указал номер квартиры, спустился вниз и прикрепил записку возле лифта. Через час он получил бутылку вина от какого-то завязтого курильщика.

Не иначе, как я влюбилась, раз могла пригласить этого человека на обед, решила на следующий день Зоя. Другого объяснения нет: влюбилась или сошла с ума.

Она не имела ни малейшего представления, чем сумеет угостить Джека. Смотря, конечно, что ей удастся достать. Хлебную карточку она отоварит, а дальше что? Как часто она приходила в магазин, чтобы купить по карточке мясо, и уходила ни с чем.

На следующее утро она отправилась по магазинам и начала с того, что простояла более часа в очереди за хлебом. Предстояло отстоять такую же очередь за мясом, но, когда она подошла к магазину, у нее упало сердце — никакой очереди у магазина не было. Это могло означать лишь одно: мяса нет. Мясник пожал плечами:

— Война, Зоя Алексеевна, война. Что еще я могу сказать?

— Дайте хотя бы приличную косточку на суп.

Он развел руками:

— Обыщите магазин, если хотите. Пусто. Все разобрали. Приходите пораньше завтра, обещаю отложить вам мяса.

Зоя кинулась из мясного отдела в овощной. Там ей удалось купить несколько штук чуть-чуть подгнившей свеклы и картошки. В другом магазине ей досталось несколько мелких рыбешек, и пусть это вовсе не то, что ей хотелось, но все же хоть что-то. Она приготовит для Джексона какой-никакой борщ и рыбу с каким-нибудь гарниром. Совсем не тот стол, которым можно гордиться...

Вечер выдался необычайно холодный, и Джек решил взять закрепленную за ним машину. Почему

русские называют нынешнюю зиму «сиротской», то есть теплой, было выше его понимания. Оставалось лишь благодарить Бога, что ему не довелось оказаться здесь в «нормальную» зиму.

Припасы для Зои он положил рядом с собой на переднее сиденье. День выдался тяжелый. Русские, которые по соглашению должны были оказывать им в строительстве в Сибири аэродрома всяческое содействие, были на этот раз менее стоворчивы, чем обычно. Да, бетон в наличии имеется, но его использование в погодных условиях Сибири нецелесообразно. Может быть, лучше асфальт или гудрон? А асфальт и гудрон имеются в наличии? Мы проверим, но разве американцы не настаивали именно на бетоне? В конце концов Джек ушел с заседания. Зайдя в посольство, он получил там банку консервированной ветчины для Зои — значит, можно вернуть тушенку, которую он взял на кухне.

Когда он въезжал во двор Зоино дома, по радио в машине звучала американская песенка, которую русские переиначили на свой лад: «Бак пробит и горит, но машина летит на честном слове и на одном крыле». Он выключил радио.

Лифт не работал, и он поднялся по лестнице. Почему в подъездах всегда пахнет мочой? Туалетная бумага для Москвы явление из ряда вон выходящее, но самих туалетов ведь не так уж мало.

Он постучал в Зоину дверь. Когда она открыла, он увидел, что лицо у нее заплаканное. Подождав, пока она закроет и запрет за ним дверь, он спросил:

— Что случилось? Скажите же.

— Чувствуете запах?

Он принялся. В квартире отвратительно пахло горелым.

— Что произошло?

— Это обед. Я на секунду отлучилась привести в

порядок волосы, а рыба сторела. Остались лишь черные высохшие скелетики. Мне стыдно, Джексон...

Он поцеловал ее в мокрый от слез глаз. Потом достал банку ветчины:

— К вам на помощь, мадам, спешат военно-морские силы США.

Зоя схватилась за сердце:

— Ветчина? Это ветчина? Боже, я даже не помню ее вкуса!

Скорее всего, она никогда в жизни не видела консервированной ветчины. Джеку пришлось показать ей, как открыть банку. Когда же подняли крышку, Зоя прижала руки к груди и уставилась на ветчину, словно то были царские драгоценности. Она срезала сверху несколько маленьких кусочков и положила их в борщ. Потом за дело взялся сам Джек и поджарил ломтики ветчины под восхищенные возгласы Зои, разглядывавшей принесенные им яства.

— Сегодня у нас прямо как во дворце! — воскликнула она.

И лишь кофе вызвал у нее разочарование. Не потому, что он был хуже того пойла, которое подавали в Москве, а своим непривычным для нее вкусом.

Когда с обедом было покончено, Джек вызвался помочь ей вымыть посуду. Зоя мыла, он вытирал. Зоя бросила на него робкий взгляд.

— Как будто мы женаты, — сказала она и весело рассмеялась.

— Вот уж нет. Я никогда не помогал своей жене мыть посуду.

Потом они сидели и разговаривали. Зоя попросила его рассказать об Америке. Она то и дело прерывала его возгласами: «Что, что?» — когда он употреблял незнакомое ей слово, или благоговейно-восторженным восклицанием «Да ну! Не может



быть», если он рассказывал о чем-то совершенно привычном для американцев, но неведомом для русских. Более всего ее, казалось, поразило то, что можно при малейшем желании арендовать или купить квартиру или дом, не дожидаясь, пока на это расщедрится правительство. И никаких трудностей? Когда он сказал, что его жена живет с детьми в восьмикомнатном доме, она заявила, что он дурачит ее. Даже у великого Сталина в Кремле всего лишь трехкомнатная квартира.

Потом Зоя стала рассказывать ему о своей жизни, и пришел его черед удивляться. Если она такая известная кинозвезда, почему у нее нет собственной машины, большой квартиры или мехов? «Но у меня есть меха», — сказала Зоя и показала ему свое каракулевое пальто и шапочку, в которых была в тот вечер, когда они познакомились. А машина ей просто не нужна, потому что она не умеет править. Как бы там ни было, машину купить очень трудно: «Огромные деньги».

В завершение беседы они пришли к выводу, что, хотя жизнь каждого не очень понятна другому, сами они друг другу очень нравятся. Джек поцеловал ее на прощание, и они договорились встретиться на следующий же вечер. Когда он был уже в дверях, Зоя попросила его подождать минутку. Пройдя в кухню, она собрала все остатки ветчины. Ей и в голову не приходило, что он может не взять их. Такую-то дорогую диковину.

Джек наотрез отказался:

— Это для вас, Зочка.

— Джексон, — промолвила она и коснулась губами его щеки.

На следующий вечер Джек повел ее в ресторан «Москва», по слухам очень хороший. На улице возле входа стояла очередь, что немало удивило Джека: в эдакий-то мороз. Его возмущало, что в Москве не заведено заранее заказывать столик. Стоявшие в очереди разом обернулись, узнав Зою. Когда они предложили ей пройти без очереди, она пожалала плечами, подмигнула Джеку и величественно прошествовала к двери; их провели внутрь и тотчас усадили за столик. Наклонившись к Джеку, она шепнула:

— Видите? Кинозвезда.

Их соседями по столику оказались солдат и его толстуха жена, которые ели, ни на секунду не прерывая громкой болтовни. Нет, это вовсе не устраивало Джека. Мысленно он проклинал все, с чем столкнулся в Москве. Неужели русским неведомо даже представление об интимности? Неужели у них даже не возникает желания уединиться?

А Зоя казалась совершенно довольной. Она горделиво взглянула на него, когда принесли меню, так и не доставшееся им в «Центральном». Ткнув себя пальцем в грудь, она объяснила, что сама закажет ужин, но, когда подошла официантка, почти ничего из того, что она выбрала, в ресторане не оказалось.

— Война, Зоя Алексеевна.

Джек не был в восторге от того, что им подали, а звуки, которые издавал солдат, обсасывая куриные косточки, отнюдь не повышали настроения.

Когда они вышли на улицу, Зоя спросила:

— Хорошо было, правда?

— Нет, я хотел побыть с вами одной, — ответил Джек.

— Но теперь-то мы одни, — удивилась Зоя.

В машине Зоя объяснила Джеку, куда ехать.

— У меня для вас сюрприз.

Она привезла его посмотреть один из ее фильмов, «Ночь в сентябре». И хотя Джек почти не понял, о чем шла речь, основную идею фильма уяснить оказалось совсем нетрудно. Любящая, добродетельная женщина; храбрый самоотверженный мужчина; благородные поступки во имя Родины; счастливый конец. По-видимому, русским такой фильм очень понравился. Теперь ему стало понятно, почему они любят Зою. Женщина, которую он видел на экране, не имела ничего общего с той Зоей, которую он знал. Его Зоя была полна огня и жизни, а та, на экране, — сплошное самопожертвование и чрезмерное благородство. И все же она была прелестна. Искусство оператора и освещение придали ее облику какую-то светящуюся мягкость, она словно излучала с экрана радость. От нее исходила сила, смягченная, однако, бархатным покровом. Своим талантом она заставляла всех зрителей — не исключая Джека — поверить в то, во что поверить было нельзя, и воспринимать героиню как реальную женщину даже в те моменты, когда логика подсказывала, что это не так.

Когда они снова сели в машину, она спросила:

— Вам понравилось?

Джек оглянулся по сторонам. Окна в машине заиндевели, их никто не мог увидеть. Он привлек ее к себе, поцеловал и прошептал:

— Очень.

Двумя днями позже он повел ее посмотреть американский фильм «Багдадский вор». В Москве он пользовался бешеным успехом. Вместе с остальными зрителями Зоя смеялась и восторженно хлопала в ладоши, а ему картина показалась весьма посредственной.

— Беда в том, — сказал он, — что ваше прави-

тельство не желает брать у нас действительно хорошие фильмы, только всякую ерунду.

— А мне понравилось, — ответила Зоя.

Джек небрежно махнул рукой:

— Они не хотят, чтобы вы увидели нашу жизнь.

Зоя помолчала, потом заметила:

— Я видела Джоан Кроуфорд. И Хеди Ламарр. Какие красивые наряды! Американские женщины так же одеваются, когда идут на работу?

— Только если они работают в Голливуде, — рассмеялся Джек.

Минул февраль, наступил март. Союзные войска с боями прорывались к Берлину, в ночном московском небе почти ежечасно взрывались огни победных салютов. Американцы форсировали Рейн у Ремагена. Русские были на подступах к Щецину и Данцигу и перешли Одер всего в тридцати восьми милях восточнее Берлина.

Внешне в Москве ничто не изменилось. По-прежнему валил снег, укутывая город белым покрывалом. Так же скудны, как и прежде, были карточные нормы. И все же на улицах чувствовалось оживление, чуть чаще стали улыбаться люди. Приближалась победа. Все говорили о том, что День Победы в Европе уже близок. Скоро, совсем скоро.

Что касается дела, ради которого его послали в Россию, то тут для Джека ничто не изменилось. И хотя на бумаге все выглядело гладко, бюрократизм русских и их стремление свалить ответственность на других грозили похоронить проект.

Однако стоило Джеку покинуть свой кабинет, как он сразу же начинал чувствовать себя совсем другим человеком, не похожим на того, что приехал в Москву два месяца назад. За все последние годы он никогда не чувствовал себя таким молодым и

счастливым. И все из-за Зои. До встречи с ней он к концу дня нередко доходил до полного исступления из-за поведения русских, с которыми ему приходилось иметь дело. Теперь, уйдя с работы, он тут же начисто забывал о них. Он по-прежнему хотел, чтобы в Сибири был построен аэродром, и по-прежнему хотел принять участие в войне с Японией — это было для него делом чести. Но теперь, закрыв за собой дверь кабинета, он мог сказать себе: «Черт с ними, мы покончим с Японией и без их помощи». Быть может, ему так и не удастся выполнить порученную ему работу, но время в Москве он даром не потерял. У него была Зоя.

Поначалу он пытался разобраться в том, что произошло. Как он может испытывать какие-то чувства к женщине, с которой ему даже трудно общаться, к женщине, чья жизнь столь отлична от его жизни? Потом вопросы перестали возникать как-то само собой. Джек знал одно: он с нетерпением ждет той минуты, когда увидится с ней, его злили и возмущали обстоятельства, мешавшие им встречаться.

То же самое происходило и с Зоей. Она перестала задавать себе вопрос «почему», перестала копаться в себе, думать, как могло случиться, что после такой глубокой любви к Ивану вдруг — Джек? Между ними двумя не было никакого сходства, ни малейшего. Но она любила, любила серьезно, она знала это, и даже более глубоко, чем ей самой бы хотелось. Какое будущее ждет их? — спрашивала она себя и, не находя ответа, все так же с нетерпением ждала встречи.

Она больше не прислушивалась к словам Александры, которая не переставала твердить о грозящей ей опасности. В конце концов она твердо заявила сестре:

— О чем уж теперь предупреждать. Слишком

поздно! Единственное, чего я теперь боюсь, — это не увидеть Джексона. Если хочешь говорить о нем, дорогая сестричка, то говори о моем счастье, потому что он делает меня счастливой. Джексон хороший. Он не причинит мне вреда. Я знаю это — так же как и то, что мое сердце принадлежит ему.

Александра в отчаянии заломила руки, из глаз ее брызнули слезы:

— Зюечка, я ведь говорю это только потому, что люблю тебя!

Зоя поцеловала ее:

— Я знаю. А раз так — будь за меня счастлива. Я уверена, все будет в порядке.

Мария относилась ко всему иначе. Джексона она считала чудо каким обаятельным, его роман с ее сестрой восхитительным и жадно ловила подробности, которыми делилась с ней Зоя.

— Как будто все время сидишь в кино, только теперь все происходит в жизни.

В тех случаях, когда Джек говорил по телефону, что придет сразу после какого-нибудь приема, на котором ему требовалось быть в морской форме, Мария всегда была готова бросить все свои дела и мчаться вместе с ними куда угодно. К Александре Зоя никогда бы с такой просьбой не обратилась, даже не будь она матерью двоих детей. Марии и всегда-то доставляло удовольствие идти по улице рядом со своей знаменитой сестрой, теперь же, идя рука об руку с нею, она испытывала двойное наслаждение — неважно, что в нескольких шагах позади них шел человек, который почему-то должен делать вид, будто он вовсе с ними не знаком.

А бывали они в таких местах, куда Мария вряд ли могла бы купить билет. Дважды она ходила с ними в цирк на еженедельную программу. Мария визжала от восторга, глядя на клоунов, и еще ей очень

нравились животные. Ей только очень не нравилось, когда на представлении кто-нибудь щелкал бичом, заставляя зверей выполнять свой номер. Джек по возможности всегда покупал себе билет на место позади сестер. Однажды, когда все огни погасли и только один луч освещал стоявшего посреди арены человека, Мария увидела, как Джек наклонился вперед и коснулся Зоиной руки, но сделала вид, что ничего не заметила.

В другой раз они втроем отправились посмотреть фильм «Иван Грозный». Зоя и Мария рыдали навзрыд, а Джек заснул через пятнадцать минут после начала картины. Позже он объяснил им:

— По-моему, это какой-то бред — начинать фильм с показа умирающего человека. К тому же он все время пытается подняться, потом снова падает. Да в Соединенных Штатах такой фильм не выручил бы и десяти центов!

Зоя взглянула на него:

— Оказывается, вы большой знаток кино, да? Вот если бы вы снимали этот фильм, Иван носился бы у вас кубарем по всему свету. И всем было бы на него наплевать.

И чего это я вдруг так разозлилась? — спросила она себя. Не могла вовремя прикусить язык! По лицу Джека она поняла, что обидела его.

— Вы правы: наверное, всем, — ответил он и отвернулся.

Зоя положила ладонь на рукав его кителя.

— Кроме одной женщины, — тихо сказала она. Он улыбнулся.

Зое часто приходилось участвовать по просьбе правительства в мероприятиях, призванных поднимать моральный дух народа в обстановке военного времени. Это мог быть театральный концерт, выступ-

ление перед ранеными в госпитале или концерт на фабрике. Джек не раз предлагал отвезти ее туда и обратно, но она каждый раз отказывалась.

— Это же днем. Вы в военной форме. Нехорошо.

— Я переоденусь в штатское.

Но Зоя продолжала отказываться:

— Зачем вам это надо, Джексон? Я расскажу несколько забавных историй, но вы их не поймете. Спою несколько песен. Так я могу спеть их вам и здесь.

Они были у нее дома.

— Просто я хочу быть с вами. Хочу быть частью вашей жизни.

Зою тронули его слова.

— Ладно, увидим, — говорила она.

На этот раз она уступила ему. Ей предстояло выступить в девять часов утра перед рабочими обувной фабрики. Его желание участвовать в ее жизни — вот что действительно тронуло ее. Он прав. Она может спеть для него и у себя дома, но это совсем другое. Она будет для него всего лишь его Зочкой. Но, появляясь перед зрителями, она становится Зоей Федоровой. Он увидит ее и с этой стороны, почему бы и нет? Кому хуже от того, что они любят друг друга? Почему им нужно все время таиться? Что такое, в конце концов, обувная фабрика? Какие такие секреты в изготовлении обуви? К тому же фабрика находится в нескольких километрах от Москвы. Кто их увидит?

Джек заехал за ней в 7.30 утра. Прежде чем открыть дверцу, она обошла машину со всех сторон. Убедившись, что на машине нет специальных знаков, свидетельствующих о ее принадлежности американцу, она села в нее. Придирчиво оглядела Джека. Костюм, ботинки, кепка — отлично.

— Обещайте, что не промолвите ни слова, пока мы будем там, — попросила Зоя.



— Конечно. А что, если со мной кто-нибудь заговорит?

— Джексон, ни слова. Покажите на горло, как будто оно у вас болит. Все, что угодно, только не вступайте в разговор.

На фабрике их провели в огромный сарай, где должно было состояться представление. К ним присоединились певец из Московского оперного театра и аккомпаниатор. В одном конце сарая была сооружена временная сцена с загородками по бокам, из-за которых выходили на сцену исполнители. Зоя усадила Джека за одной из этих загоронок, у края сцены, откуда он мог хорошо ее видеть. Там она и оставила его, а сама заговорила с аккомпаниатором и представителем фабричной администрации, которому поручили представить ее.

Джек наблюдал за ней. Хрупкой маленькой женщины, которую он любил, как не бывало. Та Зоя, на которую он сейчас смотрел, была поглощена своим делом, справляясь с ним блестяще. Она ни разу не оглянулась на него, никому его не представляла.

Ровно в девять сарай заполнили рабочие.

Первым выступал оперный певец. Исполнив три номера, он спустился в зал и стал рядом с Джеком. Джек не разобрал ни слова, когда объявляли Зою, но, едва она появилась на сцене, раздался оглушительный топот ног.

Видимо, она рассказывала забавные истории или анекдоты, перевоплощаясь при этом в персонажей этих историй, во всяком случае, бурный смех зрителей не смолкал ни на минуту. Потом она представила своего аккомпаниатора, и он заиграл популярную и очень любимую русскими песенку «Синий платочек». У Зои было несильное чистое сопрано. Закончив песню, она жестом попросила зрителей подпе-

вать ей и запела песню с начала. Конец ее выступления потонул в буре оваций.

Она талантлива, подумал Джек, он и не вообразил, посмотрев картины с ее участием, что она настолько талантлива. И хотя она так ни разу и не взглянула на него, Джек ощутил ту особую теплоту, которая исходила от нее, завораживая аудиторию.

Аккомпаниатор сошел со сцены с той стороны, где сидел Джек; Зоя стояла на сцене одна, высоко подняв голову, под грохот аплодисментов, которым, казалось, не будет конца.

— Хороша, не правда ли? — произнес аккомпаниатор.

Джек только улыбнулся.

— Нет ли у вас сигареты?

Джек кивнул. Он сунул руку в карман пиджака и, не доставая пачки из кармана, вытащил две сигареты в надежде, что молодой человек не заметит, что они американские. Одну он протянул ему, зажег спичку, дал прикурить и закурил сам. Аккомпаниатор поблагодарил, Джек в ответ кивнул головой.

Зоя закончила длинный монолог, аккомпаниатор затушил сигарету об пол сцены и сунул окурочек в карман. Он вернулся на сцену — Зое оставалось исполнить заключительный номер. Сойдя со сцены, они задержались, оживленно разговаривая и время от времени поглядывая на Джека.

Зоя вместе с аккомпаниатором и представителем фабричной администрации прошла мимо Джека, не глядя на него, и направилась прямо к тому месту, где стояла машина. Джек подошел к машине с другой стороны и сел за руль. Он ждал, пока Зоя поблагодарит аккомпаниатора и попрощается с представителем администрации. До тех пор пока они не миновали фабричные ворота и не выехали

на шоссе, она сидела молча. И вдруг расхохоталась.

— Я чуть не умерла, когда увидела, что с вами разговаривает Саша.

— И я тоже. Но что тут смешного?

Зоя снова покати́лась со смеху.

— Знаете, что он мне сказал? «Когда я попросил у него сигарету, он не произнес ни слова. Сначала я подумал, что он глухонемой. А потом поглядел на него внимательнее и испугался. Стоит, словно аршин проглотил, костюмчик иностранный, сигарета и та американская. Признаюсь, Зоя Алексеевна, со страху я было не хотел ее брать. Должно быть, большой начальник. Из самой верхушки партийной. А уж как поглядел на меня, скажу я вам, и при этом ни слова. Кто он такой, Зоя?»

Она снова залилась веселым смехом.

— Так что же вы ему ответили?

Зоя прижала ко рту палец и с таинственным видом оглянулась вокруг:

— Что мне не позволено об этом говорить.

Джек посмотрел в зеркало заднего вида. Машин не было.

— Идите ко мне, — сказал он и свернул на обочину дороги. Они поцеловались.

Но она тут же испуганно отстранилась от него:

— Пожалуйста, Джек, не надо. Нас могут увидеть. У нас это не принято... на глазах у всех.

Джек улыбнулся.

— В этом нет ничего плохого, Зочка. — И добавил по-русски: — Я вас люблю.

Зоя растерялась. Пристально глядя на него, она спросила:

— Вы понимаете, что сказали, Джексон?

— Да. — И он повторил сказанную фразу.

Зоя покачала головой:

— Вы хотели сказать, что я вам нравлюсь. А ска-  
зали, что любите.

— Я понимаю, что сказал. Я действительно люблю вас, Зоя.

Она взяла его руку и поцеловала.

— Я тоже люблю вас, Джексон.

Атмосфера в городе накалялась все больше. Победу ждали со дня на день. Сколько еще могут продержаться немцы? Казалось, над каждой улицей гудят невидимые электрические провода, излучая заряды мощной энергии.

Зоя решила устроить особый вечер. На этот раз ей удалось достать мяса еще до того, как она пригласила на обед Джексона. Не очень большой кусок баранины, но зато настоящая баранина. Обед будет на славу.

Кроме того, она достала билеты в цыганский театр «Ромэн». Ему понравится. Они давали «Цыганского барона» Штрауса. Там все понятно, даже на русском, а музыка просто восхитительная. Она улыбнулась самой себе, вспомнив, как на прошлой неделе несчастный Джексон украдкой поглядывал на свои часы все время, пока шла опера «Евгений Онегин». Какие муки он претерпел ради нее! Но даже словом не обмолвился, что терпеть не может оперу. Правда, никогда и не говорил, что любит ее. А двумя днями позже он пригласил ее в Большой театр на «Лебединое озеро». Больше всего ее поразило, что он сумел достать билеты. Для русских это не так-то просто, хотя иностранцам вроде бы легче. Ей показалось, что ему понравился балет, хотя полной уверенности у нее не было. Почудилось ли ей или он на самом деле испытал какую-то неловкость, когда танцовщики появились на сцене в трико?

Но сегодняшний вечер будет целиком посвящен

Джеку. От своей приятельницы-американки Элизабет Иган она даже узнала, как приготовить тушеную баранину, хотя рецепт не произвел на нее особого впечатления. Из баранины можно приготовить блюда и повкуснее. Но этот вечер был для него.

Попробовав готовое блюдо, она пришла к выводу, что чего-то в нем не хватает, но чего? Мяса маловато, догадалась она, но тут уж ничего не поделаешь. А может, такое оно и должно быть на вкус? Кто ее знает, эту американскую еду.

Когда мясо попробовал Джек, он рассмеялся.

— Бог мой, где вы научились готовить тушеную баранину по-ирландски?

— По-ирландски? — изумилась Зоя. — А не по-американски?

Джек попытался объяснить ей, что тушеная по-ирландски баранина может считаться американским блюдом, но у него был слишком небольшой запас русских слов, а у нее слишком небольшой запас английских. Ей довольно было и того, что баранина ему понравилась.

Джек никогда не слышал о цыганском театре — этот театр и впрямь не принадлежал к числу самых известных в Москве, — и когда она назвала его — «Ромэн», он подумал, что его ждет представление, герои которого выступают в римских тогах. Он удивился, почему, решив доставить ему удовольствие, она выбрала именно этот театр.

— Мы идем на «Юлия Цезаря»?

Они стояли перед обшарпанным зданием театра, в которое входили не очень многочисленные зрители.

Зоя растерянно спросила:

— Почему «Юлий Цезарь»? Ведь это... — Она сверилась со словарем. — Это же «Цыганский барон» Иоганна Штрауса.

— Тогда почему вы назвали его «Романский»?

— Не «Романский», а «Ромэн». То есть цыганский. — Она покачала головой. — Ох уж эти американцы, — изумленно добавила она.

Пока шел первый акт, на улице начался снегопад. Когда они вышли в антракте из зала, белая пелена уже накрыла тротуары. Большинство зрителей осталось в фойе, а они вышли на улицу, где можно было спокойно поговорить.

— Уже апрель, — заметил Джек. — Когда-нибудь снег здесь перестает идти?

— Скоро будет прекрасно, — ответила Зоя. — Вот увидите.

Им обоим сюжет штраусовской оперетты показался предельно глупым, хотя Зоя искренне оплакивала любовь Софи к Баринкаю. Но музыка понравилась. И когда они уселись в машину, оба громко запели штраусовский вальс, а Зоя еще и прихлопывала над головой руками, словно отбивая ритм на тамбурине. Если не считать двух полукружий на переднем стекле, очищенных «дворниками», они были отгорожены от внешнего мира занавесом густого снега. На город, казалось, опустилось тяжелое белоснежное покрывало. Джек был рад, что на улице мало машин, — автомобиль то и дело заносило. Но в качестве дома он его вполне устраивал. Плохо ли?

Зоя напевала вальс из оперетты по-русски.

— О чем в нем речь? — спросил Джек.

Зоя перевела ему довольно примитивно:

— Он цыган, совсем бедный, но очень, очень счастливый.

— Он что, идиот? — засмеялся Джек.

Зоя сделала вид, что обиделась:

— Джексон!

— Ладно. Я постараюсь написать что-нибудь получше.

Зоя всплеснула руками:

— Джексон, вы пишете стихи?

Он пожал плечами:

— Случается. Так, пустяки.

— Джексон... Мой американский Пушкин.

Машина въехала во двор ее дома. Он помог ей выйти и, обняв за талию, закружил под падающим снегом в вальсе, музыка которого их заворожила. Зоя прижала руку к его губам и испуганно посмотрела на дом. Можно ли с уверенностью сказать, что за ними никто не наблюдает?

Поднявшись наверх и войдя в переднюю, он помог ей снять пальто.

— Кофе? — спросила она.

Джек отрицательно покачал головой:

— Наверно, не стоит задерживаться. Уж очень сильный снег. Могу и не добраться до дома.

— И что тогда вы будете делать? — вскользь спросила Зоя. Налив в чайник воды, она зажгла газ.

— Скорее всего, придется провести ночь в машине. Не бросать же ее посреди улицы.

— Ни в коем случае, Джексон. Вы можете замерзнуть.

— Видимо, другого выхода нет.

Она стояла лицом к плите, спиной к нему.

— Наверно, лучше оставить машину до утра там, где она стоит.

Он подошел к ней.

— Не спорю, так действительно будет лучше.

Он положил руки ей на плечи, и, обернувшись, она оказалась в его объятиях. Их поцелуй был долгим и нежным. Протянув руку, он за ее спиной выключил газ.

Глаза слипались, но он боролся со сном. Никогда в жизни не повторится этот первый, чудесный и бесценный миг, ему не хотелось терять его. Рядом с собой он ощущал тепло ее тела, его рука лежала на

ее мягком плече. Зоя. Зюечка. Она пошевелилась, и он вдохнул аромат ее духов. Они были очень русскими и чересчур пряными, но это были ее духи. Их аромат останется с ним на всю жизнь. И всегда будет воскрешать в памяти ту ночь, когда они были вместе в мире безмолвия и белизны.

В ушах звучали звуки знакомого вальса. Его исполнял один-единственный музыкант где-то высоко-высоко в царившем над миром мраке. Он почувствовал, что должен пойти туда. Музыка звала его, и он ступил в непроглядную темь, которая по мере того, как он шел, растворялась, светлела, обретала краски. Он заснул.

Зоя осторожно приподнялась, высвободив его руку. Не то еще отлежит ее. Она переложила руку поудобней. На какое-то мгновение дыхание у него пропало, но тут же возобновилось, стало ровным и глубоким. Она взгляделась в его лицо. Во сне у него сделалось наивно-простодушное выражение, какого прежде она никогда не видела. Она протянула руку и кончиками пальцев коснулась его коротко стриженных волос. В них уже кое-где виднелась седина. О мой Джексон, подумала она, как же долго мы жили на этой земле друг без друга! Представить только, нужно было начаться мировой войне, чтобы мы соединились. Иногда даже зло рождает добро. Но война скоро кончится...

Мысли ее смешались. Война скоро кончится. И что тогда? Останемся ли мы после этого вместе? Да, конечно же, да, но как? В какой стране? В его? В моей?

Она заставила себя перестать об этом думать. Зоя Федорова, сказала она себе, на эту ночь, только на одну эту ночь перестань быть русской бабой, по натуре своей привыкшей превращать радость любви в горе. Радуйся этой ночи и всем последующим



за ней ночам и не заглядывай так далеко вперед. Все будет хорошо. Так или иначе, но все уладится. Мы с Джексоном позаботимся об этом.

Осторожно, чтобы не разбудить его, она снова легла рядом и прижалась к нему, чтобы почувствовать его близость.

— Мой американец, — прошептала она и закрыла глаза.

Ночью снегопад прекратился. Из окна им было видно, что снега навалило не так уж много, с улицы Горького доносился шум машин.

— Наверно, я мог бы добраться до дому, — заметил Джек.

Зоя посмотрела на него.

— Но я очень рад, что не сделал этого, — улыбнулся он.

Зоя ответила печальной улыбкой:

— Не шути со мной, Джексон. Я не очень хорошо понимаю шутки.

Он поцеловал ее в нос и пошел бриться. Она сидела за столом, пила кофе и искоса поглядывала на него.

— Надо будет принести тебе новые лезвия, — сказал он. — Это совсем затупилось.

Как приятно, думала она, когда вместе с тобой завтракает мужчина. Она смотрела, как напрягаются мышцы его руки, когда он водит по щеке бритвой. Славно! Он мурлыкал мотив вальса из «Цыганского барона».

Внезапно Джексон обернулся.

— Послушай-ка, — сказал он и запел низким голосом:

Я твой янки-капитан,  
Ты российская звезда.  
Буду век любить тебя  
И расставшись навсегда.

Он подождал, как онаотреагирует. Он был уверен, что она расхохочется.

— Ну как?

Ее лицо погрузнело.

— Это ты сам сочинил, Джексон?

Джек кивнул:

— Я же говорил тебе, что не очень силен по части поэзии.

— Очень славно, — сказала она и отвернулась, пытаюсь скрыть бежавшие по щекам слезы.

Джек подошел к ней:

— В чем дело? Я-то думал, что рассмешу тебя.

Зоя покачала головой:

— Прости меня, может, я не понимаю.

Он сел рядом. У него на лице еще оставались следы мыльной пены.

— Не понимаешь чего?

— Последних слов. Выходит, ты уезжаешь?

Джек обнял ее.

— Ты же знаешь, я никогда не уеду без тебя, Зочка.

— Но ты сказал: «Расставшись навсегда».

Джек вытер с ее щек слезы и приподнял подбородок, чтобы заставить ее посмотреть ему в глаза.

— Мне нужна была рифма к слову «звезда», только и всего. Я хотел сказать, что всегда буду любить тебя.

— Придумай другую рифму, Джексон.

Он подумал немного:

— Хорошо, тебе нравится эта больше? «Буду век любить тебя, но с сигарой — никогда».

Она улыбнулась:

— Гораздо больше.

Джек поцеловал ее.

— Глупышка.

Он вернулся в ванную смыть с лица мыльную

пену. Умывшись, он снова запел тот же вальс, но уже по-новому.

— Отныне это наша песня, Зоя. Разве не трогательная?

— Мне нравится, — ответила она.

Когда он сел за стол, собираясь пить кофе, Зоя сказала:

— Джексон, скажи мне правду. Что с нами будет?

— Ты о чем?

— Ведь когда кончится война, ты уедешь.

Мгновение поколебавшись, он ответил:

— Начнем с того, что она еще не кончилась.

— Но вот-вот кончится, — сказала Зоя.

Джек взял ее руку, лежавшую на столе:

— Да, с Германией. Но еще остается Япония.

Моя страна находится в состоянии войны с Японией. Твоей стране тоже предстоит в нее вступить.

— А потом? Пожалуйста, ответь, Джексон.

Он покачал головой:

— Дорогая, пока не знаю.

Зоя кивнула, глаза ее снова наполнились слезами.

— Ты уедешь. И забудешь меня.

— Нет, я вовсе не то хотел сказать. Я просто хотел сказать, что еще не знаю, как все будет, потому что пока еще не думал об этом. Мы ведь с тобой тоже еще ни о чем не говорили.

— А ты хочешь говорить? Скажи мне правду, Джексон.

Он подошел к ней, заставил встать и обнял.

— Конечно, я буду говорить об этом. Я не хочу терять тебя, Зоя. Больше всего меня беспокоит не то, как нам быть вместе, эту проблему мы как-нибудь решим, а моя любовь к тебе. Я не очень уверен, что любовь — моя стихия. У меня за спиной два

неудачных брака, и это пугает меня. Я люблю тебя сильнее, чем какую-либо другую женщину в своей жизни, и я не хочу причинить тебе боль.

Зоя прижалась головой к его груди.

— Ты не можешь причинить мне боль. Только если покинешь меня.

Он поцеловал ее в макушку.

— Я не покину тебя.

Они простояли не шелохнувшись несколько минут. Потом он высвободился из ее рук.

— Разве только чтобы пойти на работу.

Она смотрела, как он надевает китель и пальто.

— Ты вернешься вечером?

— Да, но только после ужина. Придется появиться в посольстве и принять участие в какой-то формальной церемонии. Я приду между семью и девятью и буду в форме, поэтому мы никуда не пойдём, останемся дома.

Зоя проводила его до двери:

— Ужин приготовить?

Он поцеловал ее:

— Перехвачу что-нибудь там.

Вечером он вернулся, сияя довольной улыбкой.

— У меня для тебя сюрприз. Не только ты ворует еду на приемах. — И, вытащив из кармана пальто завернутый в салфетку пакет, вывалил перед ней набор разных закусок.

Рассмеявшись, Зоя захлопала в ладоши. Потом попробовала один из крошечных сэндвичей и скриivilась:

— Что это?

Джек откусил кусочек.

— Наверно, это начиненная чем-то консервированная ветчина. Может, пикулями.

— А что это такое — пик... — Она не могла выговорить слово.

Он объяснил. Зоя поглядела на сандвич.

— И это вы едите у себя в Америке?

— Только на приемах. Да и то не на всех.

Зоя с явным неудовольствием доела сандвич.

— Ну что ж, придется привыкать.

Они заговорили о планах на будущее.

— Понимаешь, — сказал Джек, — когда падет Германия, мне, наверно, придется на какое-то время покинуть тебя. Остается война в Японии, и я надеюсь, что меня направят туда. Как-никак я все еще служу во флоте.

Зоя кивнула.

— И еще надо получить развод. С этим не будет никаких проблем. Мы еще раньше обсуждали этот вопрос с Хелен и пришли к полному согласию. Развод состоится сразу после моего возвращения домой, и тогда мы сможем пожениться.

У нее на глаза навернулись слезы.

— Что случилось? Что я не так сказал? — недоумевал Джек.

Зоя улыбнулась сквозь слезы.

— Ничего не случилось. Просто ты еще ни разу прежде не говорил о женитьбе.

Джек поцеловал ее.

— Вот видишь, Зочка, я же говорил тебе, что любовь — не моя стихия. Конечно, я хочу жениться на тебе. Ты пойдешь за меня замуж?

Зоя коснулась его щеки.

— О да, Джексон.

Она пошла на кухню и вернулась с бутылкой вина, которую он принес в тот первый вечер, когда пришел к ней на обед. Бутылка была еще не совсем пуста. Они чокнулись и выпили. Вино оказалось уже с кислинкой. Выпили молча, но Зоя подумала: это плохой знак.

— Джексон, — сказала она, — если ты поедешь

в Японию, ты ведь можешь уже не вернуться в Москву.

— Тогда ты приедешь ко мне в Штаты.

Зоя улыбнулась про себя. Ну до чего ж он наивный, этот ее американец.

— А если я не смогу?

Джек подумал о том, что русские всегда найдут повод для беспокойства.

— Зоя, наши страны союзники. Между нами хорошие отношения. Почему нам могут запретить соединить свои жизни? Мы ведь не сделаем ничего, что причинило бы вред какой-либо из наших стран.

Они живут так свободно, подумала она, что, очутившись в стране, где нет свободы, уже не замечают этого.

— Да, да, — проговорила она.

Взяв ее руку, он поцеловал ее.

— Послушай, давай не будем волноваться раньше времени. Если случится, что возникнут проблемы, тогда будем волноваться. Я знаком с очень влиятельными людьми в моей стране, они помогут нам. А сегодня давай лишь примем решение.

— Хорошо, — согласилась она, но на сердце у нее было тяжело.

— Я не могу сказать тебе, где мы будем жить в Соединенных Штатах, — продолжал Джек. — В конечном итоге это зависит от того, на какую базу направит меня морское ведомство. Она может находиться где угодно, от Нью-Йорка до Калифорнии.

— Но я же русская, — сказала Зоя. — У меня здесь карьера.

— Ты можешь быть актрисой и в Америке, — возразил Джек. — У меня много знакомых в Голливуде, они помогут тебе. А как моя жена ты получишь американское гражданство.

— Но я люблю свою страну. Почему бы тебе не поселиться здесь, Джек?

— По одной причине: я не смогу жить в твоей стране. Я даже не понимаю твоего правительства. К тому же моя карьера целиком и полностью связана с военно-морским флотом Соединенных Штатов. Я посвятил ему всю свою жизнь и не могу вот так просто взять и отказаться от всего этого. Даже если бы я захотел, я не мог бы начать все сначала в военно-морском флоте России. А ты можешь — в американских фильмах.

В конце концов они договорились, что будут жить по полгода в каждой стране. Это было единственным приемлемым для них решением, и при этом ни один из них не смел о нем думать, ибо, задумавшись хоть на секунду, они бы поняли, что решение это лишено всякого смысла. И все же они продолжали убеждать друг друга: ведь чудо уже одно то, что американский моряк и русская актриса полюбили друг друга. Был ли в этом смысл? Но если это оказалось возможным, то возможно и все остальное. Все будет хорошо. Все должно быть хорошо.

Они услышали глухие раскаты орудийных залпов. Выглянув в окно, Зоя увидела огни салюта. Она включила радио. Джек не понял объявления, сделанного русским диктором. Он уловил лишь одно слово «Рузвельт». Зоя выключила радио. Она казалась потрясенной.

— Что случилось? — спросил он.

Она села рядом и взяла его за руку.

— Франклин Рузвельт. Он скончался.

Ей пришлось несколько раз повторить эти слова, потому что он, казалось, их не понимал. Он решительно потрянул головой.

— Не может быть, это неправда. Очередная русская утка.

— Но они сказали...

Джек поднялся. По его лицу текли слезы.

— Я пойду, Зоя. Мне надо все узнать самому.

Джек ехал по необычно пустым улицам. Ничего странного, убеждал он себя. Москвичи услышали новость и поверили ей. Их реакция вызывает всяческое уважение. Но это неправда. Это не может быть правдой.

Охранник у американского посольства подтвердил печальное известие. Президент скончался в Уорм-Спрингсе от кровоизлияния в мозг.

Джек отъехал от посольства. Проехав квартал, он свернул к тротуару, выключил мотор и, уронив голову на руль, разрыдался. Его не покидало чувство, что он потерял очень близкого человека, такого же близкого, как отец, которого он почти не помнил. Придя немножко в себя, он постарался вспомнить имя нового президента, но в памяти всплыло лишь смутное изображение человека в очках.

Лишь позже, вернувшись домой и почти засыпая, Джек вспомнил его имя. Гарри Трумэн. Он почти ничего не знал об этом человеке, разве что он из Миссури и когда-то владел магазином мужской одежды. О Боже, подумал он, почему Рузвельту было суждено умереть, когда так близок конец войны? Способен ли этот человечек в очках завершить его дело?

Две недели спустя, 9 мая 1945 года, в Москву пришел День Победы. Уже накануне вечером улицы заполнились народом, с площади на площадь перекатывались толпы охваченных нетерпеливым возбуждением людей. Джеку удалось поменять два блока сигарет на бутылку французского шампанского, которую он и захватил, отправляясь к Зое. Они сидели



у окна, глядя на веселящихся людей. Они громко хохотали, когда подвыпивший солдат обнял пожилую женщину, подметавшую тротуар. От возмущения она чуть не ударила его метлой.

Джек поднял бокал и произнес по-русски:

— Я тебя люблю, — тут же повторив эти слова по-английски.

— Я тебя люблю, Джексон, — сказала она тоже по-русски.

Они поцеловались. Он сжал руками ее голову.

— Маленькая девочка, — снова проговорил он по-русски, — вот кто ты такая. Моя маленькая девочка. Правильно я сказал? Я только-только выучил эти слова.

Зоя рассмеялась.

— Ты мое сокровище, Джексон. Эти слова я тоже только-только выучила.

Он снова наполнил бокалы.

— Я счастлив с тобой, Зочка. Я хочу состариться рядом с тобой.

Они тихо сидели в темной комнате, впитывая удивительный покой и согласие.

Позднее он сказал, что не сможет остаться на ночь.

— Не исключено, завтра поступят специальные распоряжения. На всякий случай надо быть на месте. Но рано утром я заеду за тобой и мы вместе отпразднуем победу.

Буйное веселье охватило Москву. Тротуары не вмещали пешеходов, и скоро людские толпы перелились с тротуаров на проезжую часть улиц. Русские, обычно сдержанные и отнюдь не склонные проявлять свои чувства на людях, с восторгом праздновали победу. Джек добирался от Красной площади до Зоиноного дома почти час, хотя обычно это было

мигунтым делом. Русские, увидев человека в американской военной форме, бросались к нему, останавливали машину, жали руку, а те, кому не удавалось пробиться, радостно улыбались, выкрикивая: «Американец!» и «Победа!». Он продвигался вперед черепашьим шагом, опасаясь, что в любой момент может услышать хруст костей под колесами.

Когда он наконец добрался до нее, Зоя бросилась в его объятия. Он крепко и страстно поцеловал ее.

— Какой деня! — воскликнул он. — Победа! Победа! Сегодня мы выйдем на улицу, и я останусь в своей форме.

Зоя рассмеялась:

— Сегодня все можно.

— Тогда пойдем, — предложил он. — В такой день нельзя сидеть дома.

Зоя дотронулась до его руки, указав куда-то вбок. На него исподлобья глядел маленький мальчик.

— Кто это? — спросил Джек.

— Это мой... — Зоя не знала нужного слова. — Это Юра, сын Александры. Он пришел, чтобы посмотреть на праздник.

— Отлично, — сказал Джек. — Заберем его с собой. — И он протянул мальчику руку. Мальчик отпрянул к стене.

Зоя подошла к нему и заговорила по-русски. Затем подтолкнула вперед и сказала:

— Он стесняется. Он никогда в жизни не видел американца.

Джек присел на корточки перед мальчиком.

— Я не кусаюсь, Юра.

Мальчик позволил ему взять себя за руку.

— Вот так-то, приятель, — сказал Джек. — Ладно, одевайся.

Хотя стоял май, было холодно даже в каракуле-

вой шубке и шапочке. Когда они спустились во двор, Джек посадил Юру на плечи. Они заметили, что к дому идет сестра Зои Мария. Джек поцеловал ее в щеку, она густо покраснела и смущенно хихикнула. Они взяли с собой и Марию. Зоя села впереди, Юра с Марией сзади.

Как только они выехали на улицу Горького, Джек снял фуражку в надежде, что толпа не обратит внимания на американца, сидящего в машине, и это хоть сколько-нибудь ускорит их продвижение вперед. Увы, надежда оказалась тщетной — узнав Зою, люди тут же брали машину в плотное кольцо.

Они решили побывать на площадях — на тех, конечно, до которых смогут добраться. На Красной площади, с которой они начали свою поездку, бушевало людское море, в которое каждую минуту вливались новые потоки людей. Ехать дальше было бессмысленно, и Джек стал подумывать — не бросить ли машину. Правда, он не был уверен, что им удастся далеко уйти и пешком. В какой-то момент им пришлось вовсе остановиться, пережидая, пока танцоры не закончат отплясывать какой-то неистовый танец.

Выбравшись с Красной площади, они стали очень медленно продвигаться к Манежной площади. Там Джеку с огромным трудом удалось припарковать машину, и они вышли на улицу. Им не пришлось сделать и нескольких шагов, как в толпе узнали Зою и люди ринулись к ней, выкрикивая ее имя. Два солдата подхватили ее и понесли на руках. Джека тоже подняли и обоих их перенесли и поставили на помост, обычно использовавшийся для концертов на открытом воздухе. Какой-то мужчина с аккордеоном заиграл русскую песню, и Зоя запела под аккомпанемент свиста и топота ног. Припев подхватила вся толпа. Когда Зоя кончила петь, началось

сущее столпотворение. Джек метался из конца в конец крошечной сцены, потрясая над головой сцепленными руками, словно одержавший победу боксер.

— Америка! Россия! Дружба! Дружба! — выкрикивал он.

Люди карабкались на сцену, чтобы обнять их. Но тут снова заиграл аккордеонист, и Джек с Зоей оказались в диком водовороте стихийной пляски. Он крикнул ей:

— Надо спастись отсюда, покуда мы целы.

Пока они добирались до машины, где их ждала Мария, крепко вцепившаяся в руку Юры, все норовили обнять и расцеловать их. Где-то по пути к ним присоединились какие-то две незнакомые Джеку женщины. Судя по тому, что одна была в платке, а другая в меховой шубке, Джек решил что одна из них русская, а другаято ли англичанка, то ли американка.

И верно, второй оказалась Элизабет Иган, американская журналистка, хорошая знакомая Зои. Первой — костюмерша с Зоиной студии по имени Марина.

— Отлично, — сказал Джек, — все в машину. Трогаемся.

Чем дальше, тем все более опасной становилась езда. По улицам, не глядя вокруг, шло слишком много людей, опьяненных либо победой, либо водкой. Было решено завести Юру домой к Александре. Мальчик устал от пережитых волнений и держался из последних сил, чтобы не заснуть.

Когда они подъехали к дому Александры, Мария повела мальчика к матери.

— Мне бы надо было подняться и поцеловать сестру по случаю победы, но я лучше останусь с тобой, Джексон, — сказала Зоя.

— Может, и мне поцеловать се по случаю победызасмеялся Джек.

— Не порти ей такой день, — фыркнула Зоя.

На площади Маяковского повторилось то же самое, что и на Манежной. Снова Зоя пела перед собравшейся толпой, и снова Джек выкрикивал: «Америка! Россия! Дружба! Дружба!»

Когда они добрались до машины, Джек взмолился:

— Не знаю, как ты, Зоя, а с меня довольно. Покатались, и хватит.

Зоя согласилась. Они безуспешно искали Марию и двух Зоиных приятельниц. Джек помог Зое сесть в машину. Он несколько раз посигналил, давая знать исчезнувшим женщинам, что они уезжают, но вряд ли те могли услышать гудки в стоявшем над толпой шуме.

В поисках тишины и покоя Джек вел машину, стараясь держаться подальше от больших площадей. Однако поиски успехом не увенчались. В конце концов ему удалось подъехать к тротуару возле какой-то гостиницы. Они вошли в полупустой коктейльбар, и Джек попросил принести им выпить.

— Сегодня такой день, — промолвила Зоя, — что даже я выпью.

Но от первого же глотка водки ее всю передернуло.

— За победу, — поднял рюмку Джек, — и за нас с тобой.

Зоя кивнула и снова отпила из рюмки.

— И за то, чтоб не было никакой Японии.

Джек покачал головой.

— Я не буду пить за это, Зочка. Голову даю на отсечение, что именно туда мне предстоит скоро отправиться.

Зоя подняла рюмку.

— Тогда я пью за то, чтобы ты вернулся ко мне.

— Вот за это я выпью с удовольствием, — улыбнулся Джек.

Когда они уходили из бара, солнце уже клонилось к закату. Джек предложил поехать к нему и оттуда посмотреть гуляние на Красной площади. До того Зоя лишь раз или два бывала в его квартире, и в каждый приход ей бывало там не по себе. То место, где он жил, было американской территорией. Лишь немногие русские были вхожи туда — те, что работали там. Всем остальным это грозило большими неприятностями. Но сегодня совсем другое дело. Она с готовностью, не испытывая ни малейшей тревоги, приняла его предложение.

Подступы к Красной площади были по-прежнему запружены народом. Когда они подъехали к дому, уже стемнело.

Войдя в гостиную, он включил свет. Потом, подойдя к окнам, выходящим на Красную площадь, распахнул их. Площадь внизу чернела перекатывавшимися по ней людскими волнами.

— Мир, — промолвила Зоя, глядя на сверкающие над площадью огни. — Как красиво!

Прогредел первый залп победного салюта, глухие орудийные удары доносились со всех концов города. Темное небо прочерчивали огненные следы ракет, взрывавшихся затем яркой россыпью фейерверков, освещавших все вокруг. Над толпой вознесся единый вздох восхищения.

— Такая ночь уже никогда не повторится, — сказал Джек.

Зоя кивнула.

— Зоя! — Кто-то внизу разглядел ее в окне.

Они увидели, как люди поднимают головы и смотрят на них. Ее имя запорхало в толпе, и все

больше голов, повторяя движение волн в океане, поворачивалось к окну.

— Зоя! Зоя! — словно заклинание несло над толпой.

Зоя подошла к окну и стала двумя руками посыпать воздушные поцелуи.

Джек кинулся в спальню и достал свой последний блок сигарет. Разорвав пачку, он высыпал сигареты на крышку пианино. Потом стал бросать их вниз в толпу. «Америка! Россия! Дружба! Дружба!»

Люди ринулись вперед, проталкиваясь поближе к окну. Джек велел Зое открыть остальные пачки.

— Только оставь одну мне, — попросил он.

Толпа под окном все нарастала, снизу доносился уже не шум, а дикий рев. Двое мужчин пустили в ход кулаки, пытаясь схватить одну и ту же сигарету. Чтобы положить конец потасовке, Зоя бросила в их сторону еще несколько сигарет, но за ними кинулись другие, повадив на землю двух драчунов.

В дверь квартиры кто-то громко постучал. Джек открыл. Перед ним стоял незнакомый ему американец. Он был в ярости.

— Чем, черт возьми, вы тут занимаетесь?

— Да просто развлекаемся в честь победы.

— Немедленно прекратите бросать что-либо вниз! Доведете людей черт знает до чего.

— Да бросьте, — сказал Джек. — Это же всего-навсего сигареты.

— Сейчас же прекратить!

— Это приказ?

Мужчина нахмурился.

— Это просьба. Просьба посла Гарримана.

— Ого! — откликнулся Джек.

Он попросил Зою не бросать больше сигарет и показал знаками толпе, что их больше нет. Зоя послала еще несколько воздушных поцелуев, и толпа

отхлынула от окна. Джек выключил свет, чтобы люди внизу подумали, что они ушли.

Они сидели на диване, глядя на светящиеся в ночном небе огни фейерверков. Зоя отдыхала в его объятиях.

— Устала? — спросил он.

— Немножко, — прошептала она. — Но какая ночь!

— Мы навсегда запоем ее, — сказал он и поцеловал ее.

— Надеюсь, вместе, — откликнулась она.

— Вместе, — кивнул Джек.

Она заснула в его объятиях, положив голову ему на плечо. Прислушиваясь к ее спокойному, ровному дыханию, он чувствовал себя счастливым. Вот это и есть любовь, сказал он себе. Просто чувствовать радость, прислушиваясь к тихому дыханию человека, который для тебя — весь мир. Так просто. Так естественно.

Она пошевелилась во сне. Он коснулся губами ее лба.

Когда она проснулась, они решили пешком отправиться к ней домой. Это проще, чем ехать туда на машине.

По улице Горького, тяжело громыхая гусеницами, двигались, словно огромные неуклюжие слоны, танки, готовившиеся к предстоящему на следующий день параду на Красной площади. Колонна растянулась так далеко, что конца ее не было видно.

Войдя в квартиру, Джек закрыл окно, но шум от колонны танков по-прежнему проникал в комнату. Они перешли в ее крохотную спальню и стали раздеваться.

В постели Джек нежно обнял ее.

— Моя жена, — прошептал он.

Она улыбнулась в темноте.



— Сегодня я понесу ребенка, — сказала она.

— Откуда ты знаешь? — рассмеялся он.

— Знаю.

— Тогда самое правильное, — сказал он, — называть нашего ребенка в честь славной победы. Если это будет мальчик, давай назовем его Виктором. А если девочка Викторией.

Прошло две недели. Однажды, заехав к Зое, чтобы вместе пообедать, Джек застал ее в слезах.

— Что случилось?

— Я уезжаю.

— Куда? Когда?

— Завтра. Мне сказали, что мне надо ехать на гастроли по черноморским городам. Выступить в госпиталях. Перед солдатами.

— Надолго?

— Не знаю. На три недели. Может, на месяц.

Джек приподнял ее мокрое от слез лицо и поцеловал.

— Я буду ужасно скучать, но ведь не навсегда же мы расстаемся.

Она взяла протянутый им платок.

— Мне эти дни покажутся вечностью.

— Нет, — сказал Джек. — Ты актриса, ты склонна все драматизировать. Ты будешь там так занята, что время пролетит незаметно.

Он не знал, что еще сказать ей в утешение. Что касается его самого, то он понимал, что говорит неправду. Мысль о расставании с Зоей причиняла боль, и чувство это было для него новым. Это озадачило: вся его жизнь состояла из одних расставаний — с женами, с детьми, с друзьями, с теми местами, которые он считал своим домом, — но никогда еще он не испытывал при этом боли.

— Я уже скучаю по тебе, — сказала Зоя.

— А я буду скучать до той минуты, пока ты не вернешься ко мне. — Джек снова поцеловал ее, заставив себя улыбнуться.

На следующее утро он проснулся в шесть и стал поспешно одеваться в темноте. В 7.30 за ней придет машина, вряд ли ему следует присутствовать при этом. Он изо всех сил старался не шуметь, и все же она пошевелилась во сне.

Одевшись, он наклонился к ней и поцеловал.

— Моя жена, — прошептал он.

У него дома все еще спали. Джек сел в гостиной на стул у рояля и стал смотреть, как над Красной площадью встает солнце. В это утро открывавшийся перед ним вид не тронул его. И хотя наконец пришла весна, город казался серым и холодным. Выкурив очередную сигарету, он посмотрел на часы. 7.35. Значит, она уже уехала. Москва вновь стала для него чужой.

Он услышал, как в спальне насвистывает что-то, одеваясь, один из его соседей. И тут же раздался резкий стук в дверь.

Джек бросился открывать. Почему-то он был уверен, это Зоя. Что-то произошло, и она не поехала на гастроли. Пришла сообщить ему эту новость. Но на пороге стоял сотрудник американского посольства.

— Капитан Джексон Р.

— Тэйт? — мрачно спросил он.

Джек кивнул. Американец протянул ему конверт.

— Что это? — спросил Джек.

— Приказ о высылке вас из страны. Советское правительство объявило вас персоной нон грата. Вам следует покинуть Советский Союз в течение сорока восьми часов.

— Что? — Джек не поверил своим ушам. — В чем я провинился?

Американец покачал головой.

— Я не знаю, да и они не объясняли. Но приказ есть приказ.

— Ничего не понимаю.

— Мы тоже, но ничего не поделаешь. Я бы советовал вам сегодня же завершить все ваши дела. Морское ведомство уже уведомлено, вопрос о вашем новом назначении решается. Завтра утром вы получите предписание на этот счет.

Кивнув на прощание, сотрудник посольства удалился. Джек прошел в свою комнату и, ошеломленный, опустился на кровать. Он распечатал конверт и прочел вложенную в него бумагу. Ничего более того, что ему уже сообщил сотрудник посольства, она ему не сказала.

Закурив сигарету, он попытался обдумать случившееся. Даже у русских, которых он редко понимал до конца, должна быть какая-то веская причина для такого решения. Но какая? Связана ли она хоть как-то с его работой? Нет, в этом нет никакого смысла. Даже если они не хотят строить аэродром в Сибири, это не причина для выдворения его из страны. Они могут и дальше продолжать тянуть время, сваливая вину на других; делать все, чтобы чертов проект никогда не был осуществлен, что, собственно, сейчас и происходит.

Скорее всего, это каким-то образом имеет отношение к Зое. Да, это единственное разумное объяснение. Отослать ее на гастроли и в ее отсутствие вышвырнуть из страны ее возлюбленного. Таким простым путем знаменитую русскую кинозвезду уберегут от порочащей ее связи с американцем.

Он загасил сигарету. Как просто устроена жизнь в Советском Союзе, думал он. Все, что от вас требуется, это понять, что не надо ни о чем мечтать, не

надо думать, не надо чувствовать, и все будет в порядке. Где вам жить, какую получать зарплату и, наконец, кого любить — все это решат за вас.

Как-никак, Джексон Роджерс Тэйт не русский. Его можно вышвырнуть из страны, но после войны он вернется и тем или иным путем добьется, чтобы они с Зоей оказались вместе.

Если бы только до отъезда увидеться с ней! Но это невозможно. Он достал из стола лист бумаги и написал:

Моя Зочка,

Сегодня утром ты уехала на гастроли. Сегодня же утром мне вручили предписание покинуть твою страну. Никаких причин указано не было, тем не менее я должен покинуть страну в течение 48 часов. Я думаю, что твои гастроли и мое выдворение (придется тебе посмотреть это слово в словаре) были согласованы заранее — с целью разлучить нас. Хочу верить, что это не обернется для тебя бедой. Они просто не хотят, чтобы мы любили друг друга.

Но мы-то с тобой знаем, что это не в их силах. Я люблю тебя. В сердцах наших мы с тобой муж и жена.

Ты ведь знаешь, что я офицер военно-морских сил Соединенных Штатов и моя страна находится в состоянии войны с Японией, в которую скоро вступит и твоя страна. Я должен быть там, куда направит меня моя страна, ведь и ты поехала на гастроли ради своей страны. Так и должно быть.

Но будущее принадлежит нам. Пока мы любим друг друга, нас никому не разлучить. Верь в это, моя маленькая девочка, как верю я. Я вернусь к тебе.

Пока... I love you,  
я люблю тебя.

Джексон.

Заклеивая письмо, он заплакал. Затем надел куртку и вышел на улицу. Его поразила вид яркого солнца и спешащих по своим делам смеющихся людей.

Какое бесстыдство, весь его мир обрушился, а им хоть бы что.

Джек направился к ее дому. На всякий случай он поднялся к ее квартире и постучал в дверь. Ответа не последовало. Он хотел было подсунуть письмо под дверь, но передумал. Что, если его обнаружит Александра и порвет? Нет, надежнее оставить его в почтовом ящике.

Он спустился вниз и сложил письмо так, чтобы оно пролезло в щель запертого металлического ящика.



## КНИГА ТРЕТЬЯ

### ЗОЯ

Ялта, Симферополь, Севастополь, Сочи — гастроли длились уже третью неделю, впереди по крайней мере еще одна, и временами, просыпаясь по утрам и глядя на незнакомые стены вокруг, Зоя с трудом понимала, где она. Гастроли выдались на редкость изнурительными, порой у нее нестерпимо саднило горло. А ее аккомпаниатор жаловался, что от влажного морского воздуха у него распухают и болят руки. Но если бы не тоска по Джексону, все это было бы не так страшно. Когда она видела на больничных койках людей, лишившихся рук, ног и глаз, а иногда с такими страшными увечьями, которых и представить себе невозможно, она понимала, что не имеет права жаловаться. И если несколько спетых ею песенок и рассказанных непритязательных историй хоть немного облегчали их страдания, могла ли она им отказать? Она улыбалась. Даже тогда, когда можно было не улыбаться.

Но, мой Джексон, мой американец, как я тоскую без тебя! Как я хочу снова оказаться в твоих объятиях! Хочу потрогать родинку на твоем лице, которую ты всегда так осторожно обходишь при бритье. Именно сейчас мне так тебя не хватает...

Она представила себе его лицо и удивленное выражение, которое появится на нем. А потом он

улыбнется. И его глаза наполнятся слезами. Вот что в нем нравилось ей больше всего. Настоящий мужчина, он не стеснялся своих слез. И все это произойдет после того, как она скажет ему, что у них будет ребенок.

А потом он засмеется и назовет ее русской ведьмой, потому что она еще в ночь Победы сказала, что понесет ребенка. И это сбылось.

Уже две недели, как у нее должны были начаться месячные, а их все нет. До сих пор они приходили с завидной регулярностью. Кто другой наверняка объяснил бы задержку напряжением и усталостью, но ей-то лучше знать. Не было случая, чтобы что-то повлияло на регулярность ее цикла. Ни смерть отца, ни гибель Ивана. Ни даже страх, когда немцы подходили к Москве.

Вернувшись в Москву, она ходит к врачу, и он подтвердит ее предположения. Но это всего лишь простая формальность. Она знает. Даже при таком маленьком сроке она чувствует, что это так. И пускай кто угодно назовет это бабьими выдумками. Ей лучше знать. Она чувствует это своим материнским сердцем.

Где бы она ни находилась, стоило ей подумать о зародившейся внутри ее новой жизни, как она легонько дотрагивалась до живота. «Виктор, — шептала она. — Виктория».

Джек Тэйт летел в Вашингтон за новым назначением. Чем больше он думал о Зое, тем сильнее мучало его беспокойство. А что если она вовсе не на гастролях, а ее арестовали? Такое вполне могло случиться, хотя она и уверяла его не раз, что ее популярность служит ей надежной защитой. А если она заблуждалась?

Он снова и снова принимался убеждать себя, что терзается без всякой на то причины. Если бы

Зоя арестовали, она бы просто исчезла и никто бы никогда не увидел ее, пока ей не разрешат вернуться оттуда, куда ее отправили. В таком случае не было никакой необходимости высылать его, он и так ее не нашел бы. Нет, тот факт, что его выдворили из страны, означает, что Зоя действительно уехала на гастроли и вернется в Москву. Они не хотят одного: чтобы они с Зоей были вместе.

Он надеялся, что высокие чины в Вашингтоне смогут объяснить ему, что, собственно, произошло в Москве. Но не успел задать свой вопрос — они опередили его. Вашингтон принял решение считать проблему исчерпанной.

— Какое назначение хотели бы вы получить? — спросили его.

— Такое, к какому я готовился всю жизнь. На передний край.

Джека направили в распоряжение командующего Пятым флотом адмирала Хэлси для последующего назначения на авианосец. Первой его остановкой был Пёрл-Харбор, где он провел примерно десять дней на курсах по переподготовке командного состава: там офицеров знакомили с самыми современными средствами ведения войны. Каждый день по десять часов кряду ему в голову вдалбливали последнюю информацию о новейших видах вооружений.

По утрам он просыпался с мыслью о Зое и давал себе слово написать ей. Но в конце дня без сил валялся на кровать и проваливался в глубокий тяжелый сон. И лишь в последний день пребывания в Пёрл-Харборе он написал ей письмо, отправив его спецпочтой.

Ты уже получила письмо, которое я тебе оставил, а потому знаешь о случившемся то же, что и я. Я сейчас очень далеко и не имею права сказать тебе где. Но



Морское ведомство знает это, и, если ты напишешь по указанному адресу, мне перешлют письмо.

Обо мне не беспокойся, я обещаю тебе, что со мной ничего не случится. Меня оберегает твоя любовь. И хотя я очень беспокоюсь о тебе, я уверен, что и тебя будет хранить моя любовь. Нас разделяет только расстояние, моя маленькая девочка. Но сердца наши по-прежнему вместе.

Джек вылетел в распоряжение адмирала Хэлси и был назначен капитаном «Рэндольфа», базировавшегося в двухстах пятидесяти милях от Токио.

Уже на борту «Рэндольфа» он получил известие о смерти своей жены Хелен. Он снова был свободен.

Едва сняв пальто и шляпу, Зоя позвонила Джексону. Было около полудня, и она набрала его служебный номер. Но мужчина, ответивший на ее звонок, сказал, что не знает никакого Джексона Тэйта. Зоя повторила по буквам: «Тэйт, Т-э-й-т». Мужчина объяснил, что его здесь больше нет.

Крайне озадаченная, Зоя набрала номер его квартиры. Трубку взяла Люба, но она ничего не знала. Только то, что он уехал.

Что-то случилось. Страх сдавил сердце. Она хотела было позвонить в американское посольство, но не решилась. Кто может поручиться, что ее телефон не прослушивается?

Зоя набрала номер своей приятельницы, американки Элизабет Иган. В ту секунду, когда, назвав себя, она услышала, как охнула Элизабет, Зоя поняла, что произошло худшее.

— Говори, — попросила она сквозь стиснутые зубы, с трудом подавив желание закричать во весь голос.

— Его выслали. Он получил предписание покинуть страну в течение сорока восьми часов.

Зое показалось, что на нее обрушилась скала. Чтобы не упасть, она оперлась свободной рукой о стол.

— Но он вернется?

— Зюечка, ты же понимаешь, — ответила Элизабет. — Тебе уже никогда не увидеть его.

Зоя положила трубку на рычаг и опустилаcь на стул. Она словно онемела. Она не кричала, не плакала. Просто сидела не шевелясь. Тело ее, казалось, омертвело. Живым оставался только мозг. Никогда больше не увидит Джексона. Как же так? Ведь она носит его ребенка! Он вернется. Он должен вернуться.

Она просидела недвижно более часа. В окно заглянуло заходящее солнце. Луч его попал ей в глаза, и она вздрогнула.

Потом вдруг вскочила. Если Джексон уехал, он обязательно оставил для нее письмо. Он ведь такой внимательный. Зоя выбежала из квартиры и ринулась вниз по лестнице к почтовым ящикам. И остановилась как вкопанная.

Дверца ее ящика была вырвана и болталась на одной петле. Ни на что не надеясь, она все же заглянула внутрь. Почтовый ящик был пуст. Они пришли за письмом Джексона и унесли его с собой.

Только теперь пришли слезы, которые она сдержала после звонка Элизабет, горькие и бурные. Зоя прислонилась головой к холодному металлическому ящику и зарыдала. Тело ее сотрясалось от безудержного плача. «Бедная моя малютка. Теперь мы с тобой совсем одни».

Джек так и не дождался от Зои ответа на свое письмо. Получила ли она его? Возможно, но мало вероятно. А если получила, то ответила ли? Если да, так что же произошло с ее письмом?

Он послал ей еще несколько писем с борта «Рэндольфа», но с каждым посланием в душе его крепло убеждение, что он больше никогда не услышит ее и никогда не увидит.

Закончилась война, и «Рэндольф» направился к родным берегам. Из Балтиморы Джек снова написал Зое. Теперь он уже был твердо уверен, что его письма не доходят. А что если написать ей пустое, ни о чем не говорящее письмецо, вроде этого:

Дорогая Зоя,

Война наконец закончилась блестящей победой обеих наших стран. Я вернулся домой, у меня все в порядке. Надеюсь, и у Вас тоже. До сих пор с любовью вспоминаю Москву. Если представится возможность, буду рад получить от Вас весточку.

Какому дураку придет в голову перехватывать такое письмо? Поймет ли Зоя, что любовь к Москве — это его любовь к ней?

Зоя подумывала об аборте, но отказалась от этой мысли. Она хотела ребенка. Убить его — значило бы убить то единственное, что осталось у нее от Джексона. Пусть мелкие, ограниченные люди болтают что угодно, она с гордостью выносит своего ребенка.

Да и возраст у нее такой, что самое время подумать об этом. Как бы не оказалось поздно. И даже если к ней снова придет любовь, когда она еще будет в состоянии произвести кого-то на свет, вряд ли этот ребенок будет зачат в момент близости столь страстно любящих друг друга людей, как они с Джексоном.

Зою радовало отношение друзей. Лишь двое-трое отвернулись от нее, позволив себе несколько ядовитых замечаний по ее адресу. Все остальные остались

рядом, готовые в любой момент прийти на помощь. И самое главное, рядом был Саша.

Саша был такой высокий и такой тощий, что походил на тростинку. Пианист, ее постоянный аккомпаниатор и композитор, он часами бродил по улицам Москвы, уйдя в свои мысли и прислушиваясь к звучащей в голове музыке. Ему ничего не стоило прийти на официальный прием в брюках и рубашке без галстука, зато с карандашом за ухом. Или в вечернем костюме, но все с тем же карандашом. Он был самым добрым человеком из всех, кого когда-либо знала Зоя.

Узнав о ее беременности, он тут же примчался, предложив ей выйти за него замуж ради будущего ребенка. Зоя была тронута до глубины души. Но от замужества отказалась.

— Мы с тобой близкие друзья, но никогда не станем любовниками. Было бы несправедливо связывать тебя узами законного брака. Вот если бы ты согласился признать себя отцом ребенка...

Он поцеловал ей руку.

— С радостью, Зоя Алексеевна. Почту за честь

Чушь, конечно, но почему-то многие считают, что, если женщина в ожидании хочет, чтобы у нее родился красивый ребенок, она должна окружать себя красивыми вещами и стараться постоянно думать о чем-то прекрасном. А что если они правы? Попробовать, что ли?

Все то лето ее беременности у нее со стола не сходили свежие цветы. Как только они начинали вянуть, она заменяла их новыми, только бы поблизости от ее ребенка не оказались умирающие цветы. По возможности она смотрела лишь фильмы со счастливым концом и посещала те концерты, где исполнялись произведения классиков.

Но с каждым днем сохранять ощущение прекрасного в глубинах своей души становилось все труднее.

Впервые она поняла, что за ней следят, как-то в августе, проснувшись под утро и почувствовав жажду. Налив в стакан воды, она подошла к выходявшему во двор окну, чтобы распахнуть его пошире. В дальнем углу двора стояли двое мужчин, уставившись на ее окно. Она не могла ошибиться, они смотрели именно на ее окно, потому что стоило ей приблизиться к нему, как они тотчас отвернулись.

Зоя снова легла, но сна как не бывало. Почему за ней следят? Ясно, что не из-за Джексона. Ведь уже несколько месяцев, как он уехал. Тогда почему?

Может, следят вовсе не за ней? Но спустя три дня ее опасения полностью подтвердились. Съёмки на студии в тот день проходили на редкость трудно, она ужасно устала. Ноги отекали, спину ломило.

Когда объявили перерыв и выключили камеры, она в ожидании следующего вызова с наслаждением устроилась в уголке в студии звукозаписи. Бросила взгляд на свои часы. До окончания съёмок еще по меньшей мере два часа. Она зевнула.

Это не осталось без внимания одного из сотрудников студии, партийца.

— Устали, Зоя?

— Немножко, — ответила она.

Он улыбнулся.

— Если хотите сниматься в фильмах, вряд ли стоит засиживаться за полночь на вечеринках.

Его слова пронзили ее, как удар ножа.

— Откуда вы знаете?

Но он не ответил и вышел из студии.

В тот вечер она поставила будильник на пять утра. Когда он прозвенел, солнце только-только начало выглядывать из-за горизонта. Зоя встала с пос-

тели и выглянула из-за занавески во двор. Двое молодых людей снова были на месте, хотя ей показалось, что это не те, которых она видела в первый раз.

Зоя высунулась из окна.

— Привет! — крикнула она.

Молодые люди отвернулись, сделав вид, будто чем-то заняты.

— Я к вам обращаюсь. Ни свет ни заря, а вы уже тут как тут!

Они поспешили уйти.

Но она знала, что они вернуться.

Почему? Ну почему? Лежа в постели и пытаюсь заснуть, она снова и снова задавала себе этот вопрос и по-прежнему не находила на него ответа. Единственным объяснением был Джексон, но его выслали из страны, а потому слезка за ней явно бессмысленна. Если, как говорят, всеведущий НКВД знает все обо всех, им, конечно же, известно, что она беременна. Какой вред в своем нынешнем положении она может принести кому бы то ни было, даже если б захотела? И уж, конечно же, они знают, что она всего лишь актриса. Она далека от политики, равно как и ее друзья.

Нет, слезка за ней лишена всякого смысла, и все же за ней следят. Она улыбнулась в темноте. Вряд ли им могла прийти в голову мысль, что она попытается сбежать к Джексону. Беременная женщина? Она даже не знает, где он сейчас. Его письма, если он их и писал, до нее не доходят.

Берия!

На какое-то мгновение в памяти всплыло это имя. Нет! С того случая прошло столько лет. Если бы он жаждал мести, он бы уже наверняка давным-давно осуществил свое желание. Да, но должно же быть какое-то объяснение, вот только оно пока что не

пришло ей в голову. Может, речь идет о каком-нибудь преступлении, которое ошибочно приписывают ей? Было же время, когда ее отца посчитали шпионом только потому, что он справился об адресе врача у соседа-немца?

Ну что ж, тут уж ничего не поделаешь. Жаловаться или допытываться, почему за ней следят, бесполезно, это лишь привлечет внимание, что вряд ли разумно. Только время покажет, что к чему. А пока ей остается ждать и жить в вечной тревоге. Или же второй вариант: ждать и не оставлять попыток жить в мире прекрасного, чтобы все случившееся не отразилось пагубно на ребенке.

Она закрыла глаза и постаралась представить себе берег реки, покрытый ковром чудесных цветов.

Когда пошли воды, с ней, к счастью, была Мария. Мария тотчас предприняла необходимые меры.

Она уложила Зою в постель и накрыла теплым одеялом. Потом сняла с запястья часы и вложила их ей в руку.

— Отмечай время схваток. Важно знать, какие между ними интервалы.

Потом она подошла к телефону и набрала номер кремлевской больницы. Благодаря Зоинной популярности ей было обещано там место, когда начнутся роды.

— Нет, я не могу ее привезти, — услышала она голос сестры. — Воды уже отошли, и начались роды.

Боль молнией пронзила тело. Зоя ухватилась за прутья в изголовье кровати и изо всех сил стиснула руки, пытаясь подавить крик. Но вот боль немного отпустила, лицо покрылось липким потом.

Она слышала, как Мария, сообщив адрес и номер квартиры, положила трубку. Потом подошла к Зое и вытерла ей лицо влажным полотенцем.

— Что ты возьмешь с собой? Я приготовлю.

Зоя объяснила.

— И позвони Саше, когда меня отвезут в больницу.

Мария кивнула.

Ранним вечером карета скорой помощи отвезла Зою в больницу. Ее тут же отправили в родильное отделение, где лежали еще шесть женщин, у которых тоже начались схватки. Санитарки уложили ее на жесткий стол, нянечка раздела, укрыла простыней и ушла. А схватки меж тем прекратились.

Она ждала, чтобы они возобновились. Но их не было. Казалось, прошли долгие часы, к ней никто не подходил. Появившийся наконец врач был очень недоволен тем, что схватки прекратились. Он вызвал санитарок, и Зою отвезли в пустую палату. Там ей сделали какой-то укол в руку, который, по словам врача, должен был стимулировать схватки.

18 января 1946 года в 8.32 утра Зоя родила.

— Девочка, — сухо сообщила сестра.

Голубоглазая девочка, рост 51 сантиметр, весом чуть более 3,2 килограмма.

— Цвет глаз еще поменяется, — с прежним равнодушием бросила сестра.

Головку девочки покрывали прямые черные волосики, глазки смотрели из-под длинных-длинных ресничек.

— Виктория, — прошептала Зоя и тут же погрузилась в сон.

Когда ей позже принесли ребенка и она рассмотрела крошечное личико, по ее щекам потекли слезы. Темные волосы и что-то в разрезе глаз, даже закрытых, напомнило ей о Джеконе. Если бы только он мог оказаться здесь и увидеть то чудо, которое они сотворили вместе. Виктория!

Она склонилась головой к маленькому комочку, лежавшему у ее груди.



— О, Виктория, моя Вика, — прошептала она. — Прости меня за ту жизнь, которую я уготовила тебе. Тебя ждет трудная жизнь, но я буду любить тебя за обоих родителей. Обещаю тебе.

На следующий день с лица девочки стала исчезать красная родовая сыпушка. Да, она очень красива, подумала Зоя. Она приложила девочку к груди и почувствовала, как начали почмокивать ее губки. Наконец-то, подумалось ей, я могу отдать себя полностью тому, кто не покинет меня, как покинули Иван и Джексон.

Когда пришла сестра, чтобы унести Викторию, Зоя спросила:

— Вы повидали так много младенцев. Скажите, правда моя девочка очень красивая или мне это только кажется, как всякой матери?

Сестра взглянула на Зою холодными рыбьими глазами.

— Она красивая. И если учесть все обстоятельства, ей это еще очень пригодится.

И прежде чем Зоя успела что-нибудь ответить, взяла ребенка и вышла из комнаты.

Девять дней, проведенных в роддоме, показались ей вечностью. Радость приходила, лишь когда ей приносили Викторию. Все остальное время Зоя чувствовала в воздухе какую-то напряженность. Сестры были неизменно вежливы, но относились к ней с явной враждебностью. Когда она спросила одну из них о причине, та поглядела на нее с удивлением.

— Не понимаю, о чем вы. Видимо, у актрис чрезмерно развито воображение.

Но однажды в палату вошла другая сестра и, делая вид, что поправляет подушку, склонилась к Зое.

— Вы в курсе, что здесь за вами следят?

— Кто? — спросила Зоя.

— Точно не знаю, но думаю, из НКВД.

Зое показалось, что у нее на мгновение остановилось сердце.

— Где они?

— Рядом с вашей палатой, но сейчас там никого нет. А прошлой ночью один из них просидел здесь всю ночь.

Женщина поднялась, собираясь уйти.

— Спасибо, — промолвила Зоя.

Откинувшись на подушку, она уставилась в потолок.

— Прости меня, Вика, — прошептала она.

В тот день, когда она уходила с Викой из роддома, в вестибюле ее, как и обещал, ждал Саша. Зоя надеялась, что он догадается прийти в костюме и при галстукe, и сестры увидят, какой представительный у Виктории отец, но ей бы следовало предвидеть подобное. Поверх свитера и рубашки на нем было пальто, протертое на локтях. В руках он держал жалкий букетик дешевых цветов. Но все-таки он пришел и прекрасно сыграл роль отца, громко извинившись за то, что отсутствовал в городе, пока она была в роддоме.

Зоя представила Сашу сестре с того этажа, где лежала.

— Это мой муж. Он музыкант.

Губы сестры скривились в усмешке.

— Музыкант? А я решила, что он точильщик карандашей.

Саша коснулся рукой головы и сконфуженно вытащил из-за уха огрызок карандаша.

Когда сестра ушла, он спросил:

— Что, собственно, произошло, Зочка? Почему они так с нами разговаривают?

Зоя пожала плечами.

— Наверно, они тут власть посплетничали обо

мне и моем ребенке. А твой приход положил сплетням конец. Да Бог с ними. Мне ведь с ними никогда больше не увидеться.

— Пошли? Если ты возьмешь у меня цветы, я с радостью понесу ребенка.

— Прелестные цветы, спасибо тебе за них, — сказала Зоя и тихим голосом продолжала: — Нагнись ко мне, как будто целуешь, но так, чтобы за твоим лицом не было видно моего рта.

Саша коснулся губами ее щеки.

— В чем дело? — спросил он, не отнимая лица от ее щеки.

— Наверно, тебе лучше оставить меня. За мной следят.

— Почему?

— Скорее всего, из-за Джексона. Да и какая разница?

— Как это какая? Но так или иначе, а меня уже видели с тобой, и я тебя не оставляю.

Саша взял у нее девочку.

— Какую прелестную дочку ты мне подарила, дорогая жена!

Он оглядел вестибюль в надежде, что кто-нибудь слышит его.

— Пошли, — сказала Зоя. — Ты замечательный друг, Саша, но никудашный актер.

Ребенок был зарегистрирован в книге записей рождений за 1946 год. В свидетельстве указывались имя и фамилия девочки — Виктория Федорова, а также отчество — Яковлевна, по имени Джексона. В графе о матери стояло — Зоя Алексеевна Федорова, в графе об отце был прочерк. Зоя не смогла заставить себя солгать. Это было бы оскорбительно для Джексона. К тому времени, когда ее Викуля увидит метрику, она уже будет достаточно взрослой, чтобы

знать всю правду. И достаточно взрослой, чтобы ее понять. Так или иначе, когда придет время, Зоя будет знать, как поведать ей эту правду.

Едва оправившись от родов, Зоя приступила к съемкам нового фильма. Как и всегда, она играла в нем роль лирической героини, благородной женщины, с одинаковой преданностью любящей своего возлюбленного и свою родину. Потом Зоя уже и не вспомнит названия той картины. Как актриса, она всегда отличалась необычайной добросовестностью, но на этот раз соображения карьеры отодвинулись на второй план, уступив место крошечной девочке, которую она оставляла каждый день на попечение только что нанятой домработницы Шуры. Виктория полностью заполнила ту пустоту в ее жизни, которая образовалась с уходом из нее Джексона.

Поначалу Зое виделось большое сходство дочери с Джексоном. Такие же темные волосы, такие же, как у него, голубые глаза и, пожалуй, такой же упрямый подбородок, впрочем, насчет подбородка полной уверенности у нее не было. Со временем воспоминания о Джексоне претерпели некоторые изменения и он все больше и больше стал походить в них на Викторию.

С грустью она признавалась себе, что Джексон уходит из ее памяти. Да, конечно, она никогда не забудет, что было время, когда они любили друг друга, что же касается чувств, которые она тогда испытывала, то воспоминания о них постепенно тускнели. Она уже не помнила крепких объятий Джексона, не ощущала запаха одеколона, которым он пользовался после бритья, с трудом вспоминала его голос. Помнила лишь, что он был грубоватый и говорил Джексон с забавным американским акцентом — вот и все.

Наверно, и я уйду из его памяти, размышляла

она. Интересно, пытался ли он писать ей? За все это время она не получила от него ни строчки. Ну что ж, у нее, по крайней мере, есть его ребенок, а это уже немало. Она ни о чем не жалеет.

Джексон Роджерс Тэйт получил назначение на военно-морскую базу на Терминал-Айленде, неподалеку от Сан-Педро в Калифорнии. Ему было поручено расконсервировать базу.

Когда бы он ни возвращался мыслями к Зое, его всякий раз охватывало беспокойство: что же с ней все-таки произошло? Получила ли она хоть одно его письмо? Пыталась ли ответить? Как же глупы мы были, размышлял он, поверив, что у нас есть будущее, что нам когда-нибудь позволят его иметь!

Он уже потерял счет письмам, которые написал ей, или тем, которые послал известным в России людям, на помощь которых рассчитывал. Ни на одно из них он не получил ответа. А в ответах на запросы, которые он направлял собственному правительству, не было ничего, кроме пустых фраз, смысл которых неизменно сводился к одному и тому же совету: «забыть».

Время шло, боль утраты мало-помалу притуплялась. Но он по-прежнему был одержим идеей узнать, не случилось ли с ней в России чего-нибудь плохого. Ее уверенность, что никто не посмеет ее тронуть, вовсе не обязательно была обоснованной. А он хотел знать наверняка.

Ответ пришел однажды ясным солнечным днем с утренней почтой, которую для него аккуратно складывали в правом углу письменного стола. Дешевый конверт, отправленный из Швеции, на нем чернилами печатными буквами были написаны его имя и адрес. Кто, черт возьми, может писать ему из Швеции?

Он вскрыл конверт, развернул лист дешевой белой бумаги и взглянул на подпись. Подпись ни о чем ему не говорила. Только инициалы и фамилия. Они могли принадлежать и мужчине, и женщине, как и записка, также написанная чернилами печатными буквами:

Зачем вы надоедаете Зое своими письмами? Недавно она вышла замуж за композитора. У них двое детей, мальчик и девочка, и они очень счастливы. Ей надоели ваши бесконечные домогательства. Будьте любезны, прекратите их.

Джек несколько раз перечитал письмо. Сначала он не поверил ни одному его слову. Та Зоя, которую он знал, не могла так быстро забыть его. Зоя не из тех, кто легко влюбляется. Но даже если письмо не обман и она действительно встретила человека и вышла за него замуж через несколько дней после его отъезда из Москвы, то уж во всяком случае она не могла успеть родить за это время двоих детей.

Впрочем, она могла родить сразу двойню. Для этого времени у нее было вполне достаточно. Да и композитор мог быть вдовцом с двумя детьми. И вполне естественно, что она вышла замуж за человека из мира искусств. Кто бы он ни был, он наверняка подходит ей больше, чем Джексон.

Скорее всего, письмо отправлено кем-нибудь из Зоиных приятелей, журналистов, — их у нее до черта; она попросила написать и отправить его, как только он или она окажутся за пределами России.

Джек снова перечитал письмо, потом разорвал его и выбросил в корзину.

Больше он ей писать не будет. Никогда. Прощай, Зочка. Будь счастлива.

(Поскольку Зоя ничего не знала о письме, а Джек ничего не знал о Саше, никто из них не ведал о

содержавшейся в нем крупице правды. Саша, который изредка аккомпанировал Зое на концертах, действительно был композитором, хотя отнюдь не знаменитым и удачливым. Весьма вероятно, что тот, кто был автором письма, знал о договоренности Зои с Сашей и его согласии «изобразить», по выражению Зои, отца ребенка. Нет сомнений, НКВД знало, что Зоя не была замужем за Сашей и не была от него беременна. Случайно ли автор письма выбрал Зое в мужа композитора или в основе его выбора были точные данные об их договоренности — останется тайной. Но цель письма очевидна: положить конец попыткам Джека установить связь с Зоей.)

Съемки фильма шли успешно. Зоя всегда умела взглянуть на свою работу со стороны и трезво оценить себя, а потому знала, что играет хорошо. Правда и то, что новая роль не ставила перед ней никаких новых задач. Ее героиня ни в малейшей степени не отличалась от тех героинь, которых она уже сыграла в других фильмах. И все же она выкладывалась на полную катушку.

Однако времена для нее выдались не самые хорошие. Каждый день, собираясь на студию, она со щемящей болью отрывалась от своей крошки, Виктории, Викули, Вики, Викочки — вот сколько ласковых имен придумала она для нее. Но труднее всего было выносить непрекращавшуюся слежку — иногда это была женщина, иногда один мужчина, но чаще — двое. Они всегда поджидали ее на улице и следовали за ней даже тогда, когда она везла Вику на прогулку в парк. Она постоянно натыкалась взглядом на незнакомых ей людей, толкшихся по углам съемочной площадки. Или ей только казалось, что они следят за ней? Однажды нервы у нее не выдержали и она подошла к одному из них.

— Что вам тут нужно? Что вы уставились на меня?

Человек смешался.

— Простите, Зоя Алексеевна, но вы ведь знаменитая актриса. Я не думал, что вы заметите меня. Мне просто хотелось посмотреть, как вы играете, а потом рассказать об этом своим домашним.

Неплохо выкрутился, подумала Зоя. Она ни на секунду не усомнилась в своей правоте.

— Раз так, скажите им, что Зоя Федорова их не боится. За мной нет никакой вины.

Человек, казалось, сконфузился еще больше.

— Тысяча извинений, Зоя Алексеевна, но я понятия не имею, кого вы имеете в виду.

— Правда? Разрешите не поверить. Разве вы не знаете, что вход посторонним на съемочную площадку воспрещен? Но для сотрудников НКВД, конечно же, можно сделать исключение.

— Вы с кем-то меня путаете. Мы строим здесь декорации. Разве вы не видели дома, который возводится на соседней площадке?

Зоя почувствовала себя полной дурой, страдающей манией преследования. Ей уже повсюду мерещатся соглядатаи. Может, именно этого они и добиваются? Но зачем? Что они высматривают? И если они намереваются что-то предпринять, то когда?

Съемки шли уже несколько недель, как вдруг ей объявили, что ее роль передается другой актрисе.

— Что все это значит? — обратилась она к одному из руководителей студии. — Вы недовольны моей работой?

Он сделал вид, что всецело занят собственной зажигалкой.

— Я не уполномочен обсуждать этот вопрос.

— Но я хочу его обсудить. Вам не нравится, как я играю?



— Нравится.

— Тогда почему вы так со мной поступаете? Я знаю женщину, которой вы отдаете мою роль. Она посредственная актриса.

— Вполне вероятно. Но есть мнение, что она больше подходит для этой роли, чем вы.

Не верю этому.

— Не в моих силах заставить вас верить или не верить. Решение принято. Мы свяжемся с вами, как только у нас будет для вас работа.

И вышел из кабинета. Зоя осталась сидеть, стараясь успокоиться. Такого с ней еще никогда не случилось. Она была убеждена, что дело не в ее работе. Тогда в чем? Имеет ли это какое-нибудь отношение к той слежке, которая ведется за ней, или ее снова одолела мания преследования?

Она отправилась в костюмерную и стала собирать свои вещи. В комнату заглянула женщина, которую Зоя всегда считала своей доброй приятельницей, однако, увидев Зою, она пробормотала: «Ох, извините» — и, покраснев как рак, кинулась прочь.

То же самое повторилось в секретарской и вестибюле. Машинистка, у которой для Зои всегда была наготове любезная улыбка, оказалась вдруг так занята, что не подняла головы от машинки. А подметавший коридор старик уборщик при ее появлении тотчас зашпешил со своей метлой в самый дальний угол. Они всё знают, подумала Зоя. Я подхватила какую-то страшную болезнь, и все в страхе меня сторонятся.

Из студии она вышла с высоко поднятой головой. К горлу подкатила тошнота. Господи, не дай мне проявить слабость, пока я у них на виду.

Добредя до парка, Зоя опустилась на скамейку. Она чувствовала слабость во всем теле, ее била дрожь. Вот оно, начинается. Уже совсем близко. Что бы ни

вынюхивали о ней тайные агенты, слежка, очевидно, вступает в свою финальную стадию.

Зоя работала и в Театре киноактера. Этот театр был своеобразным филиалом ее киностудии, киноактеры имели возможность выступать между съемками на его сцене в театральных спектаклях. Фойе театра было увешано огромными портретами всех кинозвезд, выступавших на его сцене. Зоин портрет уже давно висел на самом видном месте. И вот теперь его неожиданно убрали.

Узнав об этом, Зоя не поверила и отправилась туда сама. Портрета не было. Ее охватил ужас. Она смотрела на то место, где еще совсем недавно висел портрет и с которого сейчас на нее глядело чужое лицо, и ее охватило ощущение, что исчез не портрет, а она сама. Она вступает в пору своего небытия. Сначала исчез ее портрет, потом — когда они подготовятся — исчезнет она сама. И никто никогда не узнает, что ее нет.

Она вышла из театра и огляделась по сторонам. Никого не было видно, но они все равно откуда-нибудь следят за ней — из подъезда, из-за угла, откуда угодно. И с этим уже ничего не поделаешь. Бежать некуда, спрятаться негде. Впервые ей пришла в голову мысль, в реальность которой она никогда прежде не верила: в ближайшее время ее арестуют.

27 декабря 1946 года. В доме у английского журналиста Александра Верта и его жены Марии только что закончился удивительно славный рождественский вечер. Было приятно провести время в обществе интересных людей, работавших во многих странах за пределами Советского Союза и так много знавших о них.

Зоя решила пройтись до дома пешком. Идти было всего-то несколько кварталов, а улицы Москвы даже

в час ночи абсолютно безопасны. Она плотнее запахнула свою меховую шубку — все еще теплую, хотя и здорово поизносившуюся, — и пошла домой.

Морозный воздух приятно охлаждал лицо, словно выбивая из головы густой сигаретный дым. Она огляделась в поисках, как она их стала называть, «стражей», но ни одного не заметила. Зоя тихонько засмеялась. Не иначе как до смерти продрогли в ожидании конца вечера.

Квартира встретила ее полной тишиной. Шура уже спала. Сняв шубку и шапочку, Зоя прошла к дочке. Виктория тоже спала, лежа на животике. Зоя подоткнула вокруг нее одеяльце и, склонившись над малышкой, поцеловала ее в головку. Потом глубоко вздохнула. Запах детского талька и тельца ребенка — есть ли в мире аромат чудесней?

Зоя смотрела на спящую дочку. Подумать только, ей почти годик. Какой же замечательный день рождения ждет тебя, моя дорогая Вика. Я осыплю тебя подарками, сколько бы они ни стоили!

Нагнувшись над кроватью, она снова поцеловала девочку и на цыпочках вышла из комнаты. Бедный Джексон — теперь она уже могла думать о нем без боли, — как многого ты лишился!

Она пошла на кухню выпить немного соку. От шампанского ей всегда было не по себе, даже от маленького глотка, который она выпила на вечере у Александра. Оно всегда вызывало тупую головную боль и ощущение сухости во рту. Она протянула руку к дверце буфета, где стояли стаканы, и тут раздался резкий нетерпеливый стук в дверь квартиры.

Зоя оцепенела. Ужас был столь велик, что она не могла шелохнуться. Она знала, кто стучит. Вся Москва знала, что означает этот стук в ночи, когда все спят и никто ничего не видит.

Она не двинулась с места, пока стук не повто-

рился, теперь уже более громкий и настойчивый. Надо ответить, иначе они выломают дверь.

Подойдя к двери, она открыла ее. В квартиру ввалились шесть мужчин и одна женщина. Зоя узнала только одного из них — их дворника. Он не глядел на нее. Не осмеливается, подумала она. Должно быть, стыдно выступить понятием против тех, кто всегда к тебе хорошо относился.

Зое казалось, что все происходящее — сон, в котором участвуют две Зои: с одной Зоей все это происходит, а другая стоит в сторонке и внимательно за всем наблюдает, подмечая всякие мелочи: на женщине меховая шуба, у мужчин темно-зеленая форма. У одного на плечах красные погоны. Все эти мелочи абсолютно несущественны, сказала одна Зоя другой. Прекрати. Соберись с мыслями. Решается твоя судьба.

Мужчина с красными погонами выгнул какую-то бумагу и сунул Зое в лицо. Она разобрала только два слова: «преступление» и «арест».

Зоя затрясла головой.

— Это ошибка. Я ни в чем не виновата. Я не совершила никакого преступления.

Лицо мужчины оставалось бесстрастным.

— Если вы невиновны, вам не о чем беспокоиться. Вы поедете с нами, и мы ознакомимся с вашим делом. Невиновны — все быстро выяснится и вас доставят обратно. Вам не следует ничего с собой брать.

С обеих сторон от Зои встали двое и взяли ее за руки.

— Мне же надо надеть пальто, — сказала Зоя.

Человек в погонах кивнул тем двоим, что держали ее за руки. Они отпустили ее. Зоя подошла к шкафу, из которого женщина вытаскивала вещи, бросая их на пол. Чтобы найти свое пальто, Зое при-

шлось рыться в лежащем на полу ворохе вещей. Она оделась. Женщина даже не повернулась в ее сторону.

И тут Зоя увидела Шуру — она стояла, прижавшись к стене, в ночной сорочке, скрестив руки на груди, с застывшими от ужаса глазами. В квартире уже царил полный хаос. Один из мужчин вытаскивал ящички из бюро, выкидывая их содержимое прямо на пол. Другой освобождал ящик обеденного стола, выкладывая все, что вытаскивал, на стол и пристально изучая каждый предмет.

— Зачем вы это делаете? — спросила Зоя.

— Раз вы невиновны, это не имеет никакого значения, — ответил человек с погонами. — Пора идти.

Двое мужчин вновь взяли ее за руки. Зоя вырвалась.

— Мой ребенок! Ей только одиннадцать месяцев! Ее нельзя оставлять одну!

— У вас есть домработница. Она сообщит обо всем вашей сестре. Если ваша сестра захочет взять ребенка, ради Бога. Если же нет, он будет воспитываться в детском доме. Пошли!

— Я хочу последний раз взглянуть на ребенка!

— Нельзя! — Он отрицательно покачал головой.

— Я должна взглянуть на свою дочь, иначе я никуда не пойду.

— У вас нет никакого права говорить о том, чего вы хотите и чего не хотите, — раздраженно произнес он.

Откинув голову назад, Зоя пронзительно закричала. Один из держащих ее мужчин зажал ей рот рукой в перчатке. Человек с погонами был явно обескуражен.

— Хорошо, можете посмотреть на нее, но не дотрагивайтесь до ребенка.

Они провели ее в комнату, где спала Вика, а сами остановились в дверях, не сводя с нее глаз. Зоя кинулась к кровати и упала на колени. Слава Богу, девочка лежала на спинке и Зоя видела ее личико. Одну ручонку малыша сжала в кулачок, подложив его под щечку.

Зое безумно хотелось потрогать этот сжатый кулачок, коснуться щечки, поцеловать девочку. Слезы застилали глаза, она вытерла их. Нужно как следует взглядеться в детское личико, запомнить каждую его черточку, чтобы оно навсегда сохранилось в памяти. Быть может, она видит свою дочку в последний раз.

Она уже не просто плакала, а, зайдясь в рыданиях, захлебывалась слезами. Услышав непривычные звуки, девочка отвернула от Зои головку. Не отворачивайся от меня, мысленно взмолилась Зоя.

— Пошли, пора! — приказал стоявший в дверях человек.

Зоя придвинулась к ребенку.

— Прощай, моя Вика. Мне уже никогда не увидеть тебя вновь!

Им пришлось поднять ее на ноги и силой вывести из комнаты.

Машина с включенным мотором ждала на улице. Зою вели трое; еще трое и женщина остались в квартире. Ее втолкнули на заднее сиденье, двое уселись по бокам, третий сидел на откидном сиденье, лицом к ней. Он постучал в стеклянную перегородку, и машина тронулась.

— Куда вы меня везете? — спросила Зоя.

— На Лубянку, — ответил главный.

— Но почему? В чем моя вина? Почему вы меня туда везете?

— Лубянка — это не обязательно тюрьма. Если вы ни в чем не виновны, ответите на некоторые во-

просы и вернетесь домой. Вот все, что я вправе сказать.

Не обязательно тюрьма... Может, и так, подумала Зоя. Но она никогда не слышала, чтобы людей, попавших на Лубянку, отпускали домой.

Машина бесшумно, словно черная тень, неслась по пустынным улицам Москвы. «Какое-то безумие, — думала Зоя. — На мне вечернее платье, нарядные туфли, а я еду в тюрьму».

Шофер свернул на площадь Дзержинского, и перед ней выросла Лубянка — огромный серый каменный призрак, посреди которого просматривались еще более мрачные железные ворота. Даже в самый яркий солнечный день от Лубянки веяло зловещей безнадежностью, рассеять которую было не под силу даже пышной листве деревьев. Сейчас же ей казалось, что голые, гнущиеся на холодном ветру ветви пытаются дотянуться до нее. Стража открыла железные ворота, пропуская машину. «Проглотили меня», — мелькнуло в голове.

Никто не сказал ей ни слова. Зою провели в комнату, где ее уже поджидала толстая женщина в форме. Увидев Зою, она встала и подошла к ней. Голос у нее был сухой, безразличный. Она выполняла привычную работу.

— Я заберу вашу одежду — она будет храниться здесь до вашего освобождения, — а вы идите в душ.

Зоя покачала головой:

— Я не хочу в душ. Я хочу кого-нибудь увидеть. Произошла ужасная ошибка.

Женщина бросила на нее равнодушный взгляд.

— Снимите вашу одежду и отдайте ее мне. Вам же самой будет лучше, если будете делать, что вам говорят.

Зоя разделась. Ей дали грубое, тоненькое полотно, едва прикрывавшее ее наготу. Надзира-

тельница открыла ключом дверь и толкнула Зою вперед.

Зое ничего не оставалось, как быстрым шагом пройти по каким-то бесконечным коридорам, сворачивавшим то вправо, то влево и казавшимся абсолютно одинаковыми. К тому времени, как они дошли наконец до душевой, она была окончательно сбита с толку. Душевая походила на тесный ящик. Кранов для регулировки воды не было, в крошечное оконце за ней следила надзирательница. Как только Зоя вошла в душевую, включили воду. Она была очень горячей, Зоя к такой не привыкла. Задышавшись, она прислонилась к стене. Немного погодя, осмотревшись, она поискала глазами мыло. Его не было.

Да и какое это имело значение. Через несколько минут воду выключили. Дверь открылась, надзирательница бросила Зое полотенце. Оно было такое ветхое, что вытереться им было невозможно. Зоя попыталась высушить им волосы — прическа, которую она сделала накануне специально для вечера у Александра, была безнадежно испорчена. Она завернулась в полотенце, и они отправились обратно, в ту комнату, откуда пришли.

Зоя поискала глазами свою одежду, но она исчезла. Надзирательница протянула ей юбку военного образца, кофту и нижнее белье, темное, какого-то тускло-зеленого цвета и абсолютно изношенное после многолетнего использования. Зоя почувствовала, как по коже, от одного прикосновения этого белья, побежали мурашки. Оно отдавало крепким запахом хозяйственного мыла, в котором его кипятили в прачечной, и, конечно же, было неглаженным.

На глаза навернулись слезы, но усилием воли она сдержала их. Это тюремная одежда. Она уже не ощущала себя Зоей Федоровой — некое безымянное существо, которого лишили всех примет.



Женщина знаком указала ей на дверь, открыла ее ключом и распахнула. За дверью оказался надзиратель-мужчина. Женщина жестом приказала Зое следовать за ним.

Он привел ее к лифту, они поднялись на третий этаж и там снова пошли по коридору. В конце коридора надзиратель постучал в какую-то дверь и открыл ее. Дверь за ней закрылась.

Кабинет был большой, с огромным, заваленным бумагами письменным столом. Позади стола на стене висел портрет Сталина. За столом сидел человек в штатском. У одной из стен сидели еще двое в форме НКВД. Скорее всего, человек в штатском тоже был из НКВД: Лубянка являлась тюрьмой НКВД, и, судя по всему, именно он и был здесь начальником.

Его фамилия, как она потом узнает, была Абакумов. Плотного телосложения, с темно-каштановыми волосами и изрытым оспинами лицом, жестким и равнодушным. Он оглядел ее с ног до головы, словно изучая редкостную диковину.

Поначалу все хранили молчание. Все трое неотрывно глядели на нее, пока ей не захотелось закричать. Она не привыкла, чтобы ее вот так разглядывали, словно зачумленную. Наконец один из сидящих у стены захохотал.

— Вы только посмотрите на нее в этой мятой одежде и со спутанными волосами. Неужто вы и впрямь находите ее красивой?

— Я слышал, что ее считали хорошенькой, не понимаю. Такую уродину?

Зое захотелось поправить волосы и застегнуть расстегнувшуюся пуговицу, но она не решилась пошевеливаться. Они во что бы то ни стало хотят унижить ее. Это их игра, но она в нее играть не будет.

— Кто-то говорил, будто она снималась в кино. Неужели это возможно?

— Нет, конечно. Разве что давным-давно.

Первый снова засмеялся:

— Думаю, после того, как откроются ее преступления, пройдет очень много лет, прежде чем она снова увидит киностудию.

Разговор в этом роде продолжался, как ей показалось, целую вечность. Все это время Абакумов хранил молчание, продолжая пристально вглядываться в нее.

Зоя устала. Наверняка на улице уже светает, хотя окно на третьем этаже по-прежнему оставалось темным. Если бы только они разрешили ей сесть. Прямо перед ней стоял пустой стул, но она не решалась опуститься на него.

Наконец Абакумов нарушил молчание. Голос у него оказался грубым и резким. Голос крестьянина, подумала Зоя, голос страшного человека.

— Ну что ж, мне кажется, пришел ваш черед поговорить с нами. Если вы будете совершенно искренни и расскажете нам всю правду, раскроете все свои преступления, тогда, может быть, у вас останется надежда.

Зоя переводила взгляд с одного на другого.

— Я не понимаю, о чем вы говорите. Произошла какая-то чудовищная ошибка. Какие преступления? Я не знаю за собой никакой вины.

Абакумов сокрушенно покачал головой.

— Я стараюсь помочь вам. Скажите правду. Признайтесь. Могу вас заверить, если вы попытаетесь скрыть что-то от нас, вам же будет хуже.

Зоя с мольбой протянула к нему руки.

— Клянусь, я ни в чем не виновата. Как могу я признаться в том, чего даже не знаю?

Абакумов кивнул.

— Ну что ж, если вы этого хотите, то, могу вас уверить, мы можем и подождать. Если понадобится,

мы будем ждать всю вашу жизнь. Но вам все равно придется сознаться в своих преступлениях следовательно. Это вам не кинофильм с обязательным счастливым концом. Если вы хотите, чтобы конец был счастливым, вам лучше сознаться в своих преступлениях.

Это какое-то безумие, мелькнуло у нее в голове, совершеннейшее безумие, чудовищная игра, ставка в которой — ее жизнь.

— Если вы хотите, чтобы я призналась, скажите, в чем меня обвиняют. Если то, что вы скажете, окажется правдой, я признаю ее. Но сначала вы должны объяснить мне, в чем заключается моя вина.

Абакумов встал из-за стола, собираясь уйти.

— Ваш визит подошел к концу. До свидания. Советую вам более основательно обдумать свою жизнь. Надеюсь, вы припомните все свои преступления.

Он позвонил в колокольчик, и на пороге появилась надзирательница.

— Уведите заключенную в камеру.

Миновав несколько коридоров, они остановились перед дверью, которая, как оказалось, вела в Зоину камеру. В двери было крошечное зарешеченное оконце. Надзирательница обыскала Зою и, открыв дверь, пропустила ее внутрь.

Камера была крошечная. Окон не было, если не считать маленького оконца в двери, в котором она видела глаза надзирательницы, неусыпно следящей за ней. С потолка свешивалась голая электрическая лампочка. Зоя поискала выключатель, чтобы выключить свет, но его не оказалось.

Осматривать в камере было нечего: деревянный паркетный пол — кто мог представить паркетный пол в тюремной камере! — стул, маленький столик,

кровать с тонким, скатанным матрасом, потертое одеяло и подушка. Зоя огляделась в надежде увидеть туалет или раковину, но ни того ни другого не было. В этот момент дверь отворилась и вошла надзирательница.

— Можете отдохнуть. Сейчас почти пять часов утра. Подъем у нас в пять тридцать.

— А где уборная? — спросила Зоя.

— Дважды в день заключенных водят в умывальную. Придется вам как-то приспособиться.

И ушла.

Зоя развернула матрас и легла. Верхний свет бил прямо в глаза. Она натянула на лицо тонкое вонючее одеяло. Как ни была она измучена, сон не шел. Надо заснуть, уговаривала она себя. Скоро опять начнется допрос, они сведут тебя с ума, если ты не используешь каждое мгновение для сна.

Она вспомнила о Виктории и заплакала. Шура, конечно же, сразу пойдет к Александре или Марии, и кто-то из них обязательно возьмет девочку к себе. Господи, взмолилась она, даже если мне не дано снова увидеть мою дочку, дай мне знать, что она у моих сестер, которые будут заботиться о ней и расскажут ей, как горячо мать любит ее.

Она бы не поняла, что заснула, если б не услышала, как у нее под ухом кто-то рывкнул: «Встать!» — и тут же почувствовала острый толчок в бок. Это надзирательница ткнула ее ключом. Зоя в ужасе вскочила, незнакомый голос до смерти перепугал ее. И моментально поняла, где находится.

Положив на стол маленький ломтик черного хлеба, ложку, в которой лежал кусочек сахара, и поставив кружку водянистого чая, надзирательница вышла из камеры.

Зоя через силу дотащилась до столика. Все тело болело, воспаленные глаза слезились. Если бы толь-

ко поспать... Она поглядела на дверь и снова увидела глаза, неотрывно следившие за ней через то же оконце. Нет, поспать ей не дадут.

Подвинув стул к столу, она села. Жидкость в кружке была какого-то непонятного цвета, так что невозможно было определить, чай это или вода. Какой-то вкус она почувствовала, лишь взяв в рот маленький кусочек сахара. Хлеб оказался черствым, но она размочила его в тепловатой воде и заставила себя проглотить. Кто знает, когда ей дадут есть в следующий раз?

Ее поразила царящая вокруг тишина, но она тут же вспомнила, что все коридоры, по которым она шла, были застланы ковровыми дорожками. Ни одного живого звука не доносилось до нее. Только глаза в оконце означали, что она не одна.

Зоя съела завтрак и теперь ей оставалось лишь сидеть и ждать, что же будет дальше. Снова пришла мысль о Виктории, но она заставила себя вытеснить из сознания ее личико. Они не увидят ее плачущей! Никогда! Она будет думать только об их ужасной ошибке, о том, сколько им понадобится времени, чтобы понять: она всего лишь актриса, и ничего более. Какое же серьезное преступление нужно совершить, чтобы попасть сюда? Они должны осознать свою ошибку. И это произойдет сегодня же, а вечером она уже снова будет дома, с Викторией.

Дверь открылась, и вошла надзирательница с револьвером в руке.

— Сейчас вы пойдете в умывальную. Усвойте с первого раза одно правило, иначе вам придется плохо. Если вам случится встретиться с кем-нибудь в коридоре — будь то заключенный, надзиратель или кто другой, — вам следует тут же повернуться лицом к стене и смотреть только в стену, пока он не пройдет мимо. Понятно?

Зоя кивнула. Они снова пошли вдоль того же коридора.

Со временем Зоя поняла, что все коридоры на Лубянке одинаковы. Ковровые дорожки, приглушающие все звуки, блеклые стены, определить цвет которых при тусклом освещении было невозможно. Очень скоро она потеряла способность ориентироваться, так никогда и не узнав, на каком этаже находится ее камера. Надзирательница сообщила ей только, что допрашивали ее на седьмом.

— На этом этаже допрашивают самых опасных политических заключенных.

Остаться одной в уборной тоже не полагалось, даже там нельзя было избавиться от неусыпного глаза надзирательницы, и какое-то время она страдала от запоров. Ее человеческое достоинство было окончательно растоптано. Ей так необходимо было услышать ласковые, участливые слова, но вместо этого ее день за днем водили на допросы; когда же наконец она оставалась одна, на нее наваливалась тишина. Сколько прошло времени? — пыталась она понять. Дни, месяцы, сколько? Воспоминания о себе как о кинозвезде становились все более нереальными. Наверное, вся та жизнь ей только пригрезилась. Чем дальше, тем становилось яснее: ее настоящей жизнью становилась Лубянка, а воспоминания о солнечном свете, о смехе казались лишь плодом фантазии.

Зоя понимала, что именно этого они и хотят добиться помрачения ее сознания. Именно эту цель они поставили перед собой, а она слишком устала, чтобы сопротивляться. Единственно, на что у нее хватало сил, это упорство, с каким она отказывалась признать свою вину. Как можно признаться в том, чего не знаешь?

Допрашивал ее полковник Лихачев. Вообще-то Зоя с трудом различала своих следователей. Основ-

ных, по очереди допрашивавших ее в течение дня, было четверо: Лихачев, Самарин, Соколов, Гневашев — их фамилий и лиц Зоя не забудет никогда. Разные люди, они были абсолютно одинаковы. Все они добивались от нее одного и того же. Но в тот день, в тот благословенный день Лихачев допустил промашку, чудесную промашку.

— Одного не могу понять, — сказал он, — как могли вы, такая актриса, унижить себя столь страшным преступлением?

Он обратился к ней как к актрисе. Ей почудилось, будто где-то растворилось окно и на нее дохнул прохладный свежий ветер, унеся из сознания ту чертовщину, которую они вколачивали в нее день за днем. Значит, кинозвезда Зоя Федорова вовсе не плод фантазии, а реальность, она действительно была ею до того, как начался этот кошмар. Все, в чем она уже начала было сомневаться, тоже было реальностью. Нереален лишь этот кошмар Лубянки. Да благословит вас за это Господь, полковник Лихачев. Она снова обрела жизнь.

— Чему вы улыбаетесь? Я не сказал ничего смешного.

А правда, что он сказал? Преступление?..

— Я никогда не совершала никакого преступления, у меня и в мыслях не было ничего подобного.

Он рассмеялся.

— Вы же не дура. Вы знаете, в чем ваше преступление. Не понимаю, чего вы пытаетесь добиться своей ложью. Все ведь происходило на глазах всей Москвы.

Ну наконец-то! Вот она и разгадка.

— Вы называете преступлением любовь? Если так, то я действительно совершила преступление. Я встретила американца и полюбила его. Я была с ним близка и не раскаиваюсь в этом. Если вы знаете еще

о каких-то других преступлениях, вам следует сказать мне об этом.

Полковник горестно покачал головой:

— Ну уж нет, это вы сами расскажете нам о них. Что же касается любви, вы вправе заниматься ею когда вам только заблагорассудится. Это не преступление. Но влюбиться по-дурацки — это уже преступление. И родить потенциального врага нашей страны, вместо того чтобы сделать аборт, — тоже преступление. И не притворяйтесь, будто не знали, что ваш прекрасный американец шпион. Да, да. Нам это точно известно.

— Я не верю в это, — сказала Зоя.

— Вполне допускаю, что вы не знали об этом, хотя это мало вероятно. Вы стали его жертвой, но вы и помогали ему получать информацию.

— Это невозможно!

— В пуговицы на рукавах кителя у него были вмонтированы микрофон и фотоаппарат, и он сделал много ваших снимков в обнаженном виде. Это вам известно?

— Чушь! — взорвалась Зоя. — Если я была обнаженная, то зачем ему быть в кителе? И уж если говорить начистоту, так я вам скажу следующее: я по натуре своей застенчивая и скромная женщина. Это всегда мне очень мешало. Я никогда не расхаживала в обнаженном виде.

Полковник сунул руку в карман пиджака и, вытащив пять или шесть фотоснимков, бросил их на стол перед Зоей.

— В таком случае может, вы объясните мне, откуда взялись эти снимки?

Зоя протянула руку, чтобы взять их, но Лихачев с такой силой хлопнул кулаком по ее руке, что она закричала от боли. Быстро собрав фотографии, он убрал их со стола.



— Ну уж нет. Они не для вас. Они — вещественное доказательство.

Боль в руке постепенно утихала. Зоя пошевелила пальцами, проверяя, не сломаны ли они. Нет, все в порядке. Фотографии наверняка фальшивки. Иначе он дал бы на них взглянуть. Как бы то ни было, она никогда в жизни никому не показывалась голлой. Да и Джексон никогда бы не стал делать такие снимки.

— Теперь вы убедились, как сильно любил вас ваш американец? Отныне вы опозорены, над вами смеется вся Америка. Вы помогли шпиону. Вас использовал шпион, и для чего? Чтобы опозорить вас.

Какая нелепица, подумала Зоя, но вслух ничего не сказала. Она думала о том, сколь чудовищно предъявленное ей обвинение. Ее обвиняют в том, что она шпионка, враг своего государства. Это намного страшнее, чем она предполагала.

— А посему, — продолжал полковник, — я еще раз советую вам рассказать всю правду. Мы знаем о всех ваших преступлениях, но для вас будет гораздо лучше, если вы добровольно в них признаетесь.

В какую же страшную игру они играют, подумала Зоя, и не в ее силах положить этому конец. Но и помощи от нее они не дождутся.

— Я могу снова повторить, что никаких преступлений не совершала.

Он позвонил в колокольчик.

— Уведите, — приказал он надзирателю. — Пусть еще немного подумает.

Дни шли по раз и навсегда заведенному распорядку, неотличимые один от другого. Допросы, как правило, начинались около восьми утра, хотя Зоя могла лишь гадать о времени, поскольку вместе с другими вещами у нее отобрали и часы. Но если ее

каждое утро будили в 5.30, то выходило, что на допрос вели около восьми. Он длился по меньшей мере шесть часов, только после этого ее отводили обратно в камеру. Это было время отдыха, но ложиться в постель было строго-настрого запрещено. Она засыпала сидя, выпрямившись на табуретке.

Второй раунд начинался где-то около девяти вечера и продолжался до четырех-пяти утра. На сон до пробудки в 5.30 оставалось всего ничего.

Ей необходим был сон — резь в глазах не проходила, постоянно болело все тело, не отпускали головные боли.

Она похудела, что в общем-то было неудивительно. Чуть теплый чай и кусок черствого хлеба на завтрак, водянистый суп с какими-то овощными ошметками на обед и безвкусная каша с тем же тепловатым чаем на ужин. Она съедала все, хотя порой к горлу подкатывала тошнота от вида и запаха тронутых гнилью овощей. Она хотела выжить.

Однажды, забывшись на несколько кратких часов до утренней пробудки, она увидела сон. Ей приснилось, что она находится в какой-то большой, странной комнате в здании суда. Вокруг нее много людей с отталкивающими, страшными лицами, которые забрасывают ее вопросами. Она не успевает на них отвечать. Если она отвечает недостаточно быстро, они хлещут ее ветками деревьев. «А зачем ты хочешь выжить?» — кричит ей один из них и со всего маху ударяет ее.

Когда она проснулась, в голове еще звучал последний вопрос. Почему она хочет выжить? Только ли ради того, чтобы не доставить им удовольствия своей смертью? Нет. Тогда почему? Ради Виктории. Ради ее Вики.

Да, ей необходимо выжить во имя ее ребенка. Это единственная причина. Зоя помнила дочь такой,

какой видела в тот последний раз. У Вики уже был первый день рождения, а ее не было рядом. А больше уже никогда в жизни не повторится тот первый день рождения.

Зоя заплакала. Она повернулась спиной к маленькому оконцу, чтобы надзирательница не заметила ее слез. Сколько же еще дней рождения она проведет без нее, ее малышка? Увидит ли она ее когда-нибудь?

Усилием воли Зоя заставила себя не думать о Виктории. С минуты на минуту в камеру войдет надзирательница с чаем и хлебом. Начнется еще один день, точь-в-точь такой же, как все другие. Нужно беречь силы. Какая польза от жалости к самой себе?

Однако этот день начался не так, как обычно. Вошла надзирательница и приказала ей идти в душ. Зоя удивилась. Ей разрешали принимать душ раз в неделю, а судя по царапинкам, которые она незадолго до этого начала оставлять на стене камеры, с прошлого раза недели еще не прошло. Может, есть какая-то причина для внеочередной помывки? А может, она уже так плохо соображает, что даже такой пустяк, как нацарапать раз в день крошечную черточку на стене, ей не под силу?

Зоя стеснялась раздеваться на глазах у своей странной надзирательницы, но выбора не было. Она старалась повернуться к ней спиной, спрятать свое тело под узеньким полотенцем. Стоило только вспомнить о том, что за ее спиной стоит, не спуская с нее глаз, надзирательница, как лицо заливала краска.

Но куда мучительнее было идти в душевую, прихватив на груди полотенце, по бесконечным коридорам под издевательские выкрики и смех надзирательниц.

В этот раз, когда пустили воду, Зоя закричала благим матом. Сверху из крана лился крутой кипя-

ток. Она прижалась к стене, но это не спасало от обжигающих водяных струй. Ей показалось, что к ее телу подключили миллион электрических проводков. Душевая наполнилась густым горячим паром, каждая капля кипятка, падая на голое тело, причиняла мучительную боль. Она потеряла сознание.

Очнулась она на постели в своей камере. Одежды на ней не было, но кто-то накинул на нее одеяло. Зоя коснулась рукой лица, потом груди. Они были покрыты воддырями. На руке остались какие-то липкие следы. Кто-то, быть может врач, смазал обожженные места мазью.

Зою начала бить дрожь, из груди вырывались сдвоенные рыдания.

— Я больше не могу, не могу...

В тот вечер ее снова привели в кабинет полковника Лихачева.

— Я слышал, в душевой с вами произошел несчастный случай, — сказал он.

— Я не верю, что это был случай, — ответила Зоя.

Полковник рассмеялся.

— Моя дорогая, мы ведь здесь не чудовища, которые пытаются беззащитных женщин.

Зоя промолчала.

Достав откуда-то из-за спины толстую, набитую бумагами папку, он положил ее перед собой. Поверх лежал маленький американский флажок.

— Знаете, что в этой папке?

— Бумаги, американский флаг, что еще?

Наклонившись вперед, он резко отчеканил:

— Это досье, содержащее доказательства ваших многочисленных преступлений. Вы намерены и дальше упорствовать в своем неведении?

— Не представляю, о каких преступлениях идет речь.

Он вытащил из папки флажок.

— А это? Узнаете? Его нашли в вашей квартире.

Зоя задумалась. Его действительно нашли у нее в квартире или это сфабрикованная улика? И тут она вспомнила: это один из тех флажков, что были установлены на передних крыльях машины Джексона. Он подарил его ей как сувенир, как знак их любви. Она сказала об этом Лихачеву.

Он улыбнулся.

— И ради вашей любви вы хранили этот флажок? А может, все-таки он — доказательство вашей преданности иностранной державе?

Зоя почувствовала злость.

— Это настолько глупо, что не хочется отвечать. Я положила его в ящик стола и напроць о нем забыла. Как я могу испытывать преданность стране, которую никогда в жизни не видела?

Полковник открыл досье и, достав какую-то фотографию, положил перед ней.

— А это? Как по-вашему, это русская форма?

На фотографии она была снята в американском военном кителе и военной фуражке. Она даже представления не имела, к какому роду войск относилась эта форма.

— Вы, наверное, шутите, — сказала она. — Если вам все обо мне известно, значит, вам известно и то, что эта фотография сделана на одном из званных обедов.

— В самом деле? Форма так хорошо смотрится вместе с флажком. А эта?

Он положил перед ней еще один фотоснимок. На нем она была снята танцующей на одном из посольских приемов с Авереллом Гарриманом.

— Да, я была приглашена на какой-то прием в американское посольство, и посол пригласил меня на танец, не более того. Это произошло по крайней

мере за год до моей встречи с Джексоном. Ну и что этот снимок доказывает?

Лихачев закурил сигарету и, выпустив в потолок струйку дыма, задумчиво следил за уплывающими вверх колечками.

— Сам по себе — ничего, но в совокупности с другими уликами, он дает представление об очень недалекой женщине, которая большую часть своей жизни провела не с советскими людьми, а с теми, чьи интересы противоречат интересам Советского государства.

Зоя наклонилась к нему через стол.

— Вы же знаете, что это неправда. Я актриса и потому встречаюсь со многими людьми из разных стран. Меня приглашают и на наши приемы, где тоже присутствуют иностранцы. Неужели вы думаете, что, будь я фабричной работницей, меня позвали бы в американское посольство? Что мне было ответить послу? «Благодарю вас за оказанную честь, но нет, я не могу танцевать с вами, потому что вы американец?» Мне что, обязательно надо было выбросить этот флажок, так? И только потому, что он американский? Да ведь он — то небольшое, что осталось у меня на память об отце моего ребенка! Мне надо было сообщить на студию, что...

Полковник открыл ящик стола и положил на стол пистолет.

— А что вы скажете об этом?

Она остолбенела.

— Я не разбираюсь в оружии.

— Да? — улыбнулся он. — А ведь он тоже из вашей квартиры.

Зоя в испуге и недоумении уставилась на пистолет.

— Можете взять его, он не заряжен, — сказал полковник.

Она взяла его в руку и по его легкости сразу все вспомнила. Это был кожух пистолета с вынутым механизмом.

— Да, помню. Один летчик подарил мне его, когда я выступала с концертом на фронте. Он сказал, что взял его у немцев.

Полковник усмехнулся.

— Это браунинг. Скорее всего, американский.

— Вы же слышали, я не разбираюсь в оружии. Я знаю только то, что сказал мне тот летчик. Если пистолет американский, значит, летчик отобрал его у немца, а немец в свою очередь отобрал у американца. Что еще я помню? Я тогда сказала летчику, что до смерти боюсь таких штучек, а он показал, что он внутри пустой, из него нельзя стрелять.

— Вы так считаете? Но ведь даже пустой пистолет можно весьма ловко использовать, чтобы куда-нибудь проникнуть, ну, скажем, в Кремль.

— Это какое-то безумие! Просто безумие! — закричала Зоя. — Неужели вы действительно можете представить, как я пробиваюсь в Кремль с этим игрушечным пистолетом? И что мне в Кремле делать?

Его ответ поразил ее, как удар грома.

— То же, что и всякому другому врагу Советского государства. Убить нашего великого вождя, Иосифа Сталина.

Зоя в ужасе прижала руку ко рту. Только теперь она осознала всю чудовищность предъявленных ей обвинений. В отчаянии откинувшись на спинку стула, она сидела, дрожа всем телом и горестно качая головой. Весь тот ужас, который она пыталась перебороть в себе с первой секунды пребывания на Лубянке, всколыхнулся вновь. Боже всемогущий, взмолилась она, помоги. С ней случится удар. Она потеряет сознание. Предъявленное обвинение грозило ей расстрелом.

Полковник усмехнулся.

— Наконец-то вы испугались. Еще бы. Я же сказал, что нам все известно.

— Нет, нет, нет! — крикнула Зоя. — У меня и в мыслях никогда не было кого-нибудь убивать. Я даже не умею обращаться с оружием. Клянусь вам!

— Вы знаете, что у вас нет никаких законных прав на владение оружием? И только полный идиот — а вы, на мой взгляд, отнюдь не глупы — станет хранить у себя оружие, не умея им пользоваться.

— Клянусь, не умею. Да это и выстрелить-то не могло, это же пустой корпус, сувенир.

Полковник изо всех сил хватил кулаком по столу.

— Хватит! С вашими лживыми утверждениями мы только топчемся на месте. Мы располагаем сделанным вами заявлением. Оно зафиксировано в письменном виде. Вы произнесли его в присутствии всей вашей группы. Вы сказали: «Я хочу освободить мир от тирана». Теперь вспомнили?

— Я не убийца, — сказала Зоя.

— Вы думали, что все члены вашей маленькой ячейки верны вам, да? Вы заблуждались. Среди них нашелся один честный советский гражданин, который сообщил нам о вашем предательстве.

Но к этому моменту паника уже улеглась. Ладно, сказала она себе, меня расстреляют. Ладно. Лучше мне этого не вынести. Лучше пусть расстреляют, чем переживать день за днем этот кошмар. Надо с этим кончать. Они хотят моей смерти. Они ее получат. Но помощи от меня не дождутся.

— Я никогда не делала такого заявления. Что касается ячейки, то единственная ячейка, о которой я знаю, это та камера-ячейка, в которую вы меня упрятали.

— Да что вы? Тогда позвольте привести вам имена людей, вместе с которыми вы готовили заговор.



— Вы можете назвать их, помешать вам не в моих силах. Скорее всего, вы их придумали — так же, как придумали и мою революционную группу.

Он покачал головой.

— Уверен, что вы хорошо знаете каждого из этих предателей. Вы ведь знаете Марину Вигошину, костюмершу с вашей студии? И композитора Сашу Мирчева? А певца Синицына? А журналистку Пятакову, которая докатилась до того, что перевела свою фамилию на английский язык и стала подписываться «Пенни»? А Елену Терашович, вашу давнюю приятельницу?

— Да я не видела ее со школы!

— И еще одно имя. Мария Федорова, или вы будете отрицать, что знакомы с собственной сестрой?

Зоя чувствовала, что вот-вот потеряет сознание.

— Я всех их знаю, но, клянусь жизнью дочери, — никто из них не виновен.

— Мы выясним это, потому что все они арестованы. Они признаются, как признаетесь и вы, и будут наказаны за то, что по глупости стали вашими сообщниками в подготовке заговора.

Из ее глаз хлынули слезы. Пускай видит, подумала она. Это слезы моего горя и его позора.

— Я не знаю, почему вы так со мной поступаете, и мне это уже безразлично. Но арестовать людей, вина которых только в том, что они мне дороги, — это так чудовищно, что не поддается человеческому разумению.

— А ваш заговор против Сталина? Он поддается человеческому разумению?

— Я никогда не встречалась со Сталиным. Я даже не знаю, где его искать. И что бы я могла сделать с этим пустым пистолетом?

Полковник жестом приказал ей замолчать.

— Я хочу от вас одного — назовите ваше имя.

Зоя поглядела на него словно на сумасшедшего. Ее имя?

— Вы знаете мое имя — Зоя Алексеевна Федорова.

— Вы отлично понимаете, какое имя я имею в виду. То имя, которым вы пользовались, готовя свой предательский заговор. Каким именем называли вас ваши друзья, заговорщики? Какое имя увез с собой в Соединенные Штаты ваш любовник? Под каким именем вы поддерживали с ним связь?

Все бесполезно, мелькнуло у нее в голове. Ей не пробить этого человека. Он отлично все знает, но никогда в том не признается.

— Моя фамилия Федорова. Другой у меня никогда не было.

Полковник поднялся из-за стола.

— Советую вам еще раз как следует обдумать свое положение. Теперь вы знаете, какие против вас выдвинуты обвинения. Они подпадают под статьи 58/10, 58/11, 58/1а, 58/8/17 и 182. За них полагается самое суровое наказание. Но если вы сообщите нам свое настоящее имя, возможно, наказание будет несколько смягчено. Подумайте над этим! Подумайте со всей серьезностью!

Он вызвал надзирательницу и приказал отвести Зою в камеру.

Она легла на постель, вновь почувствовав мучительную боль в обожженных местах. Скоро явится надзирательница с хлебом и чаем, и начнется новый день, еще один день допросов. Ей бы поспать, но на это не стоит и надеяться. Перед глазами неотрывно стояло лицо Марии. Почему Мария, всегда всем довольная и веселая? Ее здоровье не выдержит таких страшных испытаний. Бедный Саша. Она так и видит его виноватые глаза. Он даже не поймет, о чем речь, когда они начнут его донимать.

Зоя отчетливо видела перед собой лицо каждого, кого перечислил полковник, и, не будь это так печально и страшно, можно было бы только посмеяться. Ее ячейка! Все вместе они вряд ли смогли бы убить мышь.

Зоя сидела на жестком деревянном стуле и ждала, когда за ней придет надзирательница. Она прождала весь день, но никто не пришел. Ощущение времени возникало лишь тогда, когда приносили жидкий суп на обед или вечером вели в умывальную.

Весь этот долгий день и весь вечер она думала о тех, кого арестовали, и о Виктории. О себе и о том, что ее ждет, она не думала. Это уже не ее проблемы. От нее самой уже ничего больше не зависит. Что будет, то будет. Что они решат, то она и примет. Ей не хотелось умирать, но она устала, к тому же смерть, представлявшаяся неизбежной, казалась избавлением.

Наконец надзирательница, просунув голову в дверь, разрешила ей лечь. Зоя легла, закрыв глаза, чтобы ее не слепил свет лампочки над головой. Если они, как и днем, оставят ее в покое в этот вечер, то она проспит целиком всю ночь — впервые с того дня, как попала на Лубянку.

Но сон не шел. Перед закрытыми глазами неотступно стояли две цифры — 58, чередой проходили слова: антисоветчица, предательница, враг народа, заговорщица, шпионка, потенциальная убийца. Ее ждет верная смерть. Какая остается надежда, если улики фабрикуются, если людей держат в заключении до тех пор, пока не выбьют из них нужных показаний?

Она умрет, и никто даже не узнает об этом. Исчезнет, как исчез ее портрет из фойе Театра ки-

ноактера. Внезапно и без всяких объяснений. И ее ребенок вырастет, называя мамой кого-то другого.

Зоя тряхнула головой, пытаясь избавиться от мыслей, которые наверняка сведут ее с ума. Если уж ей суждено умереть, то нужно хотя бы как следует выспаться. Но прошло, как ей показалось, несколько часов, а сон так и не шел.

Начиналась бессонница, которая стала ее мучением на многие годы.

Проходили дни, потом недели. Зоя не видела ни одной живой души, кроме надзирательницы, которая приносила еду и водила ее в умывальную. Надзирательнице было строго-настрого запрещено вступать с ней в разговоры. Столь длительное, день за днем, молчание было чревато не меньшей опасностью, чем бесконечные допросы. Ей стали чудиться звуки. То ей казалось, что она слышит едва уловимое поскрипыванье, словно по стене позади нее бегают мышка. Но, оглянувшись, она видела пустую стену.

В другой раз ей померещилось, что она явственно слышит в камере чье-то покашливание — то ли мужчины, то ли женщины — кто-то собирался с ней заговорить. И снова — никого.

Когда она начинала напряженно вслушиваться в тишину, до нее каждый раз доносился слабый, едва различимый гул электрических проводов, будто кто-то где-то поигрывал на них. Все это пугало ее, поскольку Зоя знала — таких звуков в камере быть не может. Значит, это верный признак того, что ее разум слабеет.

И все же самым страшным испытанием для нее стало хождение в душевую, хотя; казалось бы, это событие могло скрасить монотонность ее повседневного бытия. Она приходила в ужас от одной только мысли, что они снова пустят кипяток. В первый раз

после того, как ее ошпарили, она храбро прошла по всем коридорам, прижимая к груди полотенце и повторяя себе, что ничуть не боится. В конце концов, если уж ей суждено умереть, неужели не все равно, какая ее ждет смерть?

Но, открыв дверь кабинки, она застыла, не в силах двинуться с места. Дрожь сотрясала все ее тело, коленки подгибались. Только усилиями двух надзирательниц удалось запихнуть ее в кабинку. Она кричала, цеплялась руками за дверь. Включили воду. Вода была чуть тепловатая.

Позже, уже в камере, Зоя сама себе подивилась. Ей казалось, она смирилась с мыслью о смерти. Чего же тогда она так испугалась душевой? Выходит, она все же хочет жить.

Теперь она целыми днями повторяла по памяти сценки из своих фильмов. Надо было хоть чем-то заняться, услышать человеческий голос, хотя бы свой собственный. Ее аудиторией стали два глаза, неотрывно следящие за ней сквозь оконце в двери. Она играла для этих двух глаз, стараясь достучаться до чувств зрительницы. Сможет ли она заставить ее засмеяться? Или заплакать? Нет, глаза неизменно оставались бесстрастными.

Когда Зою в очередной раз повели в душ, ее снова охватила дрожь, но все же она заставила себя войти в кабинку. Температура воды опять оказалась вполне приемлемой.

Однако на третий раз из душа полился крутой кипяток. Зоя кричала, не умолкая, пока воду не выключили. Когда открыли дверь, она билась в истерике.

К вечеру все ее тело покрылось огромными волдырями. Врач не пришел. О сне не могло быть и речи.

Наутро за ней явилась надзирательница. Зоя шла по коридорам, испытывая невыносимую боль

от прикосновения к ожогам грубой тюремной одежды.

Войдя в кабинет, где проводили допросы, она увидела за письменным столом Абакумова, того самого человека, который допрашивал ее в первую ночь на Лубянке. Не поднимая головы от стола, он продолжал что-то писать. Зоя ждала стоя.

Наконец он посмотрел на нее.

— Ну как, теперь вы готовы разговаривать с нами?

— Я всегда была готова. Просто мне нечего было вам сказать.

— Ваше имя? Согласны ли вы назвать имя, под которым работали?

Зоя посмотрела в глаза на бесформенном и бесстрастном лице. Есть ли в них хоть какой-то интеллект? Неужели он и вправду верит в справедливость обвинений, предъявленных ей, или он сам же их и сфабриковал? Ей никогда не узнать этого.

— Нет никакого имени, — сказала Зоя, — потому что я никогда не была ни шпионкой, ни заговорщицей, ни кем другим. Мне неизвестно, из каких высоких инстанций исходят эти обвинения, но если вы занимаете достаточно большой пост, то знаете, что все они ложные. Знаете так же хорошо, как и я!

Абакумов бросил на нее презрительный взгляд.

— Ваш актерский талант и красноречие нам тут вовсе ни к чему. Нам от вас нужно только одно: имя, под которым вы работали.

— Сколько же раз мне повторять: у меня не было зашифрованного имени, потому что я никогда не была...

Абакумов поднялся и наклонился к ней через стол:

— Вы хоть понимаете, какую глупую ведете игру? Вы изменница родины. Вас могут расстрелять. Я предлагаю вам маленькую надежду.

Зоя кивнула:

— И я бы воспользовалась ею, если бы могла.  
Но у меня нет другого имени, поэтому я не могу.

Он снова сел.

— Тогда запомните — запомните, прежде чем умрете: во всем виноваты только вы сами.

— Наверно, я в любом случае умру, но по крайней мере знаю, что умру не солгав.

Абакумов вызвал надзирателя.

Судя по крошечным царапинкам на стене, с того дня, как ее водили к Абакумову, прошло две недели. Постоянное молчание и бессонница пагубно сказывались на ее нервах. Только этим Зоя много лет спустя объясняла то решение, которое она совершенно неожиданно для себя приняла.

Однажды утром она подошла к двери и изо всех сил забарабанила по ней. Она стучала не переставая, пока не появилась надзирательница.

— Я хочу видеть своего следователя, — заявила Зоя.

— Когда вы понадобитесь, за вами пришлют, — покачала головой надзирательница.

— Нет! — крикнула Зоя так громко, что надзирательница обернулась, не успев закрыть дверь камеры — Скажите ему, мне надо что-то сообщить ему. Что-то для него важное.

Через несколько минут надзирательница вернулась. Зою привели в кабинет Лихачева. Он кивнул ей:

— Вы что-то хотите мне сказать?

— Да.

— Имя?

— Да, имя. Но только пригласите сюда стенографиста, пусть запишет. Я хочу, чтобы то, что я вам сообщу и что для вас представляет несомненный интерес, было зафиксировано.

Позвонив, полковник вызвал надзирателя и послал его за стенографистом. Когда тот явился и занял свое место, Лихачев кивнул Зое:

— Начинайте.

Зоя глубоко вздохнула.

— Имя, под которым меня знали все шпионы, — Чан Кайши. Ну вот, теперь оно известно и вам.

Лихачев поднял на нее глаза.

— Вы что, принимаете меня за дурака?

— Почему? Я назвала вам свое имя. Вы мне не верите? Вы ожидали, что я назовусь Мата Хари?

— Вот уж не думал услышать от вас такую глупую ложь.

Зоя улыбнулась.

— Раз вы считаете это ложью, значит, вам известно мое имя. Так назовите его.

Он пришел в ярость.

— Кажется, моему терпению приходит конец. Вы просто сами напрашиваетесь на расстрел.

Зою внезапно охватила страшная усталость. Угроза расстрела больше не пугала ее. Она уже так сжилась с мыслью о нем, что угроза эта потеряла для нее всякий смысл.

Она посмотрела ему прямо в глаза и почувствовала полное безразличие к тому, что происходит. Игра окончена — во всяком случае, для нее.

— Вы можете расстрелять меня. Сила на вашей стороне. Но запомните одну вещь: рано или поздно все умирают. Если я умру здесь, я умру как ваша жертва. А когда придет ваш черед умирать, вы умрете как мой убийца. И настанет день, когда правда откроется. И тогда все узнают, что сделали вы, и...

Лихачев поднял руку, останавливая ее. Он улыбнулся:

— Прекрасная речь, жаль только, что аудитория маловата.

Вызвав надзирательницу, он подозвал ее к сто-



лу. Надзирательница вышла и через несколько минут вернулась с двумя мужчинами, одного из которых Зоя, как ей показалось, узнала — он присутствовал на ее первом допросе у Абакумова.

— Мне кажется, вам следует выслушать ее, — обратился к ним полковник. — Эта изменница обвиняет нас в совершении преступлений.

Он повернулся к Зое:

— Можете продолжать.

Зоя почувствовала себя уязвленной.

— Вам представляется весьма забавным играть людскими судьбами, не так ли?

Полковник покачал головой.

— Вообще нет, мы относимся к этому самым серьезным образом. А теперь продолжайте.

— Собственно, мне все равно, как вы к этому относитесь. Я уже сказала, что в один прекрасный день вся Россия узнает, как вы, все вы тут, обращались с такими, как я. Мы невинные жертвы, а вы наши преследователи. Я жертва этого режима, а вы — мои палачи.

Мужчины переглянулись. Зоя понимала, что сказала лишнее. Скорее всего, она уже подписала себе смертный приговор, но страха не ощущала. К своему удивлению, она испытывала какую-то легкость, даже беспечность, словно избавилась от затаившейся внутри ее мерзости.

Полковник Лихачев встал.

— Вот что я вам скажу. Вы смелая женщина. Но вы и невероятно глупая женщина, раз наговорили такое. Разве только вы действительно хотите умереть.

Он вызвал надзирательницу и приказал ей отвести Зою в камеру.

На следующий день ее привели к Абакумову. Он, как обычно, сидел за столом. На углу стола Зоя уви-

дела свое досье, поверх по-прежнему лежал американский флажок. Коротко кивнув ей, Абакумов взял со стола листок бумаги.

— Вы, конечно, понимаете, что у нас достаточно улик, чтобы расстрелять вас? Но наше правительство — гуманное правительство. А потому вам оставили жизнь, чтобы вы могли на досуге подумать о своих преступлениях. Вы приговариваетесь к двадцати пяти годам тюремного заключения.

Конвоир отвел Зою обратно в камеру. Она ощущала какую-то пустоту во всем теле. Только много позже до нее дошло, что никакого судебного процесса не было, что она не подписывала своих признаний. А сейчас в голове крутилась одна-единственная мысль: выйдет из тюрьмы она уже старухой, и Виктория будет взрослой женщиной, которой уже не нужна мать.

В камеру вошла надзирательница с одеждой, которая была на ней в день ареста.

— Соберите свои вещи. Вас переводят в другое место.

Надевая свою одежду, Зоя поразилась непривычной мягкости материалов. Она медленно водила рукой по шелку платья и меху шубки. От нахлынувших воспоминаний по щекам покатались слезы. Какой же легкой и приятной была ее жизнь, а она этого и не понимала.

Ночью ее вывели из камеры в тюремный двор. На улице было холодно. Стояла зима. Значит, она провела на Лубянке целый год. У нее отняли целый год жизни, который ей уже никогда не вернуть назад.

Но об этом она подумает позже. А сейчас она упивалась чудесным запахом ночного воздуха, прикосновением к коже легкого зимнего ветерка, ослепительной красотой ночного неба. Неужели мир всегда был так прекрасен?

Конвоир ткнул ее в спину:

— Пошли!

Впереди Зоя рассмотрела фургон, прозванный москвичами «черным вороном», возле него стояли семь-восемь человек. Заключенные медленно забирались внутрь. Когда подошла ее очередь подняться в фургон, ей пришлось пробираться на ощупь. Внутри была крошечная темнота. Посередине фургона шел узкий проход, с обеих сторон огороженный толстыми решетками.

Зоя, подталкиваемая сзади тычками конвоира, спотыкаясь, пробиралась вперед. Наконец он командовал: «Стоять!», и Зоя скорее услышала, чем увидела, как открылась решетчатая дверь. Ее толкнули внутрь. Ударившись обо что-то коленками, она немного продвинулась вперед и снова уперлась в решетку. Колено ткнулось в узкое сиденье. Она повернулась и села. Вытянув руки, нащупала со всех сторон решетки. Ее поместили в тесную клетку.

Но вот дверь фургона захлопнулась, и он тронулся. Зоя ничего не видела в темноте. Она знала, что в клетках рядом с ней тоже сидят заключенные, но увидеть их не было никакой возможности, а произнести хоть слово никто из них не отважился.

К тому времени, когда фургон остановился, ее глаза немного свыклись с крошечной тьмой, поэтому, когда дверь открылась, она разглядела тени каких-то людей и конвоиров. Еще один тюремный двор.

Дальше все пошло обычным, накатанным путем. Молча, не говоря ни слова, конвоир ввел ее в тюрму, там ей приказали раздеться, отправили в душ, затем выдали тюремную одежду. После чего повели в камеру.

Дверь камеры открылась, и она в страхе отпрянула: в лицо ей ударил кислый гнилостный запах сырого подвала. Надзирательница втолкнула ее

внутри, дверь захлопнулась. Камера была меньше лубянкинской, свисавшая с потолка голая лампочка едва освещала ее. На одной из стен высоко под потолком было узкое зарешеченное окно. Судя по тяжелому, затхлому воздуху, едва ли в него когда-нибудь заглядывало солнце. В углу камеры стояла «параша», у стены — деревянный стол с табуреткой, узкая железная кровать с грязным, скатанным в рулон одеялом. В дверь был вделан круглый глазок.

Зоя с отвращением взглянула на вонючую «парашу». Подойдя к кровати, она шлепнула рукой по матрасу — в воздух поднялся столб пыли, заметный даже в тусклом полумраке камеры. Когда она понюхала руку, ее чуть не вырвало.

Она вернулась к столу и села на табуретку. Она понимала, что вечно сидеть так нельзя. Волей-неволей придется лечь в кровать и использовать «парашу». Но пока еще она ни к тому, ни к другому не готова. Пока еще им не удалось низвести ее до уровня животного.

Она сидела на табуретке, то задремывая, то вновь просыпаясь. Время от времени до нее доносились плач и крики из соседних камер.

Внезапно истошно заголосила какая-то женщина: «Это ошибка! Это ошибка! Я невиновна!»

Какая дура, подумала Зоя. Неужели она еще не поняла, что ее никто и слушать не будет? Мы все тут невиновны, но кого это волнует?

Через маленькое окошко высоко под потолком пробивался серый, унылый свет. Дверь камеры открылась, надзирательница принесла завтрак: кусок плохо пропеченного хлеба с вмятиной сырого теста посередине и кружку кипятка. Ложки с кусочком сахара не было.

Надзирательница повернулась, чтобы уйти, и Зоя протянула к ней руку:

— Подождите. Скажите, где я?

— В Лефортово, — буркнула женщина, закрывая за собой дверь. В замке повернулся ключ.

Лефортово. Восточная часть Москвы.

К полудню от долгого сидения на табуретке мучительно заныла спина. Больше всего хотелось развернуть вонючий матрас и лечь, но она знала, что до наступления ночи ей никто этого не позволит. Наконец, когда боль стала нестерпимой, ей разрешили лечь на кровать.

Развернув матрас, Зоя увидела в нем огромную дыру, из которой торчала серовато-грязная набивка. С нижней стороны матрас был не лучше. Ну что ж, придется смириться. Выбора нет.

Она уже почти заснула, как вдруг почувствовала, что по ее ноге что-то ползет. И по руке.

И тут все ее тело ожгло нестерпимым зудом и острой болью от сотни булавочных уколов. Зоя подпрыгнула на кровати как ужаленная и закричала. По ее телу ползали крошечные красновато-коричневые клопы. Вскочив с кровати, она стала судорожно шлепать себя по бокам, пытаясь стряхнуть их на пол. Чем сильнее она шлепала, тем больше их вылезало. Она бросилась к «параше» и ее вырвало — желудок изрыгнул из себя всю ту жалкую еду, которую она съела за день. Выпрямившись, она увидела в глазке глаза надзирательницы.

Бросившись к двери, Зоя забарабанила в нее кулаками.

— Откройте! Откройте!

Надзирательница приоткрыла дверь.

— Что вам надо?

Зоя протянула ей руки, показывая следы укусов.

— Поглядите! И сюда! И сюда! Лучше убейте меня, но только перестаньте мучить. Здесь же скопище клопов!

Надзирательница пожалала плечами.

— Завтра утром к вам зайдет начальник, вот вы все ему и расскажете. Будут приняты меры. Я же сделать ничего не могу. — Она захлопнула дверь и заперла ее на ключ.

Зоя содрогнулась от ужаса — хватит ли у нее сил дожить до утра?

Свет в окошке под потолком сменился сумеречным мраком, темный пол камеры был почти невидим. Действительно клопы ползают у нее под ногами или ей это только мерещится? Да, вон ползет один. Она изо всех сил придавила его ногой. Под ногой ничего не оказалось. Вон еще один. И снова под ногой пусто. Что-то неладное творится с нею.

Она подошла к табуретке, провела рукой по сиденью, отодвинула ее подальше от стола и села, ни на секунду не переставая топтать ногами, чтобы отпугнуть клопов. В конце концов она до того измучилась и устала, что так и заснула, сидя на табуретке. Ее разбудила надзирательница, которая принесла ужин: отдающий тухлятиной суп и черствый ломоть черного хлеба. Зоя заставила себя есть. Ее мучило от отвращения, несколько раз чуть не вырвало, но она проглотила все полностью.

Надзирательница, вернувшись за ложкой и кружкой, с издевкой поглядела на нее:

— Ну, так где же ваши клопы?

Зоя снова протянула ей руку.

— Вы считаете, я все это выдумала?

Пожав плечами, надзирательница удалилась.

Зоя задумалась над ее словами.

И правда, куда подевались клопы? Может, они водятся только в матрасе? Может, они чувствуют присутствие живого человека? А вдруг они сейчас выползут из матраса и снова облепят ее?

А может, их специально подбрасывают в каме-

ру, чтобы мучить ее? Ведь она до сих пор не подписала признания? Но если их подбрасывают, то каким путем забирают обратно?

Забавно! Выходит, бывают клопы, преданные советской власти и работающие на НКВД? Нет. Клопы неподвластны НКВД. Ему подвластны только люди.

Всю ночь она то засыпала, то снова просыпалась. Дважды ее будили клопные укусы, но каждый раз она обнаруживала только одного клопа. Одного она уж как-нибудь вынесет. Но каждый раз, как она стряхивала клопа на пол, и, наступив на него, слышала хруст, Зоя вздрагивала. Тогда она вставала и принималась ходить по камере, с ужасом ожидая услышать под ногами хруст раздавленных клопов, но нет, все было тихо. Она возвращалась к табуретке и снова задремывала.

Утром в камеру зашел старший надзиратель.

— Что это за ерунду вы несете насчет клопов?

Зоя показала ему следы укусов:

— Ерунда? И вы называете это ерундой? Это самая настоящая пытка.

Надзиратель бросил вокруг себя быстрый взгляд.

— Они уже скрылись.

— Пожалуйста, осмотрите матрас, — сказала Зоя, — Я уверена, их там тьма-тьмущая.

Надзиратель подошел к матрасу. Сунув руку в дыру, он вытащил клочок серой набивки. Перебрав ее пальцами, заметил:

— Ничего тут нет. — И направился к двери.

Зоя встала перед ним, преградив ему путь.

— Тогда откуда эти укусы? Я, по-вашему, сама себя искусала?

Надзиратель оттолкнул ее от себя:

— В Лефортово и не то еще бывает.

Зоя снова осталась одна. Она подошла к крова-

ти и, скривившись от отвращения, заставила себя просунуть руку внутрь матраса и просмотреть набивку. Клопов не было. Она тщательно обследовала весь матрас, потом встряхнула его. Ни одного клопа.

Она обошла камеру вокруг, внимательно осматривая стены. В них было много щелок и дырок. Подбросить клопов в камеру через любую из них — проще простого. Но если они могут это сделать, наверное, существует какой-нибудь способ и выманить их оттуда? Безумная мысль, уговаривала она себя, но другого объяснения так и не придумала.

В полном изнеможении она прилегла на кровать, но едва начинала дремать, как тут же просыпалась, чувствуя, что кто-то ползет по ее телу.

В конце концов она не выдержала и снова усеялась на табуретку. Больше я этого не вынесу, думала она, я сойду с ума.

Все дороги вели к безумию; звуки существовали только за пределами камеры, в самой же камере не было ничего, кроме света, который менялся с грязно-серого дневного на тускло-мрачный вечерний. Да еще эти глаза в дверном глазке, неотступно следящие за ней. Хотя бывало и исключение — она замечала, что глаза тоже меняются. Серовато-зеленые, они появлялись утром и оставались с ней до сумерек. Но следили за ней не так неотступно, как другие. Бывало, что они на минуту-другую исчезали, и тогда Зоя слышала приглушенный разговор.

Мысли тоже грозили потерей рассудка. Она не решалась думать о дочке: от того, что девочка скоро начнет лопотать и ходить, не сохранив при этом никаких воспоминаний о матери, она испытывала острую боль в сердце.

Не могла она думать ни о Марии, ни о Саше, ни о ком другом. Одному Богу известно, какая их постигла участь. Единственно, о ком она позволяла себе



думать, так это о себе, и то лишь потому, что эти мысли не находили никакого отклика у нее в душе. Будущее ее было predeterminedено, хотя и никак не укладывалось в ее воображении. А все, что относилось к прошлому, за исключением Виктории, — так что это, как не туманная, оставшаяся где-то далеко позади нереальность? Все дорогие ей в той прошлой жизни лица стерлись, померкли в ее измученном сознании. А сама прошлая жизнь представлялась скорее сказкой, чем реальностью.

Можно ли просидеть день за днем двадцать пять лет в этой камере и выйти на свободу живой и в здравом уме? Вряд ли. Да и сколько это — двадцать пять лет, день за днем, день за днем? Но об этом тоже лучше не думать.

Когда в этот день надзирательница принесла ей обед, Зоя выковыряла из куска хлеба непропеченный мякиш и положила его к своим запасам. Есть его нельзя, но все же это какая-никакая еда, а кто знает, когда она может ей пригодиться? Она вдохнула поглубже, втянув в себя воздух, и задержала дыхание, чтобы не чувствовать тошнотворного запаха супа. Так легче подавить отвращение.

На смену серовато-зеленым глазам появились карие, эти ни на секунду не отрывались от глазка. Зоя со страхом представляла себе еще одну ночь, проведенную на табуретке. Но ведь она же тщательно проверила матрас. Там нет клопов.

Она легла и почти тотчас же заснула. Как долго ей удалось поспать, она не знала, за окном было уже совсем темно. Из коридора не доносилось ни звука. К этому часу крики и стоны затихали. Что же ее разбудило?

И вдруг Зоя почувствовала, как что-то легонько щекочет ей губы. Она поднесла ко рту руку, чтобы смахнуть с губ помеху, и ощутила, что у нее под пальцами опять что-то ползет.

Вскочив на ноги, Зоя принялась яростно колотить себя со всех сторон: она вся была усыпана клопами. Ими кишела одежда, волосы, пол. Зоя закричала от ужаса и запрыгала по полу. Каждый ее шаг отдавался хрустом раздавленных клопов.

Открылась дверь, и в камеру ворвалась надзирательница. Зоя бросилась ей навстречу.

— Выпустите меня отсюда!

Тыльной стороной ладони надзирательница изо всех сил ударила ее по лицу. Зоя отлетела к стене, больно стукнувшись о нее головой. Из глаз посыпались искры. Она почувствовала, что падает.

Нет, она не может позволить себе потерять сознание. Клопы сожрут ее. Тряхнув головой, она поднялась с пола, цепляясь за стену. Искры в глазах потухли. Она провела рукой по лицу, почувствовала боль в том месте, куда пришелся удар. Кожа горела, но не была влажной. Значит, кровь не шла.

— Еще раз завопишь, изобью по-настоящему, — пригрозила надзирательница.

— Клопы... — зарыдала Зоя. — Пожалуйста, посмотрите сами — клопы. — Но надзирательница уже захлопнула за собой дверь.

Зоя стряхивала с себя клопов до тех пор, пока не уверилась, что ни одного не осталось. Потом забралась на стол, предварительно убедившись, что там клопов нет.

Она просидела на столе всю ночь, каждые несколько минут проводя рукой по краям и стряхивая заползавших с пола по ножкам стола насекомых.

И тогда она приняла решение. Она умрет. И даже придумала, как это сделает. С помощью шелковых чулок, которые почему-то у нее не отобрали по прибытии в Лефортово. Утром, когда дежурство примут серовато-зеленые глаза, с кошмаром будет покончено.

Виктории ее смерть не причинит боли. Она даже

не знает о Зоинном существовании. Если на небе есть Бог, ее дочь, конечно же, сейчас с Александрой, которая воспитает ее как свою собственную.

Через окно в комнату начал просачиваться бледный утренний свет. Зоя огляделась. Клопы исчезли. Лишь пол устилали раздавленные ею насекомые.

Когда принесли завтрак, Зоя, как и прежде, осторожно выковыряла из ломтя хлеба непропеченный мякиш и отложила его в сторону, к припрятанному ранее. Те уже, правда, успели зачерстветь. Оставив себе только последний, она бросила остальные под кровать. Потом выпила кружку кипятка.

Как только серовато-зеленые глаза в глазке исчезли, Зоя чуть-чуть подвинула стол и табуретку, затем, чтобы не привлечь внимания, стала передвигать их на несколько сантиметров всякий раз, как глаза исчезали из щели, пока стол и табуретка не оказались под окном. Дожидаясь, пока глаза в двери снова исчезнут, Зоя притворилась, что спит. В руке у нее был зажат сырой комок, который она, не переставая, мяла пальцами, чтобы он стал мягким и клейким. Сделав вид, что ее бьет кашель, она поднесла руку с мякишем ко рту и смочила его слюной.

Наконец глазок в двери зазиял пустотой. Подбежав к ней, Зоя залепила его сырым мякишем.

Быстро стащив с себя чулки, она связала их вместе. Потом поставила табуретку на стол и вскарабкалась на нее. Привязала один конец чулка к перекладине решетки, сделала петлю на конце другого и затянула ее на шее.

Усилием воли она заставила себя в последний раз вызвать в воображении лицо Виктории. Потом прыгнула с табуретки, сбросив ее ногой на пол. Шелковая петля стянулась на шее, и она услышала сдавленные, булькающие звуки — должно быть, их исторгало ее горло. Ноги бились о край стола. Ком-

ната закружилась, перед глазами поплыли огненные круги. Ей почудилось, что петля заскользила по шее. Господи, не дай ей развязаться, взмолилась она. Пусть наступит конец.

Первое, кого она увидела, придя в себя, — это двух надзирательниц, опускавших ее на пол. Шелковой петли на шее больше не было. Ее постигла неудача.

Они подтащили ее к кровати и бросили на матрас. И пока одна держала ее за руки, вторая с руганью наносила удар за ударом по груди и лицу. Зоя в слезах мотала головой из стороны в сторону, пытаясь увернуться от ударов, но все было напрасно. Потом внезапная боль словно раскаленным железом обожгла запястья рук, и она потеряла сознание.

Очнувшись, она с трудом открыла глаза. Попыталась поднять руку и посмотреть, что с ней, но руку пронзила такая острая боль, что больше она таких попыток не предпринимала.

Камера была не ее, другая. И тут она вспомнила, что произошло. Все лицо и верхняя часть ее тела так распухли, что глаза открывались с трудом. Сжав зубы от боли, она приподняла руки, чтобы хоть посмотреть, что с ними случилось. Пальцы были в гипсе. Надзирательницы переломали ей все пальцы.

Только через несколько дней опухоль начала спадать. Когда с пальцев сняли гипс, какой-то человек сунул ей под нос ее признание. Она едва взглянула на бумаги. Что бы они там ни понаписали, все это ложь. А потому ей это уже не интересно, к тому же она понимает, что дальнейшее сопротивление бесполезно.

— И это все? — спросила она. — Всего несколько страниц? Разве этого достаточно?

— Вполне хватит, — ответил он.

Зоя подписала бумагу.

Человек взял ее у нее из рук.

— Мы пришли сюда, чтобы объявить вам приговор. Встать!

— Перед вами? Ни за что!

— Молчать! Вы не имеете права говорить. Настоящим вы приговариваетесь к двадцати пяти годам лагерей усиленного режима.

Зоя кивнула. Лагеря усиленного режима. Не все ли равно? И так и сяк они уничтожат ее, как уничтожили ее отца. Она поглядела на человека, зачитавшего приговор. Судя по всему, он чего-то ждет от нее. Обморока? Рыданий? Мольбы о пощаде? Такого удовольствия она ему не доставит.

— Какое сегодня число? — спросила она.

Он удивленно уставился на нее.

— Двадцать первое февраля.

— В самом деле? — сказала она. — А я-то, услышав всю эту галиматью, решила было, что сегодня первое апреля.

Он ухмыльнулся.

— Отдаю дань вашему юмору. Думаю, однако, что скоро вам расхочется шутить.

На десятый день ее пребывания в Лефортово ей принесли ее одежду и меховую шубку.

— Вас переводят. Одевайтесь.

Увозили ее снова ночью. «Черный ворон» доставил ее на железнодорожную станцию. Вместе с двадцатью четырьмя другими мужчинами и женщинами ее впихнули в купе, рассчитанное на четверых. Окно было наглухо заколочено, в купе стоял смрадный запах от множества человеческих тел. Компания собралась весьма разношерстная: проститутки, уголовники, политические. Когда ввели Зою, все места уже были заняты.

— Зоя! — услышала она.

Она оглянулась. Голос показался знакомым. И

тут она узнала Марину, костюмершу с ее студии. Они обнялись.

— Мне дали двадцать пять лет, а тебе? — спросила Зоя.

— Только десять, — ответила Марина и рассмеялась. — А как же, ведь ты была нашим главарем.

Вдруг со своего места вскочил какой-то небритый мужчина.

— Неужели вы ее не узнали? Подвиньтесь, дайте сесть нашей любимой актрисе и ее подруге.

С полки неохотно поднялся еще один человек.

Местом их назначения была Потьма, лагерь в трехстах километрах к северу от Москвы. Там Зою продержали два месяца, а затем ей вынесли новый приговор: двадцать пять лет лагерей усиленного режима с конфискацией имущества и денег и ссылкой для всей семьи. Это означало, что Александру, ее детей и Викторию, если она у Александры, на что так надеялась Зоя, вышлют из Москвы. При мысли о судьбе дочери Зою душили рыдания.

И снова ее перевели в другое место, на этот раз в Сибирь, в челябинскую тюрьму, находившуюся в трехстах километрах от Свердловска. «Почему меня все время возят с места на место? — думала Зоя. — Наверное, хотят запутать следы».

Зоя надеялась, что Челябинск станет окончательным пунктом ее назначения. Однако она ошиблась. Она оставалась там совсем недолго, и снова ей вынесли новый приговор. На этот раз двадцать пять лет тюремного заключения, а не лагеря усиленного режима, и по-прежнему конфискация имущества и ссылка для всей семьи. Мужчина, зачитавший ей приговор, ухмыльнулся и добавил:

— Для отбытия наказания вам назначена Владимирка. Отправление сегодня.

Владимирка. Зоя ужаснулась. Кто не слышал о Владимирской тюрьме? Она находилась всего в ста восьмидесяти пяти километрах от Москвы и считалась одним из самых страшных острогов. Лагерей боялись пуще смерти, но тюрьмы, а Владимирка тем более, не шли с ними ни в какое сравнение. В лагере, если заключенный осиливал тяжелую работу, появлялась возможность поддерживать хоть какие-то человеческие отношения. По лагерю можно ходить, можно общаться с людьми. Хоть что-то. В тюрьме все это было исключено. Чудовищная пустота, однообразие, небытие, разъедающие мозг и разрушающие тело. Может, кому-нибудь и удастся выдержать двадцать пять лет в лагерях, хоть это и мало вероятно, но живая могила, каковой была Владимирка, не оставляла на это никаких надежд.



# КНИГА ЧЕТВЕРТАЯ

## ВИКТОРИЯ

Мои первые воспоминания связаны с Полудино, деревней в Северном Казахстане; мне было тогда три или четыре года. Сюда после ареста Зои и Марии сослали мою тетю Александру, которую я считала матерью. Много позже я узнала, что от тюрьмы ее спасло только то, что она неодобрительно относилась к Зоиным друзьям-иностранцам, и особенно к американцу Джексону Тэйту. В отличие от Марии, она никогда и нигде не появлялась вместе с Тэйтом и Зоей.

Сразу после ареста Зои ее домработница Шура помчалась к Александре, и она забрала меня к себе. А вскоре после этого Александру, к тому времени уже дважды разведенную, мать двоих детей, выслали в Полудино — хоть и не в Сибирь, но сути дела это не меняло. И поскольку первые мои воспоминания ограничивались степной деревушкой, где проживало всего несколько сот человек, тяжким трудом зарабатывавших себе на скудную жизнь, мне моя жизнь там вовсе не казалась тяжелой. Другой я не знала. Я считала, что живу в нормальной семье — у меня есть мама, которую зовут Александра, брат старше меня на десять лет, которого зовут Юрий, и сестренка Нина, на пять лет старше. Я не ощущала нехватки того, чего никогда не имела, поскольку и



не подозревала, что существует что-то иное, чего у нас нет. Ведь не скучаешь же по куклам и другим игрушкам, если никогда их не видела. И не мечтаешь о мясе, если никогда его не пробовала.

По моим тогдашним представлениям, деревня Полудино была средоточием всего мира, и я меньше всего раздумывала, какая она, похожа ли на другие деревни. Она представляла собой кучку домишек, построенных посреди степи. А вокруг, насколько хватало глаз, простирались ровные, открытые всем ветрам просторы. Зимой, которая наступала здесь очень рано, наши усилия были направлены на сбор того, что могло гореть, однако печке все равно никогда не удавалось прогреть наш маленький домик так, чтобы растаял лед на стенах комнаты, бывшей одновременно и нашей гостиной, и спальней. Не теплее было и в крошечной кухоньке. Температура двадцать пять градусов ниже нуля была для тех мест обычным явлением, а ветру, несущемуся с дикой скоростью по степным равнинам, ничего не стоило проникнуть в дом через зазор под дверью, в оконные щели и в щели под стенами, потому что дом стоял прямо на земле без всякого фундамента. Уборная была за домом, поэтому в особо сильные морозы или в большие снегопады приходилось заносить в дом ведро.

А летом солнце пекло напропалую, нагревая воздух до сорока градусов. Ручьи пересыхали, сухая, растрескавшаяся грязь покрывала русло, и над деревней нависало зловоние отходов, которые ее жители выбрасывали в ямы, вырытые ими тут же, рядом с домом.

Мама — так я звала Александру до самой ее смерти работала бухгалтером в поселковом совете. Денег хватало только на то, чтобы не умереть с голоду, а рабочие часы длились допоздна, и так шесть

дней в неделю. Зимой она каждое утро будила нас задолго до рассвета и мы по мокрому, холодному и грязному полу устремлялись к печке. Завтрак был всегда один и тот же: ломоть хлеба и чашка жиденького чая: скорее кипяток, чем чай. А после этого я на весь день оставалась дома одна, пока из школы не возвращались Нина и Юрий.

Наверное, именно тогда я и научилась легко переносить одиночество; отсюда же исходят и постоянная жажда общения, и робость, которую я чувствовала на людях. И наверное, именно в том истоки моей актерской карьеры, ибо долгий день, единственным развлечением которого бывал обед — как правило, кусок хлеба, — давал огромные возможности для разгула фантазии. Оставаясь одна, я редко выходила на улицу. Иногда из-за погоды, но по большей части из-за людей.

Дважды в неделю мама ходила отмечаться в милицию, чтобы там знали, что мы никуда из Полудино не сбежали. Об этих ее посещениях знала вся деревня. По Полудино пополз слух, что мама — родственница врага народа, а значит, она и ее дети тоже враги народа. Стоило мне выйти на улицу, и я сразу замечала, как шарахаются от меня деревенские жители, крепче прижимая к себе детей. В деревне жили в основном казахи с обветренными лицами и восточным разрезом глаз. Прирожденные кочевники, они с лошадьми и отарами овец разъезжали по всему Казахстану. В большинстве своем люди неграмотные, они с недоверием относились к чужим, и уж тем более к врагам народа. Местные власти всячески потворствовали этому. К нам и относились как к врагам народа и частенько так и называли.

Я упомянула слово «фантазия», но, возвращаясь мыслями к прошлому, не могу вспомнить, каким фантазиям я тогда предавалась. Телевизоров в те

времена еще не было, а у нас дома не было и радио, поэтому совершенно непонятно, откуда брались эти фантазии. Скорее всего, они касались таких понятий, как теплота, любовь, еда, но в этом я не вполне уверена.

В зимние месяцы солнце садилось рано, темнело задолго до возвращения Нины и Юрия. Юрий почти сразу отправлялся на поиски работы. Он ходил от двора к двору, предлагая наколоть дров. И хотя к нему относились так же неприязненно, как и ко всем нам, иногда его все же нанимали — в случае, если хозяин дома заболел или был в отлучке, перегоня лошадей. Платили ему гроши, но каждая копейка, которую он приносил домой, была для нас большим подспорьем. А в хорошую погоду они с Ниной ходили в лес за сушняком.

Когда мы с Ниной оставались одни, мы играли в игру, от воспоминания о которой я и сейчас содрогаюсь. В полу под столом, стоявшим в центре комнаты, была глубокая нора. В ней жили огромные мохнатые тарантулы. Мы с Ниной нагревали чайник и выливали его в нору, а потом как можно быстрее отбегали подальше и смотрели, как из нее выползают тарантулы. Вода никогда не была достаточно горячей, чтобы тарантулы погибли, и они как ни в чем не бывало ползали по комнате, высматривая, как нам казалось, кто нарушил их зимнюю спячку. Мы боялись пошевелиться, пока они не уползали обратно в нору. Однажды Юрий заделал ее, но через несколько дней появилась другая.

У нас было две кровати. На одной спали мы с Ниной, на другой — Юра с мамой. И одно более или менее приличное одеяло. Оно было из верблюжьей шерсти, светло-коричневое, с зелеными цветами. Каждый вечер перед сном мама нагревала на печке чутунный утюг и проглаживала простыни для тепла.

Мы с Ниной быстро ныряли в постель и мама укутывала нас этим одеялом, но и после этого мы еще несколько часов тряслись от холода и тесно прижались друг к другу, пытаясь спастись от зимней стужи.

Помню, однажды ночью на улице неожиданно потеплело, под одеялом тоже стало тепло, и я вдруг проснулась и увидела, как по одеялу ползет что-то большое и темное. Это был тарантул с детенышем на спине. Я легонько дотронулась до Нины и положила ладонь ей на руки, чтобы она не шевельнулась. Мы лежали, едва осмеливаясь дышать, и, вытаращив от ужаса глаза, наблюдали, как тарантул медленно переполз через нас и свалился на пол.

Это произошло однажды весенним днем. Ночи еще стояли холодные, но за день воздух хорошо прогревался, так что наши глиняные стены начали понемногу оттаивать ото льда. Я вышла и села на заваulinку, подставив лицо солнечным лучам.

Земля еще во многих местах была покрыта снегом, но уже там и сям проглядывали грязные проталины, на которых появились первые зеленые росточки. У нас на крыше снег уже стаял, мокрая солома ярко блестела на солнце. И казалось мне, что весна — это настоящее чудо.

Прямо посреди грязной дороги два маленьких мальчика играли в какую-то игру. Они весело прыгали в луже, брызгались грязью и хохотали. Я позавидовала им. Хорошо бы и мне подружиться с кем-нибудь!

Вдруг они перестали играть, и один из них ткнул в мою сторону пальцем. Поначалу они просто пялились на меня, а потом тот, что показывал пальцем, поднял с земли камень и швырнул в меня. Он промахнулся, камень попал в стену. Я вскочи-

ла, но тут какой-то человек прикрикнул на них, и они убежали.

В страхе, что мальчишки могут вернуться, я уже собиралась было уйти домой, как вдруг из-за угла нашего дома появился пес. Огромный, темно-коричневый, он был очень похож на волка. И ужасающе худ.

Сначала я хотела убежать. В Полудино ходило немало рассказов о голодных волках, которые выходят из леса и нападают на людей. К волчьему вою по ночам мы привыкли не меньше, чем к завыванию зимнего ветра.

Но эта зверюга подошла ко мне, ткнулась в меня мордой и жалобно заскулила. С опаской протянув руку, я погладила собаку по голове, потом по спине. Под грубой шерстью прощупывались ребра. Она лизнула мне руку, и я поняла, что влюбилась.

— Как тебя зовут? — спросила я. — Откуда ты взялся? Кто твой хозяин?

Но ни веревки на шее, ни других доказательств того, что пес принадлежит кому-то, не было. Наверно, его бросила какая-нибудь семья, уехавшая жить в другое место. Он все время жался ко мне и лизал руку. Он был голоден.

Я привела пса в дом и отыскала маленький кусочек хлеба, который он с жадностью тут же проглотил. Он смотрел на меня, и мне казалось, он вот-вот заплачет. Я решила назвать его Рексом. Он такой большой, настоящий король. Имя как нельзя лучше подходило ему.

— У меня нет больше никакой еды, Рекс. Надо подождать маму.

Когда из школы вернулись брат с сестрой, Нина пришла в восторг, а Юрий нахмурился.

— Ты не можешь оставить его. Чем нам его кормить?

— Я буду делиться с ним, — возразила я.

— Да тебе самой хватает только на то, чтобы ноги не протянуть, — рассмеялся Юрий.

— Ну и пусть, — сказала я. — Я люблю его и буду заботиться о нем.

— И чем же ты собираешься его кормить? Чаем? Хлебом? Щами? Картофельным супом? Вот все, что у нас есть. Собака на этом долго не проживет.

— Проживет! Проживет! — в слезах закричала я.

Увидев Рекса, мама пришла в ярость и тут же приказала выгнать собаку. Обращаясь сейчас к прошлому, я понимаю ее. Она все время не переставала удивляться, как мы, четверо, умудряемся жить на те жалкие гроши, что она получает, а тут лишний рот, пятый, да еще такой огромный в придачу. Но тогда она показалась мне ужасно жестокой, и я воспользовалась последним средством детской логикой.

— Я умру, если ты выгонишь Рекса! — прокричала я ей. — Или убегу вместе с ним, и мы будем вдвоем жить в лесу.

В конце концов, когда я довела себя чуть ли не до истерики, мама усадила меня на колени.

— Хорошо, — сказала она. — Пусть Рекс останется. Но ведь ты сама понимаешь, кормить его мы не можем. Даже если он станет помирать от голода на наших глазах. Ему придется самому добывать себе еду. Нам нечем с ним поделиться. Я уверена, он знает, как это делать. Выжил же он до сих пор, пусть кормится сам и дальше. Поняла, Вика?

Я утвердительно кивнула и обняла ее. Поначалу сидеть за столом с миской картофельного супа и делать вид, что не замечаешь его, было просто невыносимо. А он сидел рядом, устремив на нас свои влажные печальные глаза, и из его открытой пасти медленной струйкой текла слюна.

Но вскоре я поняла, что надо делать. Я выпускала Рекса с раннего утра из дому. Поначалу он не понимал, чего от него хотят, растерянно оглядываясь вокруг, словно решая, бросили его снова или нет, а потом стрелой пускался по степи к лесу. Ближе к вечеру слышалось царапанье лап по двери — Рекс возвращался. Должно быть, он и вправду добывал себе в лесу какой-то еды, потому что удовлетворенно сворачивался в клубок в углу и спал все то время, пока мы ели суп.

Было раннее утро. Кажется, в тот день Нина и Юра отправились куда-то за ягодами. А я выпустила Рекса и смотрела, как он мчитя к лесу.

Летом в Полудино еще до наступления зноя можно понять, жарким ли будет день. Надо только выйти за порог, вздохнуть поглубже — и запах из выгребных ям сразу все расскажет. Тот день обещал быть очень жарким. Я вернулась в дом, взяла оставленный мне на обед ломоть хлеба и завернула его в носовой платок. Вообще-то я не собиралась уходить, но тут меня охватило какое-то беспокойство: все-таки лето, чего сидеть в четырех стенах, да еще тарантулы обязательно повывлезают из своих норок вместе с детенышами.

И я решила отправиться в тот конец Полудино, где протекал маленький ручеек. Весной, после таяния снегов, он превращался в бурный поток, а летом бежал тихо и спокойно. Приятно будет снять ботинки и остудить ноги в прохладной воде.

Но ручейка как не бывало. На его месте осталась лишь канава, затянута растрескавшейся грязью. Я уселась под полузасохшим деревом, которое почти не защищало от палящих лучей солнца, и стала думать о Рексе. Что он делает в лесу? Есть ли у него там друзья? А вдруг в лесу живут его родственники-волки, он навещает их и рассказывает о нас?

От жары клонило ко сну. Помню, я подумала о Москве. Мама рассказывала нам о ней, и я представила себе высокие дома, похожие на замки из тех сказок, которые рассказывала мне мама, и много-много ярких, разноцветных огней. Подумать только, что такое бывает! Я заснула.

Когда я проснулась, солнце стояло высоко в небе, паля нещадным зноем. Я съела ломоть хлеба и по пыльной, грязной дороге отправилась в обратный путь.

Не доходя немного до дому, я услышала позади себя топот ног и, обернувшись, увидела трех мальчишек и одну девочку с комками грязи в руках. Я бросилась бежать.

— Дура! — крикнул мне вслед один из мальчишек. Остальные подхватили. — Вражина! Подонок!

Большой комок грязи ударил мне в спину. Глаза застилали слезы. С трудом разбирая дорогу, я попала ногой в глубокую колею и споткнулась. Над головой, едва не задев ее, пролетел еще один ком грязи. Я была совсем еще маленькая, мне трудно было убежать от них.

Я свернула с дороги и помчалась к дому. И вдруг почувствовала, что поскользнулась. Вытянув вперед руки, я попыталась удержаться, но не смогла. По зловонию я поняла, что падаю в выгребную яму. Я закричала и провалилась в теплую омерзительную жижу.

Постепенно я все глубже погружалась в мерзкую грязь — она уже доставала до груди. Я не чувствовала твердой почвы под ногами и чем сильнее барахталась, пытаясь выбраться на поверхность, тем быстрее погружалась вниз.

Я услышала, как где-то рядом хлопнула дверь и кто-то кого-то позвал. Я продолжала кричать, но перестала барахтаться, чтобы меня лучше было видно тем, кто придет мне на помощь.



Но никто не шел. Улица оставалась пустынной. В ужасе я переводила взгляд с одного дома на другой, но видела только плотно занавешенные окна. В одном из окон занавеска чуть отодвинулась, я знала, что за ней стоят люди и смотрят, как я тону. В другом доме чуть приотворилась дверь, и я поняла, что оттуда за мной наблюдает еще пара глаз.

— Помогите! Помогите! — орала я. — Пожалуйста, помогите!

Но куда я ни смотрела, мой взгляд наткнулся на пустоту. И вдруг я разглядела коричневое пятно, стремительно несущееся по степи. Рекс! Не знаю, почему он решил именно в тот единственный день пораньше вернуться домой. Не мои же вопли были тому причиной. Лес слишком далеко, крик ребенка там уж не был слышен.

Он обежал вокруг ямы, продолжая лаять, словно призывая меня придвинуться к нему. Потом припал всем телом к земле и медленно пополз к яме. Липкая жижа уже подступала к ключице. С трудом мне удалось высвободить руку, и я протянула ее собаке. Это движение еще глубже затянуло меня — жижа доходила уже до подбородка.

Я вытянула руку как только могла. Бесперывно лая, Рекс продвинулся еще на несколько сантиметров и дополз уже до самой грязи. Я ощутила его дыхание на кончиках пальцев. Вот он продвинулся еще чуть-чуть и вцепился зубами в рукав моего платья. Потом стал тянуть. Я почувствовала, что поднимаюсь кверху, еле-еле, понемногу, всего на несколько сантиметров.

Он вытянул меня еще на несколько сантиметров, а я при этом каждую секунду ждала, что рукав вот-вот лопнет и меня вновь затянет в глубину или же под тяжестью моего веса Рекс сам свалится в яму и погибнет вместе со мной.

Но это был день чудес. Тонкий материал выдержал, не разорвался, а сама я, неожиданно для себя высвободив вторую руку, рванулась вперед и почувствовала пальцами мокрую, но твердую землю. Громко рыча, Рекс тянул меня за рукав и, напряжившись всем телом, я выбралась из ямы.

В тот вечер Рекс получил полную миску картофельного супа. А он, уже привыкнув к тому, что дома его не кормят, долго переводил растерянный взгляд с одного на другого и только потом решился подойти к миске.

История эта имела счастливый конец для меня, но не для Рекса. Прошло чуть меньше месяца, и вот однажды Рекс не вернулся после ежедневной прогулки в лес. Я звала его, звала, а потом отправилась на поиски, в твердой уверенности, что он где-то рядом — либо нашел кость, либо поймал какую-нибудь мелкую живность. Я отыскала его всего в трех-четырех домах от нас, он лежал на обочине дороги, умирая мучительной смертью. Рядом валялся полусъеденный кусок мяса, а он бился в собственной блевотине. Кто-то подкинул ему отравленное мясо. Я в отчаянии оглядывалась по сторонам, надеясь на чью-нибудь помощь, но улица была пуста, а двери всех домов для меня были наглухо закрыты.

Я решила бежать на работу к маме. Она обязательно что-нибудь сделает. Но не успела. Рекс внезапно затих. Он умер.

Еще один летний день, вечерет. Больше всего я любила лето за то, что могла не сидеть целыми днями одна. Нине не нужно ходить в школу, и она остается со мной. Нина не только моя сестра, она мой единственный друг на всем белом свете. Юру я не считала своим другом: он на десять лет старше, и к тому же он — мальчик. Он, конечно же, мой брат, и

все же существо совсем другой породы, он такой замечательный, что мне трудно определиться в своих чувствах к нему. А если бы и определилась, это мало что меняло, потому что в глазах Юры я оставалась маленькой девочкой, ребенком, которому положено уделять внимание только в свободное от других дел время.

Как-то мы сидели с Ниной на крошечной лужайке перед нашим домом и ели «катышки» — так мы прозвали семена полевых цветов, которые собирали и поедали в больших количествах, воображая при этом, что принимаем гостей в нашем московском доме и угощаем этим лакомством самых именитых из них. Семена были горьковатые на вкус, но мы все равно их ели. Более удачной игрушки, чем эти семена, было не придумать, и более удачной игры из «катышков» — тоже. Она как нельзя лучше помогала скоротать время до прихода мамы.

Грязная улица, шедшая через все Полудино, была пустынна. Женщины уже вернулись с работы домой и готовили ужин. Полуденный зной миновал, в воздухе повеяло легким предвечерним ветерком.

Вдруг мы услышали шум мотора. Когда в Полудино раздавался звук приближающегося автомобиля, все настораживались: машины там были большой редкостью. Те немногие, что появлялись, принадлежали в основном местному начальству и милицейским чинам, главным образом сотрудникам НКВД. Поднимая клубы пыли, к нам приближался джип.

К нашему изумлению, джип остановился возле нас и из него вышли двое — казах и русский, оба в штатском. Улыбаясь, мужчины подошли к нам.

— Здравствуйте, девочки, — сказал один.

Онемев от потрясения, мы кивнули. Мы не выкли, чтобы к нам обращались незнакомые люди, а тем более так по-дружески.

Другой сказал:

— Мы только что видели вашу маму. Она просила передать, что задержится на работе и чтобы вы не беспокоились.

Мы снова кивнули. Первый уселся перед нами на корточки и сказал:

— Вы когда-нибудь катались на машине? Хотите прокатиться?

Словно небеса разверзлись и сам Господь Бог улыбнулся нам с высот своих! Прокатиться в настоящем автомобиле! Мы с Ниной вскочили и пулей бросились к машине. Только бы они не передумали. Нина залезла в машину самостоятельно, для меня же подножка оказалась слишком высокой. Один из них приподнял меня и усадил на боковое сиденье, рядом с Ниной.

Казах сел за руль, русский уселся на мягкое сиденье рядом с ним, и мы тронулись.

Джип ехал по изрезанной колеями деревенской улице, и с моего высокого сиденья все представлялось совсем не таким, как обычно. Каждому встречному мы кричали, размахивая руками, только бы нас увидели в машине!

Все было нам в диковинку: и клубы пыли, закрывавшие от нас деревню, и приятное ощущение ветерка, треплющего платье и косички. Мы миновали два магазина, своеобразный торговый центр Полудино, еще немного, и дома остались позади.

— Настоящее путешествие! — хихикнула я.

Нина согласно кивнула:

— Это уже конец деревни. Сейчас они повернут назад.

Но они не повернули. Машина уже мчалась по голой степи, трясясь и подсакивая на ухабах. Оглянувшись назад, мы разглядели далеко позади крохотные пятнышки последних деревенских домов. Кругом высились заросли полыни, перемежавшиеся

яркими прогалинами желтых полевых цветов. Машина не снижала скорости. Нас охватил страх.

— Куда мы едем? — спросила Нина. — Может, лучше вернемся?

Водитель даже не повернул головы. Солнце уже стало темно-красным, облака окрасились в предзакатные тона. Мы прижались друг к другу, словно ища защиты.

Внезапно, без всякого предупреждения, джип съехал с дороги и помчался по высокой траве. Чтобы не упасть, мы ухватились за спинку переднего сиденья. Вдруг джип остановился, русский вышел из машины. И прежде чем мы осознали, что произошло, он выкинул нас из машины в траву выше нашей головы. И залез обратно в джип.

— Хорошо прокатились? Ну, до свиданья.

Мы не произнесли ни слова. Только молча смотрели, как казах крутанул руль, дернул какую-то палку и машина в считанные секунды исчезла из виду. Мы остались одни, две маленькие глупенькие девочки, которые напрочь забыли о том, что наказывала им мама и как велела себя вести с незнакомыми людьми. И все ради того, чтобы прокатиться в автомобиле!

Кругом царила тишина, только трава шелестела на ветру. Шум мотора замер где-то вдалеке. Мы остались одни, и вот-вот должна была наступить ночь. Нину охватил ужас.

— Что нам делать? Куда идти? Где наша деревня?

Она была старше меня на пять лет и обращалась ко мне за советом. Я попыталась собраться с мыслями. Должен же быть какой-то выход, но какой? И тут меня осенило.

— Надо идти по следу, который оставила в траве машина. Он выведет нас на дорогу.

И мы пошли. Казалось, желто-зеленой стене

никогда не будет конца, а вокруг меж тем сгущались сумерки. Мы не говорили о них, но у нас обеих из головы не выходили волки. Каждую ночь мы слышали их вой, а по деревне ходило столько рассказов о том, как обезумевшие от голода волки врывались через окна в избы, хватали детей и утаскивали их в лес, что многие устанавливали на окна железные и деревянные решетки. И вот мы оказались здесь совсем одни, и даже если бежать бегом, волки все равно учуют нас и настигнут задолго до того, как мы доберемся до деревни.

Мы шли, не переставая плакать, а Нина еще и причитала: «Мамочка! Помоги нам, мама!», как вдруг мы оказались на проселке. Слезы тут же прекратились. Однако, обернувшись в ту сторону, откуда мы, как помнилось, приехали, мы не увидели никаких признаков деревни.

Мы снова разревелись. Откуда-то издалека донесся вой волка. Схватившись за руки, мы бросились бежать.

Вдруг где-то впереди раздался слабый урчащий звук. Поначалу ничего не было видно, потом появилось облако пыли, потом джип. Он ехал обратно.

В нем сидели те же двое мужчин, но на сей раз они не улыбались. Казах вдавил ногу в тормозную педаль, и джип остановился перед нами как вкопанный.

— Залезайте! — скомандовал русский.

Мы забрались в машину, и в ту же секунду джип развернулся. Я сильно ударилась плечом о спинку переднего сиденья, но даже не почувствовала боли. Мы спасены.

И лишь спустя довольно много времени я задумалась о случившемся и о тех двух мужчинах. Почему они забрали нас с собой и почему вернулись за нами? Сначала я своим детским умом решила, что

все это была игра, просто они захотели нас попу- гать. Повзрослев немного, я пришла к выводу, что, действуя на свой собственный страх и риск, они в качестве общественной нагрузки решили освободить страну от двух ее врагов. Но потом испугались, что их могут привлечь к ответственности за содеянное. Отделаться от нас — благородный поступок, но прика- за-то на это им никто не давал, а потому их благо- родный поступок могли посчитать преступлением. Не могу поклясться, что так оно и было на самом деле, но это объяснение представляется мне един- ственным, в чем есть хоть капля логики.

Когда мы рассказали обо всем маме, лицо ее побелело. Я ожидала, что она тут же кинется в ми- лицию и потребует задержать и наказать обоих, но наказание ожидало нас с Ниной.

Сначала мама как следует нас отшлепала, а по- том прижала к себе, и мы все трое дружно разреве- лись. Она взяла с нас клятву, что мы никогда, ни с кем, никуда не поедем, даже если за нами прилетит самолет или приедет поезд.

Кульминационный пункт нашей жизни в Полу- дино наступил однажды утром, которое началось точно так же, как любой другой день. Мама ушла на работу, Юра занялся своими ежедневными физкуль- турными упражнениями. Я, как обычно, смотрела, как он, пыхтя, весь в поту, снова и снова поднимает самодельную штангу — тяжеленный чугунный утюг. Однажды я спросила, зачем он этим занимается, если, судя по издаваемым им звукам, упражнения даются ему таким мучительным трудом. Он рассмеялся.

— Малышка, чтобы выжить, надо быть силь- ным. Нам всем надо быть сильными, а мне, един- ственному в семье мужчине, надо быть еще силь- нее. Понимаешь?

Я кивнула, хотя на самом деле ничего не поняла. Хватит с меня и того, что Юра каждое утро будет выполнять эти тяжкие упражнения, а я буду с удовольствием смотреть, как он это делает.

Но в тот день я сказала Юре:

— Я тоже хочу их делать.

Он улыбнулся:

— Они слишком трудные для тебя.

Я тряхнула головой:

— Ты сказал, нам всем надо быть сильными. Я тоже хочу стать сильной.

Иногда я бывала ужасно упрямой. В конце концов Юра сдался, поставив передо мной штангу.

— Попробуй. Но если не сможешь поднять, сдавайся сразу — до того, как что-нибудь повредишь.

При моем упрямстве одного намека, что я не смогу выполнить то, что под силу моему кумиру, Юре, было достаточно. Я преисполнилась решимости справиться со штангой, только бы доказать Юре, что могу это сделать.

Я ухватила за ручку утюга и присела перед ним на корточки, как это делал мой брат. Затем, собрав все силы, и впрямь подняла его на несколько сантиметров; но когда, пытаясь поднять его еще выше, я хотела чуть крепче обхватить ручку, утюг выскользнул из моих вспотевших ладоней и рухнул вниз прямо на дырчатый носок моего полуботинка. Я заорала от боли.

— Все в порядке? Сядь-ка! — бросился ко мне Юра.

Я почувствовала, как распухает большой палец, и когда Юра попытался снять полуботинок с ноги, завопила как резаная. А уж когда я увидела кровь, сочившуюся сквозь дырочки в носке, вопли перешли в настоящую истерику.

Юра вскочил:



— Вика, сиди на месте. Не двигайся. А я побегу за мамой.

Казалось, прошли часы, прежде чем он вернулся с мамой, хотя, скорее всего, на это ушло минут пятнадцать, не больше. Бросив взгляд на полуботинок, мама велела Юре взять меня на руки. Он поднял меня, и вместе с мамой они потащили меня в местную больницу в ту пору это был маленький домик, где работали врач и две медсестры.

На крики мамы о помощи к нам вышел врач — невысокая женщина с пучком каштановых с проседью волос.

— Перестаньте орать, женщина, — слегка скривив рот, обратилась она к маме. — Это же больница.

Как мне ни было больно, я испугалась. А мама нет.

— У ребенка тяжелая травма. Окажите ей помощь. Врачиха мельком взглянула на мою ногу:

— Мало-помалу кровь остановится, ребенок будет жить.

Мама подошла к ней вплотную:

— Вы окажете ей помощь, и немедленно, не то я сообщу о вас куда надо. И вы, и вся деревня в курсе, что НКВД проявляет особый интерес к моей семье. Они хорошо знают меня, а потому прислушаются к моим словам.

Мамина речь произвела должное впечатление. Врачиха позвала медсестру, и та объяснила Юре, в какой кабинет меня отнести. Дав мне какое-то болеутоляющее, врачиха разрежала полуботинок. Большой палец распух до невероятных размеров. Он был раздроблен. Врачиха наложила на него лубок, накрепко забинтовала и сказала маме, что на заживление потребуется какое-то время, но с пальцем все будет в порядке.

Юра отнес меня домой.

Этот инцидент стал решающим для мамы. Все! От Полудино, где все обращаются с ней как с отверженной, она получила свое сполна. Уложив меня в постель, она велела Юре оставаться со мной до ее возвращения.

Вечером мама рассказала нам, что предприняла. Она направилась напрямик в кабинет того человека, у которого ей дважды в неделю полагалось отмечаться.

— С меня достаточно, — решительно заявила она. — Более чем достаточно.

И все ему выложила. И про то, что произошло в больнице, и про двух мужчин в джипе, и как я чуть не утонула, и как отравили Рекса. Мужчина не проронил ни звука, к тому же, по маминым словам, она и не дала ему такой возможности. Свою речь она закончила так:

— Если ваши люди посчитали разумным арестовывать моих двух сестер невесть за что, это одно дело. Наказывать меня — тоже ваше дело. Но я не потерплю, чтобы страдали невинные дети.

К великому ее удивлению, чиновник с ней согласился и пообещал что-нибудь предпринять, правда, не сразу, а спустя какое-то время. При этом взял с нее слово никому обо всем этом не рассказывать, иначе он лишится работы.

— Представляете! — сказала мама. — Какой оказался добрый! — в ее глазах стояли слезы, впервые на моей памяти.

Через месяц с небольшим мы получили разрешение перебраться в Петропавловск. Когда мама сообщила нам эту вест, я запрыгала от радости.

— Я еду в Петропавловск! Я еду в Петропавловск! — выкрикивала я. Я была весьма эмоциональным ребенком.

Конечно же, я не имела ни малейшего представления, где находится Петропавловск.

— Он ближе к Москве, чем Полудино? — спросила я.

— Настолечко ближе, — ответила мама, сводя большой и указательный пальцы.

— А из Петропавловска видно Москву? — не унималась я.

Она рассмеялась:

— Нет, даже если у тебя будут самые-самые огромные глаза в мире. Он тоже в Казахстане и стоит на реке, которая называется Ишим. Транссибирская железная дорога пересекает эту реку как раз в Петропавловске. Вот это ты увидишь.

Я искренне верила, что Петропавловск будет похож на ту Москву, какой описывала ее мама. Все оказалось не так, хотя он и был в десять раз больше деревни Полудино. Дома, в основном деревянные, были, за редким исключением, не выше одного этажа. Дороги немощеные, но по одной из них довольно часто проезжали машины. Несколько фабрик нещадно выбрасывали в небо клубы дыма. В городе было даже несколько кинотеатров, хотя никто из нас туда не ходил из-за постоянной нехватки денег.

С того самого момента, как я увидела Петропавловск, я все время ждала перемен. Мама сказала, что я пойду в детский сад, а это значило, что я встречу с детьми моего возраста. У меня появятся друзья.

Мама сняла для нас комнату в доме, хозяйкой которого была пышногрудая женщина по имени Олимпиада, любившая свой дом и свои вещи куда больше, чем кого-либо из жильцов, которым сдавала шесть комнат. Но меньше всего она любила детей. Если я начинала прыгать в коридоре, она испепеляла меня свирепыми взглядами и совершенно не терпела, когда мне случалось дотронуться рукой до стен.

Из мебели в нашем распоряжении по-прежнему, как и в Полудино, были две кровати, два стола и четыре стула. За тем столом, что побольше, мы ели, а у моего стула не хватало одной ножки, и вместо нее мы подложили под стул ящик. На всех была одна общая кухня, где все жильцы норовили готовить еду в одно и то же время. Туалет, конечно же, находился во дворе.

Жизнь наша по-прежнему была трудной. Мама снова стала работать бухгалтером, с девяти утра до семи вечера, шесть дней в неделю, и даже больше, если удавалось получить сверхурочную работу. У меня остались весьма смутные представления о ценах той поры, но кое-что я помню. Мама получала семьсот рублей в месяц, а комната стоила двести пятьдесят. Таким образом, на расходы для семьи из четырех человек оставалось четыреста пятьдесят рублей. Помню, килограмм масла на базаре, где торговали колхозники, стоил пятьдесят рублей. Излишне говорить, что масла и мяса на нашем столе никогда не было.

Но случалось нам иногда и роскошествовать. Однажды мама купила нам немного сушеных груш. С виду они были черные и сморщенные, но на вкус оказались просто замечательными. А по воскресеньям мы всегда пили молоко. Мама шла на рынок и покупала у колхозников молоко, замороженное в суповых тарелках. Тарелку опрокидывали на деревянный прилавок, и из нее вываливалось молоко. Мама всегда выбирала тарелку побольше, чтобы хоть раз в неделю у нас была молочная пища. А еще она покупала немного сахара, мы посыпали им черный хлеб. Получалось пирожное.

Но самой большой радостью были леденцы. Дважды в месяц мама доставала с полки кулек с леденцами и выдавала каждому из нас по одному. День

превращался в праздник. Леденцы были почти безвкусные, разве что чуть-чуть сладковатые, но я их обожала. Осторожно, словно драгоценность, я засовывала леденец в рот, стараясь как можно медленнее сосать его, чтобы продлить удовольствие.

Когда конфета кончалась, мы никогда не кланчили другой. Мы терпеливо ждали, считая дни, когда снова наступит счастливый момент. Мы вообще никогда ничего не просили у мамы, хотя всегда были голодны. Даже корочки хлеба. Однажды мама собрала нас всех троих вместе. Мы только-только отужинали. На ужин был суп горячая вода с едва уловимым привкусом капусты, без хлеба.

— Мне очень жаль, — сказала мама, — но хлеба осталось всего лишь на завтрак. Если я отдам вам его сейчас, утром есть будет нечего.

Никто из нас не проронил ни слова. Мама поглядела каждому в глаза.

— Мне очень жаль, — повторила она. — Будь это в моих силах, я бы дала вам на обед все самые вкусные вещи в мире, но я не могу это сделать, а потому ничего у меня не просите. Вы представляете, каково мне постоянно видеть шесть голодных глаз?

Мы хорошо запомнили те ее слова и никогда ни о чем не просили.

И все же однажды я забралась на стул и, достав мамин кулек с леденцами, взяла оттуда три леденца, чтобы угостить трех ребят, игравших на улице перед домом Олимпиады. Я понимала, что поступаю плохо, но думала, что, получив конфеты, они согласятся поиграть со мной. Но из этого ничего не вышло. Схватив леденцы, они убежали, а мне здорово попало, когда мама вернулась с работы домой.

Первый день в детском саду я очень волновалась. Там было так много детей, наконец-то у меня

появятся друзья. В конце дня я подошла к группе девочек, которые о чем-то болтали, весело хихикая. Я еще не успела сказать им, как меня зовут, как одна из них бросила на меня сердитый взгляд.

— Пошла отсюда, супостатка идиотская.

И, показав мне язык, они убежали. Всю дорогу домой я проревела.

Петропавловск ничуть не лучше Полудино. У Юры и Нины есть друзья, у мамы тоже, потому что они старше. Им ничего не стоит найти в Петропавловске других «врагов народа», положение которых ничем не отличалось от нашего. Но мне запрещалось гулять одной. Мой мир ограничивался дорогой в детский сад и домой.

Уж не знаю, как мама прознала про мое одиночество, ведь она целыми днями пропадала на работе. Но только этим я объясняю ее решение послать меня в Москву погостить у тети Клавды и дяди Ивана Григорьевича. Мама приходилась им двоюродной сестрой. У них было двое детей, Игорь и Люся, оба старше меня.

Каким-то образом мама раздобыла мне денег на дорогу. Я отправилась одна, мне предстояло проехать чуть больше четырех тысяч километров — три дня и три ночи в пути. С собой у меня были бумажный пакет с едой и две смены белья. На мне было мое единственное платье.

Мне было нисколько не страшно. Наконец-то я увижу Москву, к тому же, когда ребенок долгое время остается один на один с самим собой, он становится либо очень застенчивым, либо очень самостоятельным. Я стала самостоятельной. Мне было пять лет, я была слишком мала, чтобы властей так уж сильно заботило, нахожусь ли я на месте своей ссылки, но уже достаточно большая для того, чтобы проехать через всю Россию.

Тогда-то в Москве я впервые и узнала о существовании моей родной матери, хотя в то время ничего толком не поняла.

В шестикомнатной квартире моих московских родственников проживало шесть семей, по семье на комнату. Ванная, коридор и кухня были коммунальными. Комнату рядом с ванной занимал сумасшедший.

Это слово полностью соответствовало истине. Горбунов действительно был сумасшедшим, и со временем его судьбу повторила и его жена. Он жил взаперти в своей комнате, заклеив окна газетами, дабы защититься от людей, которые, по его глубокому убеждению, только и думали, как бы отравить его. Каждый день в обеденное время он выходил из комнаты, и мы смотрели, как он стоит у плиты и поджаривает на огне нанизанные на палочку куски хлеба, чтобы удалить из них яд. Каждое утро он вставал в пять часов, завязывал вокруг талии жены поводок и вел ее на прогулку. Она, казалось, не возражала, а когда окончательно сошла с ума, стала спать, словно верная собака, под его кроватью.

По какой-то причине Горбунов возлюбил меня с самой первой минуты, как я приехала. Заслышав мои шаги, он часто выходил из комнаты, гладил меня по голове и предупреждал, что не следует есть отравленную пищу. Бывало, он широко раскидывал в стороны руки и принимался кричать, что советские руководители — ужасные люди. Все тут же прятались по своим комнатам в страхе, что их арестуют. Но все как-то обходилось.

Больше всего поразила мое воображение ванная. В Казахстане мы брали мыло, шайки и отправлялись мыться в общественную баню. Единственно, чем она мне нравилась, так это тем, что туда можно было ходить не очень часто. Но когда ванная у тебя

прямо под боком, считается, что мыться надо каждую неделю. Тетя Клава особенно настаивала на этом. А я как могла сопротивлялась.

Один раз я ее даже укусила. И сама же со страху завопила. Услышав мой крик, Горбунов выскочил из комнаты в коридор и заорал:

— Этот ребенок — жертва, ее пытаются убить! Они уже убили ее мать! Теперь они хотят убить дитя!

Выскочивший в коридор дядя Иван потребовал от Горбунова немедленно заткнуться. Слова Горбунова ничего для меня не значили. Я знала, что он сумасшедший и что мама, живая и здоровая, поджидает меня в Петропавловске.

В нише, где я спала, на стене висела фотография светловолосой красивой женщины. Это была моя настоящая мать, но я этого не знала. Я знала только, что мне нравится ее лицо. Однажды я спросила тетю Клаву, чья это фотография. Печально улыбнувшись, она ответила:

— Это фотография одной хорошей актрисы, вот и все.

Как-то днем моя двоюродная сестра Люся предложила:

— Пойдем погуляем. Я тебе что-то покажу.

Мы вышли на шумную улицу и прошли несколько кварталов в сторону Арбата. Люся остановилась перед каким-то кинотеатром. На нем висела афиша, а на афише была нарисована та же красивая женщина, фотография которой висела на стене у тети Клавы. Засмеявшись, Люся сказала:

— Вот твоя мама.

Что-то произошло со мной тогда. Может, потому, что я очень скучала по маме — ведь каждый вечер, когда тетя Клава укладывала меня спать, я засыпала в слезах. Как бы то ни было, я стала оглядываться по сторонам в поисках мамы, обежала всё



фойе, заглядывая в лица женщин. Ни в одной из них я не признала маму, но ведь сказала же Люся, что она тут. Истерически рыдая, я выскочила на улицу и бросилась бежать, расталкивая встречных прохожих. Я бежала, пока не выбилась из сил. Люся нашла меня на тротуаре возле стены какого-то дома.

И что-то еще произошло со мной в тот день. Ни с того ни с сего меня стала пугать моя собственная тень. Она стала чем-то или кем-то, кто следовал за мной по пятам. Всю дорогу домой я не выпускала Люсиной руки, не хотела идти по освещенной солнцем стороне, чтобы не увидеть своей тени. С того дня я вообще стала избегать солнечного света. Это мое легкое помешательство длилось до тех пор, пока я не вернулась к маме в Петропавловск.

Все оставшиеся дни, которые я прожила у тети Клавы и дяди Ивана, я внимательно разглядывала фотографию красивой женщины на стене. Что-то в ее лице притягивало меня, но что именно, этого я понять не могла.

Когда пришло время возвращаться к маме, все четыре члена моей московской семьи отправились провожать меня на вокзал. Теперь у меня с собой был другой бумажный пакет с едой на дорогу. И еще два платья, из которых выросла Люся, и зимнее пальто. Но главное — у меня была первая в моей жизни кукла — подарок тети Клавы и дяди Ивана. Тряпичная кукла с раскрашенным лицом и в коротеньком платьице, которое легко снималось и снова надевалось.

Всю дорогу до Петропавловска я не выпускала из рук куклу, которую назвала Таней. Таня была для меня больше чем кукла. Она была моим другом.

Я так привязалась к Тане, что не могла и помыслить о том, чтобы делить ее с кем-то другим. Это была первая в моей жизни вещь, принадлежавшая

лично мне. Я знала, что, как только войду с ней в нашу комнату, с ней захочет поиграть Нина — сама мысль об этом была невыносима.

Как только мы пришли с вокзала домой, я прошмыгнула с Таней во двор, где каждая семья держала свою поленницу. Раздвинув немного дрова, я засунула Таню вглубь. И ни разу не вытасила ее оттуда. Пусть лучше останется там, чем кто-то узнает, что она у меня есть.

На мое горе, до неузнаваемости испорченную дождем и снегом куклу однажды обнаружила мама. Так я была наказана за свой эгоизм.

Со временем мы съехали от Олимпиады. Маме надоело постоянно слышать одно и то же: «Это мой дом», «Тут я хозяйка» и терпеть всевозможные придирки. Мы сняли комнату в доме, принадлежавшем женщине по фамилии Шапошникова. Она была совсем не такая, как Олимпиада. Мягкая и приветливая, она сделала все, чтобы мы почувствовали себя у нее как дома.

Наверно, я так хорошо запомнила ее, потому что изголодалась по ласке и участию. У меня до сих пор не изгладился из памяти один день в детском саду, когда мальчик из нашей группы порезал себе игрушкой палец. Он расплакался, и воспитательница обняла его. Я смотрела, как она повела его в медпункт, потом он вернулся, палец был завязан бинтом, а воспитательница весь день не отходила от него. Я не спускала с мальчика завистливых глаз, мысленно говоря себе, что, если бы я была на его месте и со мной обращались так же ласково, я бы с готовностью отдала за это свой палец целиком.

То, на что я решилась после этого, представляется мне сегодня чистым безумием. Когда нас вывели на прогулку, я побежала в соседний скверик, который пересекала усыпанная галькой дорожка.

Сбросив ботинки, я стала бегать туда-сюда по дорожке, надеясь поранить ноги — воспитательница увидит кровь и бросится обнимать меня. Но из моей затеи ничего не получилось.

Тогда я нашла тонкий острый камешек и, подцепив им ноготь большого пальца, сорвала его. От дикой боли у меня перехватило дыхание, из пальца пошла кровь. Ту же операцию я проделала и с большим пальцем на другой ноге. Чуть живая от боли, я заковыляла обратно в детский сад.

— Помогите мне, пожалуйста, — попросила я воспитательницу. — Пожалейте меня.

Боль была чудовищная, но она стояла того. Вот сейчас меня обнимут и приласкают, однако во взгляде воспитательницы мелькнуло бешенство.

— Тебе место в сумасшедшем доме! — завопила она с искаженным от ярости лицом. — Зачем ты это сделала?

Я разрыдалась:

— Мне больно. Пожалуйста! Я нечаянно!

— Если бы хоть один палец, но два пальца на двух ногах — никогда не поверю. Останешься на всю жизнь калекой — так тебе и надо.

— Помогите! — молила я.

Воспитательница пожала плечами.

— Сестра из медпункта уже ушла. Так что помочь тебе некому. Иди домой.

В комнату вошла другая воспитательница.

— Что случилось? — спросила она.

Моя воспитательница показала на мои ноги:

— Можешь себе представить, что она натворила?

Вторая воспитательница оказалась чуть добрее.

— Не надо кричать на нее. Ведь у нее нет ни матери, ни отца. Кто ее научит?

Я посмотрела на свою воспитательницу. На какое-то мгновение я даже забыла о боли.

— Что вы сказали? У меня есть мама, самая лучшая мама в мире!

Воспитательница улыбнулась:

— Вот и иди домой к своей маме, пусть порадуется на тебя.

Превозмогая боль, я доковыляла до дома. Несколько дней я не могла надеть ботинки, поэтому о посещении детского сада не могло быть и речи. Когда мама спросила, почему я учинила такой кошмар, я не ответила. Могла ли я обидеть ее, сказав, что мне не хватает внимания и ласки?

Тогда мама спросила, нравится ли мне в детском саду. Я опустила голову.

— Скажи «да» или «нет», Вика. Ведь за него надо платить.

Я сказала «нет». Мама кивнула.

— Значит, больше ты туда не пойдешь. До семи лет просидишь дома, а потом поступишь в школу.

Я вздохнула с облегчением. Лучше быть одной, чем вызывать у кого-то ненависть к себе.

В то лето мне пошел шестой год и моим миром стал сараюшка за нашим домом. В нем была деревянная дверь с крошечным оконцем, а в самом низу двери была вырезана дыра для шапошниковского серого кота, который делил со мной сараюшку.

Летом в сараюшке было нестерпимо жарко, но мне это не мешало. Я закрывала дверь и оказывалась в своем маленьком мире, где меня никто не мог обидеть или сказать грубое слово. Здесь царила доброта, здесь все меня любили.

Моей любимой игрушкой в сарае стало старое железное корыто. Я приносила холодной воды и выливала ее в корыто. Потом раздевалась и плюхалась в воду. Я воображала, что плыву на корабле по реке и если буду изо всех сил грести руками, то обогну весь земной шар. Я побывала в Африке и во всех

тех удивительных странах, о которых Нина и Юра рассказывали мне после школьных занятий. В сараюшке всегда было темным-темно, только тоненький лучик света пробивался через дверное оконце после полудня. Темные очертания пыльной ружьяди, хранившейся в шапошниковском сарае, превращались по моему велению во все, что угодно: от высоких зданий до хижин в джунглях.

В этом моем тайном мирке я всегда была королевой. Иногда королева подвергалась опасности (ее, правда, всегда спасали любящие придворные), но чаще она плыла на прекрасном корабле в прекрасную страну, где все было к ней добры.

Наступила осень, и Нина с Юрой пошли в школу. Играть в сарае стало холодно. И снова жизнь сделалась для меня скучной и одинокой.

И вдруг в один прекрасный день все переменялось. Одна из моих фантазий стала явью. Произошло это около четырех часов дня. Приближались сумерки. Я сидела на лавочке на улице неподалеку от нашего дома, поджидая Нину и Юру из школы. И вдруг увидела: идет по улице женщина. Даже издали в ней было что-то необычное. Высокого роста, шагает широко, осанка прямо-таки царственная. На голове платок, как и у всех других женщин, но лицо излучает какой-то свет, отчего выделяется в толпе серых, запуганных жителей Петропавловска. Никогда я не видела еще такой красавицы.

А когда она подошла ближе и я разглядела ее пальто, у меня даже дух захватило. Вот кто настоящая королева, та самая, которую я лишь изображала в своем кораблике-корыте. Пальто было сшито из дорогой темной материи, а высоко поднятый воротник, касавшийся лица, был из меха — лишь позднее я узнала, что это чернобурка. Никогда прежде мне не приходилось видеть женщин, одетых в меха.

Я тут же влюбилась в нее. Раз у нее такое пальто, значит, она наверняка самая богатая женщина в мире. И конечно же, самая красивая. И несомненно, самая счастливая — проходя мимо, она чему-то радостно улыбалась. Только бы она увидела меня, а может, она даже остановится и поговорит со мной. Но она прошла мимо, даже не заметив меня.

Это стало для меня ритуалом. Каждый день в четыре часа пополудни я усаживалась на ту самую лавочку, мимо которой проходила женщина. Мне просто необходимо было видеть ее. Дни наполнились особым смыслом. Знать, что на том же свете, что и я, живет женщина, такая богатая и прекрасная, к тому же еще и счастливая — от одного этого жизнь уже не казалась такой беспроблемной.

Все мои планы вертелись теперь вокруг четырех часов. Мне было только шесть лет, и я, единственная из всей семьи, не ходила в школу и на работу, поэтому на мне лежали все заботы по дому. Убрать комнату, помыть полы, принести на вечер дрова, сготовить щи и сварить картошку — все это входило в мои обязанности, и все это надо было успеть сделать, а потом надеть пальто, сесть на лавочку и ждать, когда мимо прошествует прекрасная незнакомка.

Каждый день я гадала, откуда и куда она идет. Поскольку она ежедневно появлялась в одно и то же время, вероятнее всего, она шла с работы. Но такой вариант я решительнейшим образом отвергла. Это моя мама работает, а между моей мамой и этой чудесной женщиной — ничего общего.

Когда я сейчас спрашиваю себя, что олицетворяла для меня та женщина в пальто с меховым воротником, я нахожу только один ответ: красоту. Что-то, что я видела только в ней, и чего мне, очевидно, очень не хватало.

Но однажды она не пришла. Где она? Может, успела пройти до моего прихода? Я вглядывалась в лица прохожих, но тщетно, ее не было. Тогда я взобралась на скамейку, чтобы лучше видеть. Встала на цыпочки, поскользнулась и шлепнулась в лужу. Когда я поднялась, пальто было страшно испачкано. Я разревелась. Мама ужасно рассердится.

И вдруг рядом откуда ни возьмись — прекрасная незнакомка. И она смотрит на меня.

— Что с тобой случилось, малышка?

— Я смотрела вас и свалилась в лужу, — ответила я.

— Что значит «смотрела меня»? — голос звучал ласково и участливо, она и правда была очень красивая.

— Я поджидаю вас тут каждый день. Просто чтобы увидеть, — проговорила я сквозь слезы. — Я испачкала пальто, мама будет очень ругаться.

Она вытащила платок и вытерла мне лицо.

— Не плачь. Я скажу твоей маме, что это вышло нечаянно и ты ни в чем не виновата. Уверена, она все поймет. И почистит пальто. Но, — продолжала она, — перестань ждать меня. Становится все холодней. И к тому же я больше не буду ходить этой дорогой.

У меня упало сердце.

— Почему?

— Потому что у меня скоро будет ребенок и мне придется сидеть дома. Понимаешь?

Я кивнула, хотя ничего не поняла. Почему, чтобы иметь ребенка, надо сидеть дома? И почему бы ей не выходить раз в день из дому, чтобы я могла повидать ее? Я исполнилась ненависти к ребенку, по вине которого больше не увижу ее.

Она так и не поговорила с мамой, и я никогда больше не видела ее, но память о ней навсегда сохранилась в моем сердце.

Вернувшись домой, я стала с ужасом ждать прихода мамы. Я не сомневалась, что мое грязное пальто выведет ее из себя. Когда она, увидев его, спросила, что случилось, я ударилась в слезы.

— Чем плакать, лучше расскажи, что все-таки произошло.

Я объяснила, что упала. Про незнакомку я не сказала. Мама осмотрела пальто.

— Надеюсь, мы его отчистим. Но пока оно не высохнет, тебе придется посидеть дома.

Меня это не расстроило. Зачем мне теперь выходить на улицу? Прекрасная незнакомка там уже никогда не появится.

Я смотрела, как мама чистит пальто. Я очень любила ее и очень жалела, что ей приходится заниматься этим после тяжелого рабочего дня.

Но где-то в глубине моего сознания пряталась другая мысль, от которой мне самой было стыдно. Мне бы так хотелось, чтобы мама была такой же красивой, как та незнакомка с улицы! И как бы мне хотелось, чтобы у нее тоже было пальто с мехом и чтобы она походила на королеву!

Кто мог тогда знать, что все мои желания сбываются? В тот раз, что я впервые увидела свою родную маму, на ней была меховая шубка. И она была очень красивая — как королева.

## ЗОЯ

У нее не было выхода: ей ничего не оставалось, как поверить Ольге. Лубянка и другие места заключения научили Зою не доверять никому, но тут все было по-другому. Еще неизвестно, доживет ли она до выхода из Владимирки, а Ольгу уже освобождают, и она едет в Москву. Зачем Зое во Владимирке меховая шубка и дурацкие вечерние туфельки, ко-



торые были на ней в ночь ареста, а теперь валяются где-то в тюремной камере хранения? Если Ольга и впрямь сдержит слово — «Клянусь здоровьем своего сына, Зоя Алексеевна» — и отвезет шубку с туфельками в Москву, Александре, это будет просто замечательно. Александра продаст их, и вырученные деньги хоть немного помогут им с Викторией.

Зоя отдала Ольге шубку и туфли.

Больше ни о них, ни об Ольге она ничего не слышала. Позже, когда узнала, что Александра в Казахстане, у нее затеплилась мысль, что Ольга постарается переслать шубку туда, хотя прекрасно понимала, что тешит себя напрасной надеждой. Ольга обманула ее.

Во Владимирке отпала нужда в тех царапинках, с помощью которых она отсчитывала проходящие дни и недели. Двадцать пять лет заключения — срок, которому нет конца. Даже если ее поместят в самую большую тюремную камеру, то и тогда на стенах не хватит места для отсчета этого срока. И какая разница, сколько дней прошло и сколько осталось, если каждый следующий день — точное повторение предыдущего?

В пять утра подъем на завтрак. Он всегда один и тот же: ломоть хлеба на весь день и жидкий, чуть сладковатый чай. Единственное нарушение однообразного утреннего ритма — двадцатиминутная прогулка в обнесенном цементными стенами двореке площадью шесть на четыре метра.

После прогулки заключенных возвращали в камеры на весь оставшийся день. В обед — немного каши с крошечным кусочком вонючей костистой рыбы, которую заключенные прозвали «веселыми ребятами». На ужин — чай с хлебом, если к тому времени он у кого-то оставался. В девять вечера — отбой. И так каждый день. Если сидишь не в оди-

ночке, можно поговорить с соседками по камере — но только шепотом. Разрешалось также брать книги из тюремной библиотеки.

Самым мучительным испытанием Владимирки была монотонность. Единственным событием в раз и навсегда заведенном распорядке тюремной жизни был поход в душ — раз в десять дней. Но и его вряд ли можно было причислить к разряду приятных: как правило, в душ водили посреди ночи.

Первые полтора месяца своего пребывания во Владимирке Зоя провела одна в камере, предназначенной для двоих. День за днем она сидела в потертой серо-белой полосатой рубашке и юбке, совершенно ничего не делая. Как ей потом объяснили, это был обычный тюремный «карантин», в течение которого она была лишена даже ежедневных двадцатиминутных прогулок.

Первой ее сокамерницей стала пожилая женщина с яркими голубыми глазами. Как только надзирательница закрыла за ней дверь камеры, она грохнулась на колени и принялась молиться.

Зоя так никогда и не узнала ее имени. Соседка лишь сказала, что она с Украины и осуждена на пять лет. За что? Она отвечала весьма туманно.

— Знаете, там у нас тяжелые были времена, голод.

Мало-помалу правда вышла наружу. Сама того не зная, пожилая женщина съела свою собственную семилетнюю внучку, которую убили родители. Те получили по десять лет.

«А мне дали двадцать пять», — подумала Зоя.

Как-то ночью Зоя проснулась, почувствовав на себе пристальный взгляд соседки. Женщина улыбнулась.

— Знаете, у вас очень симпатичный носик.

Зоя содрогнулась от ужаса. Что она замыслила?

Неужели, отведав однажды человеческого мяса, она уже не может остановиться?

С той ночи каждый раз, поймав на себе пристальный взгляд соседки, Зоя замирала в ужасе.

Пожилая женщина, вне всяких сомнений, была не в себе, но, коль скоро ее считали безобидной, она еще долго оставалась в одной камере с Зоей.

Зоя вздохнула с облегчением, когда ее перевели в другую камеру, хотя такие перемещения были во Владимирке делом обычным и проводились с единственной целью — подавить в самом зачатке установление дружеских отношений между заключенными.

В этой новой камере сидело пять женщин. Две из них проводили дни в молитвах. Третья, Рената, была австрийской графиней, во всяком случае, утверждала, что она графиня. У четвертой, Ады, не было правой руки, по самое плечо. Удивительно обаятельная, обладавшая к тому же изумительной памятью, она проводила время, декламируя стихи Пушкина. Пятая женщина, по имени Маша, оказалась воровкой и убийцей и была без памяти влюблена в Аду.

Как только в дверном глазке исчезал глаз надзирательницы, они кидались целоваться и частенько проводили ночи под одним одеялом. Их отношения были Зое неприятны и непонятны, но, с другой стороны, она пыталась объяснить их стремлением двух живых существ к человеческому теплу.

У Зои начали выпадать волосы. Стоило ей провести рукой по волосам, как они вылезали клочьями. Несомненно, сказывался скудный тюремный рацион. Ничего удивительного, учитывая, как мало она ела и с каким трудом ее желудок переваривал съеденное. Как ни странно, когда она пожаловалась, тюремщики проявили к ней непонятное участие — ей дали рыбьего жира. К тому же ей обрили голову,

и, несмотря на все унижения, которые она при этом претерпела, Зоя воспринимала свой нелепый вид вполне спокойно. Маленькая тюремная шапочка, часть тюремной одежды, полностью бритой головы не прикрывала. Но зато волосы со временем снова отросли.

Унылую череду дней и недель разнообразили лишь переходы из одной камеры в другую и знакомство с их обитательницами. А они были самыми разными.

Анна покинула Россию в 1917 году перед самой революцией. Ее отец, полковник царской армии, увез семью в Китай, где Анна выросла и вышла замуж. Ее, как, впрочем, и всех членов ее семьи, заклеямили как предателей за отказ вернуться в Советский Союз. Прошли годы. Овдовев, Анна почувствовала непреодолимую тоску по родине. Ей дали разрешение вернуться. Она запомнила лозунг, висевший над железнодорожным путем, когда поезд пересекал границу Советского Союза. На нем было начертано: «Добро пожаловать домой!» Ее тут же арестовали.

Другая женщина, простая крестьянка, собрав до крошки выданный на день хлеб, совала его под юбку и, к омерзению всех сокамерниц, пукала на него. На вопрос, зачем она это делает, с улыбкой объясняла: «Не испортить я хлеб, кто-нибудь позарится на него и съест. А так он только мой».

Одна из женщин была женой члена коммунистической партии, занимавшего в Ленинграде до того, как его расстреляли, весьма важный пост. После ареста она сошла с ума. Каждый вечер перед сном она заводила разговор с мужем. «Ты почистил зубы? Да, кстати, тебе кто-то звонил, пока ты выходил. Я записала имя». Ее койка была рядом с Зоной, а разговор иногда продолжался два-три часа крику.

Еще одна заключенная, Лида Русланова, поте-

ряв однажды терпение, заколотила кулаками в дверь и потребовала надзирательницу.

— Послушайте, — проговорила она властным голосом, — я отбываю срок. Но в тюрьме, а не в сумасшедшем доме. С этой женщиной надо что-то делать. У вас что, нет какой-нибудь другой русской бабы ей на замену?

Знаменитая на весь Советский Союз исполнительница русских народных песен Лидия Русланова стала во Владимирке одной из двух самых близких Зоиных подруг.

После ареста ее мужа, генерала Крюкова, который был правой рукой маршала Жукова, ей дали шесть лет тюрьмы. Поскольку обе принадлежали к миру искусства, они, конечно же, не раз встречались в Москве на разных приемах. Но никогда не были друзьями. Сблизила их Владимирка.

Второй Зоиной подругой стала Зоя Грушевская, до ареста работавшая секретарем-машинисткой в Академии наук. Им с мужем вменялось в вину, что они троцкисты. Она понравилась Зое с того самого момента, как впервые вошла в камеру. Зоя была худенькая, изящная, ростом чуть меньше 160 сантиметров, с каштановыми волосами и карими глазами. Она все время держала голову немножко набок, словно стеснялась чего-то, но в глазах ее всегда сверкали задорные искринки.

Едва за ней закрылась дверь камеры, она подняла руки и хлопнула в ладоши.

— Здравствуйте, дамы. Не вешайте нос, мои дорогие, американцы спасут нас!

Это было сказано с таким веселым артистизмом, что Зоя со смехом кинулась ей навстречу.

— Хочу представить вас всем присутствующим, после чего мне предстоит отбыть в отпуск.

Здороваясь, Зоя с таким достоинством протя-

гивала каждому руку, словно была королевой Англии, принимающей гостей у себя в замке.

— Почту за честь, друзья, — говорила она.

Поскольку у Руслановой водились деньги, она иногда покупала кое-что в тюремной лавке. И всегда всем делилась с подругами. А 18 января, в день четырехлетия Виктории, Русланова преподнесла Зое крошечный тортик, который они с Зосей как-то умудрились сделать из крошек печенья, купленного Руслановой в тюремной лавке, и воды. Тортик украшала одна свечечка, которую они слепили из корки сыра.

Получив подарок, Зоя разрыдалась. Она пыталась представить себе свою четырехлетнюю дочку, но в памяти осталась лишь спавшая в кроватке малышка, какой она видела ее в тот последний раз.

— Ты получаешь какие-нибудь вести от сестры? — спросила Русланова.

Зоя поглядела на нее как на сумасшедшую.

— Я не получаю писем.

— Наверняка у тебя есть разрешение на переписку. У меня есть. Я имею право отправить два письма в год, и мне разрешено получить два в ответ. Тебе надо обязательно выяснить свои права.

— Непременно спроси у них, — вмешалась Зося. — Если не получишь удовлетворительного ответа, я обращусь в Организацию Объединенных Наций.

Зоя спросила. Ей ответили, что в силу тяжести ее преступлений ей разрешено посылать лишь одно письмо в год и соответственно получать одно письмо в ответ.

— Тогда почему же я до сих пор не получила ни одного? — возмутилась Зоя.

Надзирательница поглядела на нее с ненавистью.

— Враг народа не может чего-то требовать. Считай за счастье, что тебя не расстреляли.

Во взгляде Зои сверкнула такая же неприкрытая ненависть.

— Счастье? Здесь? Я хочу послать письмо! Это мое право.

Надзирательница едва взглянула на нее.

— Ты дождешься у меня, получишь свои права.

В тот же день Русланова закатила сцену. Со свойственной ей решимостью она направилась к двери и колотила по ней до тех пор, пока не появилась надзирательница.

— Вы что, не понимаете, что здесь невозможно читать? — заявила она. — Лампочка еле светится. Что-то надо сделать.

На следующий день Зою и Русланову отправили в карцер. Это были узкие камеры чуть больше метра в ширину и два метра в длину. Никакой мебели, лишь вдоль одной стены тянулись похожие на отопительные батареи трубы. Окон тоже не было, скудный свет шел только от лампочки, висевшей под самым потолком. В камере было холодно и сыро.

Зоя потрогала трубы. Они были ледяными, что и объясняло царивший в камере холод.

Вдруг в стену постучали. Зоя подошла к стене и тоже постучала. И услышала из соседней камеры голос Руслановой.

— Зоя?

— Лида? С тобой все в порядке?

— Надо обязательно сказать Зосе, чтобы она написала об этом в ООН! — прокричала в ответ Русланова.

Зоя принялась вышагивать по карцеру. Она ходила, ни на минуту не останавливаясь, из страха умереть от холода. Оглядев камеру внимательнее, она обнаружила между трубами опускавшуюся вниз металлическую полку, явно пригодную для сидения. Вот только полка оказалась слишком холодной.

Зоя снова зашагала по камере, время от времени похлопывая себя руками, чтобы хоть немного согреться. Однако усталость брала свое: в конце концов она решила присесть, предпочтя пол холодной металлической полке. Хотелось спать, но было страшно закрыть глаза. Что если это не усталость, а то дремотное состояние, которое, как она слышала, предшествует смерти от переохлаждения? Хотя вряд ли в их планы входит ее смерть. Какое же это тогда наказание? Не наказание, а избавление. А избавление от страданий вовсе не входит в их намерения. Даже если бы она ничему не научилась с той ночи, как впервые попала на Лубянку, то уж эту истину она знала назубок: в наказаниях эти люди достигли наивысшей изощренности. Несомненно, они не раз и не два проверили опытным путем, какую температуру надо поддерживать в карцере без риска заморозить человека до смерти.

Наконец открылась дверь — надзирательница принесла ужин: кружку тепловатой воды.

— По-вашему, на этом можно прожить? — спросила Зоя.

— Не болтала бы своим длинным языком, — ухмыльнулась надзирательница. — Но, видать, ты так ничему и не научилась, — и повернулась, собираясь уйти.

— Подождите, — попросила Зоя и добавила, посмотрев на нее: — пожалуйста. Сколько дней мне здесь сидеть?

— На первый раз четыре.

Зоя кивнула, на глаза ее навернулись слезы.

— Я умру.

— Вполне возможно, — пожала плечами надзирательница.

— Пожалуйста, — снова попросила Зоя, — мне нужно в уборную.



— Я зайду за тобой позже. В карцере заключенным положено пользоваться уборной дважды в сутки. В промежутках терпи, а не можешь — ходи на пол.

Когда пришло время идти в уборную, дорога туда показалась ей раем. В коридоре и умывалке было тепло. Зоя тянула время, пока надзирательница силой не заставила ее вернуться в карцер.

Через несколько часов щелкнул замок, и в камеру вошли две надзирательницы. Одна из них приказала Зое сесть на металлическую полку и задрать ноги. Она послушно исполнила приказание. Потом они внесли и положили на пол длинный, узкий, выкрашенный в красный цвет дощатый помост, занявший почти весь пол карцера.

— Что это? — спросила Зоя.

— Твоя кровать.

— Как же на нем спать?

— Не хочешь — не спи, — ответила надзирательница и заперла дверь.

Ну что ж, подумала она, утром на нем обнаружат мой труп. Она слезла с металлической полки и стала на помост. Доски тоже были холодные, но все же теплее, чем голый пол. Постучав в стену, она крикнула Руслановой:

— Тебе принесли кровать?

— Тише, пожалуйста. Я ложусь спать.

— Замечательно.

— Мне тепло. По-моему, у меня жар.

— Позови надзирательниц, скажи им.

— Только когда буду знать наверняка. Если мне это только показалось, они продержат меня в этой дыре еще дольше.

Зоя легла на доски. Обхватив себя руками, она поджала ноги к животу. На несколько минут стало теплее, но потом тепло ушло. Всю ночь она проле-

жала, дрожа от холода. Утром пришли надзирательницы и унесли помост.

На завтрак ей снова дали кружку тепловатой воды, правда, на этот раз прибавив маленький кусочек хлеба. Обед не было. На ужин — кружка горячей воды и полкучочка хлеба.

Русланова к этому времени убедилась окончательно, что заболела. Она сказала об этом надзирательнице, но та и ухом не повела.

На третий день вместе с теплой водой и хлебом Зое дали несколько таблеток, должно быть, решила она, какие-то витамины. Она постучала в стенку Руслановой. Не получив ответа, постучала снова, приложив ухо к стене. До нее донесся едва слышимый голос Руслановой, но слов она не разобрала. Зоя подошла к двери и стучала до тех пор, пока не пришла надзирательница.

— Женщина в соседнем карцере. По-моему, она очень больна.

— Тебя это не касается, — ответила надзирательница.

Зое стало казаться, что от голода и холода у нее мутится разум. В какой-то момент ей привиделось, что в камеру вошел отец и протянул к ней свои беспальные руки. Зоя сидела на полу в углу камеры. «Папа? Что такое?» — спросила она вслух, поднимаясь с пола. И тут он исчез, а она снова опустилась на пол. Она тряхнула головой, прогоняя наваждение. Нет, нет, это не отец. Он же умер.

Она снова принялась хлопать себя по бокам, по плечам, по всему телу, чтобы хоть немного разогнать кровь, но ей очень скоро пришлось от этого отказаться — от сырости каждое движение отдавало в плечевых суставах страшной болью.

На четвертый день надзирательница, открыв дверь, объявила, что она может выйти из карцера.

Две другие протащили мимо Русланову. Лицо Лиды было покрыто испариной. Зою направили в тюремную больницу для ухода за ней. У Руслановой оказалось воспаление легких.

Когда Лида чуть окрепла и могла сидеть и говорить, Зоя поделилась с ней планами начать голодную забастовку, чтобы добиться права на переписку.

— Моя сестра наверняка писала мне. Александра обязательно выяснила бы, где я нахожусь. Она знает, как это сделать. И они должны отдать мне ее письмо.

Русланова пожала плечами:

— Это рискованно. Они снова упекут тебя в карцер. Умрешь с голоду, и все.

Зоя тоже пожала плечами:

— А что я теряю? Двадцать лет, а то и больше в этой тюрьме?

Русланова взяла ее за руку:

— Если с тобой что-нибудь случится, мне будет очень тяжело. Но на твоём месте я поступила бы так же.

Когда их вернули в камеру, Зося устроила шумный спектакль.

— Внимание, дамы, внимание! После приятно проведенного отдыха к нам вернулись две наши героини. Обратите внимание, как чудесно они загорели!

На следующее утро, когда надзирательница принесла чай с хлебом, Зоя снова обратилась к ней по поводу права на переписку.

— Об этом доложено, — ответила надзирательница — вопрос находится на рассмотрении.

— Все еще на рассмотрении? — спросила Зоя. — С этого момента я перестаю есть и буду голодать до тех пор, пока вы не отдадите мне письмо от моей

сестры. И не разрешите мне ответить ей. Я знаю, оно у вас.

Надзирательница передернула плечами:

— Если ты такая дура, чтобы не есть, мое дело сторона.

И унесла чай с хлебом.

— Дамы, перед вами отважная женщина, — возвестила Зося. — Надеюсь, вы гордитесь тем, что судьба свела вас с великой подвижницей, вставшей на защиту человеческого достоинства.

— Угомонись, Зося, — сказала Зоя. — Не все можно превращать в балаган.

Она не на шутку испугалась. Она объявила о голодовке в присутствии всей камеры. Теперь у нее уже нет выхода, придется идти до конца. Что, если у нее не хватит сил? Может, дальше и правда незачем жить, но ведь умирать она тоже пока не готова.

Ей стоило большого труда отказаться от обеда. Ближе к вечеру у нее начались голодные боли в желудке. Они прошли только поздним вечером. Через час после того, как она отказалась от ужина, дверь камеры открылась и вошел какой-то тюремный начальник.

— Вон та, — надзирательница указала на Зою.

— Это ты та дура, которая отказывается от еды? — спросил офицер.

Зоя кивнула:

— Уверю вас, мне очень хочется есть. Но для меня гораздо важнее получить разрешение написать письмо, что предусмотрено моим приговором, а также получать письма.

— Нам решать, а никак не тебе, на что у тебя есть права. Не начнешь с завтрашнего дня есть, будем кормить насильно. Уверю тебя, процедура не из приятных.

Когда он ушел, никто не произнес ни слова.

На следующий день, когда Зоины сокамерницы готовились к ежедневной утренней прогулке, в камеру вошли две надзирательницы и мужчина, которого она никогда прежде не видела. Надзирательницы втащили маленький столик, на котором что-то лежало, прикрытое салфеткой. Одна из надзирательниц показала мужчине на Зою. Кивнув, он приказал:

— Уведите остальных.

Женщин построили в шеренгу и вывели из камеры. Мужчина повернулся к Зое.

— Вы отказываетесь от завтрака?

Зоя утвердительно кивнула.

— Ваш приговор предполагает, что вы должны прожить двадцать пять лет. Если вы не будете есть, вас будут кормить насильно.

Он подал знак надзирательницам, и те, встав по обе стороны от Зои, схватили ее за руки. Она пыталась сопротивляться, но была слишком слаба. Они потащили ее к койке, и Зоя до того, как ее повалили, успела заметить, что мужчина — как потом оказалось, тюремный врач — снял со столика салфетку и взял длинный шланг.

Она крепко сжала зубы, даже почувствовала горечь в горле, а затем потеряла сознание.

Когда она пришла в себя, горло саднило. Значит, они все-таки накормили ее.

Отказавшись от обеда, она приготовилась к неминуемым новым испытаниям, но врач не пришел. Не появился он и вечером. И все же она знала, что он обязательно придет утром.

Но утром надзирательница принесла чай с хлебом и, не дожидаясь отказа Зои, протянула ей письмо.

— Вот. Тебе. Только что пришло.

Она победила!

Зоя ничего не сказала надзирательнице. Пусть

ее тюремщики, если хотят, делают хорошую мину при плохой игре, подумала она. Она осмотрела конверт, ища марку, но марка была оторвана.

Как только за надзирательницей закрылась дверь, Зоя вскочила на ноги.

— Друзья! Поднимем же победный тост во славу этой доблестной женщины, которая нанесла поражение всей Владимирке!

Зоя повернулась к ней:

— Будь осторожнее! Я благодарю тебя. Но не надо лишний раз тыкать им этим в морду.

Дверь опять открылась, и надзирательница знаком подозвала Зою.

— Ты отправляешься в карцер.

Зоя подняла руку в торжественном салюте:

— Я была свидетельницей победы. Ради нее я вынесу любые страдания.

Когда ее увели, Русланова заметила:

— Теперь будет знать, как шутить.

Зоя присела на свою койку. Письмо было от Александры. Почерк был ее. Совсем коротенькое, да оно и неудивительно. Александра прекрасно знает, что чем длиннее письмо, тем скорее его конфискуют.

Дорогая сестра!

Надеюсь, у тебя все хорошо, как и у меня и у моих детей. Виктория выросла в хорошенькую девочку, у нее длинные прямые каштановые волосы и красивые глаза. Она зовет меня мамой и во всем слушается. Она очень вежливая и немного застенчивая.

Твоя сестра,  
Александра.

Наконец-то Зоя узнала, где ее дочь! Она снова и снова перечитывала письмо. Моя Вика! Вежливая и застенчивая...

«Она зовет меня мамой» — эти слова заставили сердце болезненно сжаться, но Зоя поняла, что хотела сказать Александра. Она приняла решение не говорить девочке о настоящей матери на случай, если им не суждено будет встретиться. Зое пришлось признать ее правоту. Это мудрое решение.

Хорошенькая девочка. Длинные прямые каштановые волосы. Красивые глаза. Зоя попыталась соединить все эти детали и представить себе лицо дочери, однако у нее ничего не получалось. Страстное желание увидеть дочь не помогало.

Русланова дала Зое листок бумаги и карандаш, чтобы Зоя ответила Александре.

Дорогая Александра!

Какое счастье получить твое письмо и узнать хорошие новости о моей Вике. Правильно, что она считает тебя своей матерью. Пусть так и будет, ведь может случиться, что я больше никогда в жизни не увижу ее. Что и говорить, я живу только ради нее, но разве это понятно ребенку? Все же, пожалуйста, умоляю тебя, расскажи ей про тетю Зою, которая живет далеко-далеко и очень любит ее. А время от времени целуй ее и говори, что поцелуй этот шлет ей тетя Зоя. Когда она научится писать, попроси ее послать письмо тете Зое и нарисовать для меня какую-нибудь картинку.

У меня нет слов, чтобы выразить тебе благодарность за все, что ты делаешь для моей Вики. Могу лишь послать слова моей любви тебе, а также Юре и Нине.

Зоя.

Она несколько раз перечитала письмо. В нем так мало сказано, а хочется сказать так много. Но Александра, конечно же, и без слов поймет боль ее сердца. Александра сама мать.

Прежде чем положить письмо в конверт, она внимательно перечитала его еще раз. Не придерутся

ли к чему-нибудь власти? Нет, вряд ли. Она оставила конверт открытым. Запечатывают сами, когда прочтут. А теперь остается только одно: как-то прожить еще один год, когда ей разрешат получить следующее письмо. И если на то будет воля Божья, то это будет письмо от Виктории, а вместе с ним ее рисунок.

## ВИКТОРИЯ

Казалось, прошла целая вечность, прежде чем мне наконец исполнилось семь лет и я пошла в школу. У меня даже была настоящая школьная форма — черный передник и коричневое платье с белым воротничком. Форма, конечно, была не новая, она досталась мне после Нины.

Может быть, всех детей-семилеток отличает оптимизм, я, во всяком случае, была неизбывной оптимисткой. Вновь я пребывала в ожидании радикальных перемен в своей жизни. Уж на этот-то раз я обрету друзей.

Но единственным моим другом в школе стала учительница, Анастасия Лукьяновна, низенькая полная женщина с седыми волосами. Ей было за семьдесят, вот почему, наверное, она могла позволить себе доброжелательное отношение ко мне и, более того, пригласила нас с мамой к себе на чай. Наверно, за свою долгую жизнь она хорошо поняла, что в нашей стране можно в одночасье стать врагом народа, а на следующий день — всеми уважаемым гражданином. На ее памяти режимы сменялись не раз.

Но друг в лице учительницы — о том ли я мечтала? Мне нужны были друзья моего возраста. Увы, среди моих сверстниц для меня не нашлось ни одной подружки. Родители постарались внушить им, что



мне нельзя верить, да и водиться со мной — дело опасное.

К тому же дети поняли, что я не совсем такая, как они. Они пришли в школу, не умея ни читать, ни писать, ни считать. А я все это уже умела. Меня научили дома Юра с мамой. Я видела, как они перешептываются, глядя на меня широко открытыми глазами. Я обижалась, но еще выше задирала нос, демонстрируя свое превосходство. Похвалы учительницы перед всем классом лишь усугубляли положение.

Однажды после уроков меня окружили семь девочек из нашего класса.

— Как тебе не стыдно красить ресницы и брови! — заявила одна из них, и ее дружно поддержали остальные.

Волосы у меня в ту пору были светло-каштановые, а брови и довольно длинные ресницы — почти черные.

— А вот и нет! У меня от рождения такие!

Девочки рассмеялись.

— Все-то ты врешь, вруша несчастная! Красишь, красишь!..

Я сунула носовой платок в лужу и протерла глаза и брови.

— Видите? Ничего нет. Они у меня настоящие.

Одна из них так сильно пихнула меня, что я упала.

— Мажешься, да еще и врешь!

Вечером я спросила маму, нельзя ли каким-нибудь способом изменить цвет моих ресниц и бровей. Она улыбнулась.

— Когда вырастешь, тогда и меняй, если захочешь. Только вряд ли ты захочешь. А сейчас они у тебя естественного цвета и очень славного. Ты хорошенькая девочка.

Но мне меньше всего хотелось быть хорошенькой, мне хотелось, чтобы меня любили. На следующий день меня опять нещадно дразнили и, вернувшись из школы домой, я приступила к решительным действиям. На глазах у Нины я сунула в горящую печку гвоздь, пока он не раскалился докрасна. Держа гвоздь тряпкой, я осторожно, чтобы не спалить кожу, провела им по кончикам ресниц и бровям. Потом потерла их пальцами. Результат оказался не самым удачным. От ресниц остались короткие неровные волоски, а в бровях появились голые проплешины. Но как бы то ни было, оставшиеся подпаленные волоски утеряти свой первоначальный вызывающий цвет.

Нина полностью одобрила мои действия.

— Вот и хорошо. Зато теперь они отрастут еще длиннее.

Она явно имела в виду свои жиденькие косенки — мама каждое лето неукоснительно брила ей голову в надежде, что к осени волосы станут гуще.

Увидев меня вечером, мама пришла в ужас.

— Вика, ты что, с ума сошла? Да ты знаешь, на кого стала похожа?

Мне было все равно, на кого я стала похожа. Главное, что я улучшила свою внешность. Но Нине за то, что она позволила мне учинить это безобразие, здорово от мамы досталось. Нина старше, должна бы, кажется, понимать.

А в школе ничего не изменилось. Только теперь девочки издевались, утверждая, что у меня какая-то страшная болезнь, от которой выпадают брови. Я поняла, что мне никогда не завоевать их расположения.

Однажды вечером после ужина мама усадила меня к себе на колени.

— Ты уже большая, Вика. Пора тебе узнать по-

больше о нашей семье. Особенно о твоих тетях. О тете Зое и тете Марии.

— Я знаю о них. Они живут далеко-далеко. А где мой папа?

Мама внимательно посмотрела на меня:

— Что тебе сказать? Ты не помнишь его. Мы разошлись, когда ты была совсем маленькая.

— Мне кажется, я помню его, — возразила я.

Мама рассмеялась:

— Уверена, что нет. Даже Нина не помнит. Вот Юра помнит. И тетю Зою помнит, и тетю Марию.

— Я когда-нибудь увижу их?

Мама вздохнула.

— Тетю Марию никогда. Она умерла. Может, когда-нибудь увидишь тетю Зою. Кстати, ты знаешь, я получила от нее письмо.

— Да? — довольно равнодушно переспросила я, не очень хорошо понимая, какого ответа ждет мама. — Можно его посмотреть?

Мама покачала головой.

— Нет, оно ведь не тебе написано. Она пишет о том, что тебя не касается. Но она справляется о тебе. Она помнит тебя, еще когда ты была совсем крошка. И просит, чтобы ты ей написала. Ей очень хочется получить от тебя весточку.

— Но я же не знаю ее. Что мне ей написать?

Улыбнувшись, мама потрепала меня по голове:

— Да что хочешь. Не сомневаюсь, ее обрадует все, что ты напишешь. И еще мы обязательно пошлем ей какой-нибудь твой рисунок.

Мне дали бумагу и карандаш. Я сидела, уставившись в чистый лист, не зная, что делать. О тете Зое я знала только то, что она очень красивая и когда-то была актрисой. Жила она совсем одна где-то недалеко от Москвы. Ей очень хочется повидаться с нами, но у нее нет денег, чтобы выслать нам на дорогу.

Но раз мама велела писать все, что мне хочется, я и написала:

Дорогая тетя Зоя!

Мама говорит, вы помните меня, но я вас не помню. Мне семь лет, и я хожу в школу. Пожалуйста, пришлите мне немного яблок и конфет. Мне очень хочется.

Целую вас крепко,

Ваша племянница  
Виктория.

Тете Зое будет приятно получить письмо, и она обязательно пришлет мне яблок и конфет.

## ЗОЯ

Прочитав письмо Виктории, Зоя весь день про-рыдала. Яблоки и конфеты. Господи Боже, да ведь ради того, чтобы получить это письмо, она объявила голодовку, и вот теперь ее дитя просит прислать ей яблок и конфет.

— О моя родненькая, — шептала она, — попроси у меня мою жизнь. Ее мне отдать гораздо легче.

Она заливалась слезами, перечитывая слова о том, что девочка не помнит тетю Зою. Да как же может быть иначе, если ей исполнилось всего одиннадцать месяцев, когда Зою арестовали? А теперь она уже умеет писать и ходит в школу, ни разу в жизни не видел своей матери, ни разу не ощутив прикосновения ее руки.

Зоя принялась рассматривать картинку, которую нарисовала Виктория. На ней была изображена прямая как палка девочка с длинными кудряшками до земли. По одну сторону от девочки стояла колонка с торчащей рукояткой, а на рукоятке висело ведро.

Зоя прикоснулась к тому месту, где наверняка лежала рука Виктории, пока она рисовала. Если бы только вместо этого рисунка получить фотографию!

Какая она? Зоя никак не могла себе ее представить. На кого похожа? На мать, на отца, на них обоих? Нет, Зое не воссоздать облик дочери. Чего ж тут удивительного, ведь она и лицо Джексона помнит с трудом. Да правда ли, что она когда-то была кинозвездой и носила теплую меховую шубку? Неужели она и впрямь тогда верила, что никто не осмелится причинить ей зло?

Зоя улыбнулась своим мыслям. Какая же она была глупая. Интересно, могла бы она поступить по-другому, если б знала, чему суждено случиться? Тогда не было бы Виктории... Где найти правильный ответ?

С того дня Зоя спала, положив рядом письмо и рисунок Виктории. Иногда она уже перечитывала его, не плача. Придет день, дорогая моя девочка, и Бог даст, я еще осыплю тебя яблоками и конфетами.

Слухи поползли после того, как однажды взревели разом все заводские гудки, да так громко, что женщины слышали их даже в камерах. Умер Сталин! Поначалу в это невозможно было поверить. Умер Сталин? Да как такое может быть, ведь он не был обыкновенным, земным человеком? А что, если и вправду умер? На лицах, годами не знавших улыбки, затеплились едва уловимые признаки надежды.

Взобравшись на стол, Зося громогласно объявила:

— Внимание, дамы! Наступил великий час! Исторический час! Когда умирает человек, которого мы не любим, это повод для радости.

Зоя схватила ее за юбку:

— Слезь, Зося, и не кричи так громко. Хочешь загреметь в карцер?

Зоя нетерпеливо стряхнула ее руку.

— Вы слышите, что она говорит, дамы? Это голос страха, а со страхом покончено. Скоро мы все будем свободны.

На следующее утро в камеру вошли две надзирательницы.

— Грушевская, — сказала одна из них, — ты отправляешься в карцер за нарушение спокойствия.

Другая провела рукой по столу.

— Кто сегодня дежурит по камере?

Зоя вышла вперед, на ее лице застыла горькая усмешка. У них же есть список, они прекрасно знают график дежурств на каждый день.

— Я

— В камере грязно. Ты тоже идешь в карцер.

До возвращения из карцера Зоя отдала Лиде Руслановой письмо и рисунок Виктории на хранение. Она знала, за что ее наказали. Это не имело никакого отношения к порядку в камере, в которой было ничуть не чище и не грязнее, чем обычно. Все дело в выходке Зоси. По каким-то лишь им понятным соображениям Зою считали заводилой. Поскольку Зоя всегда выступала с речами, а Русланова часто принималась качать права, Зое отвели роль возмутительницы спокойствия. С тех самых пор, как она устроила голодовку, ее постоянно подозревали в том, что она выступает зачинщицей всех беспорядков.

Через пять дней, когда ее освободили из карцера, Зое разрешили вернуться в камеру, но только для того, чтобы собрать свои вещи. Ее дружбе с Руслановой и Зосей пришел конец. Зоя обняла их обеих, взяла у Руслановой письмо и рисунок дочери и последовала за надзирательницей в новую камеру.

Там уже находились двенадцать пожилых женщин. Они стояли на коленях, склонившись в молит-

ве. Выяснилось, что это монахини русской православной церкви. Тринадцатая, более молодая, сидела в стороне, читая книгу. Увидев Зою, она кивнула. На вопрос, что она читает, женщина протянула Зое книгу Сталина.

— Говорят, он умер, — сказала Зоя.

Женщина яростно затрясла головой:

— Этого не может быть. Никогда!

— Вы так слепо верите в него? Если вы так ему преданы, то почему вы здесь? — улыбнулась Зоя.

Женщина вызывающе вздернула подбородок:

— Я заслуживаю наказания. И все из-за мужа.

Он был врагом народа, и его расстреляли. Меня справедливо наказали за то, что я была замужем за таким человеком.

Двенадцать монахинь в миру всегда держались вместе. Когда они узнали, что их духовный отец работает на НКВД, донося обо всем, что у них происходит и говорится, женщины ушли от него, обосновавшись отдельно. Местные власти усмотрели в этом преступное деяние, и их арестовали.

В конце концов весть о смерти Сталина подтвердилась. Пошел слух, что он покончил жизнь самоубийством. Заключение, более искушенные в политике, считали самоубийство маловероятным, но если такова была официальная версия, то оно и к лучшему. Крепла надежда, что всех узников его режима ждет освобождение.

Вскоре в их камеру перевели Зою. Они обнялись, и Зоя спросила про Русланову.

— Наверно, ее уже освободили, — ответила Зоя. — Во всяком случае, ей велели собрать вещи. Надзирательница, которая сказала об этом, была предельно вежлива. А потом Русланову увели. Я слышала, что ее муж, генерал, снова в чести, а это уже кое-что да значит.

Зоя рассмеялась.

— Зося, дорогая, откуда у тебя все эти новости?

Тощая, кожа да кости, Зося изобразила соблазнительную позу:

— У меня свои каналы, Зоя. И не надо о них спрашивать.

— А что будет со всеми остальными? — спросила Зоя.

— Говорят, по тюрьме ходят какие-то начальники. Сегодня они в мужской зоне. Составляют какие-то списки. Освобождать будут в алфавитном порядке.

— Ну надо же, а я — Федорова, в самом конце алфавита, — тяжело вздохнула Зоя.

— Не вешай нос! — воскликнула Зося. — Конец алфавита ближе, чем двадцать пять лет.

## ВИКТОРИЯ

Наверно, только русскому человеку дано понять, как формировался мой детский мир. Всеми презираемая, постоянно слышавшая отовсюду в свой адрес слова «враг народа», я при этом была настроена безмерно патриотически. Каждый день в школе, когда мы заводили песню, начинавшуюся словами: «Наш прадедушка, наш Сталин...», мой голос звучал громче всех. Я искренне верила, что он хороший, мудрый и добрый. Я искренне верила, что он мой прадедушка, и любила его.

Когда я услышала, что он умер, я заплакала. Умер мой прадедушка. Я не поняла, почему мама, вернувшись с работы, улыбалась.

— Сталин умер, — сказала она, словно сообщая добрую весть.

Я была в ярости.

— Как ты можешь улыбаться? Ты хочешь, чтобы мы все умерли?



Для меня смерть Сталина была равнозначна смерти Бога.

Мама бросила на меня печальный взгляд.

— Станешь немного старше, тогда поговорим. Надеюсь, ты все поймешь.

Она раздала нам черные повязки с красными полосками, которые ей выдали на работе.

— Их следует носить на левой руке, — объяснила она. — Мы будем носить их только на улице, не дома.

Какая она бессердечная, решила я и не снимала повязки ни в школе, ни дома. Я и сейчас не понимаю, почему так поступала и почему все это так много значило для меня. А может, мне просто нравились красные полоски, красиво смотревшиеся на темном платье? И все же более вероятно другое объяснение: мысли о дедушке Сталине каким-то странным образом увязывались, видимо, с мыслями об отце. Я не понимала тогда, как страстно хотела иметь отца, такого же, как у других детей в школе. Собственно, мне хотелось любыми путями стать ровней другим, более счастливым детям, и первое, что могло в этом помочь, — это отец. Будь у меня отец, он никому не позволил бы обижать меня. Он бы не так уставал, как мама, у него хватило бы сил любить меня.

Потребность в отце становилась со временем все более настоятельной — и в детстве, и в зрелые годы, став причиной многих ужасных ошибок.

Смерть Сталина и последовавшая за этим смерть Берии, имя которого было для меня пустым звуком, но смерть которого очень обрадовала маму, заметно изменили наш образ жизни. Мама стала куда более веселой и только и говорила о том дне, когда все мы вернемся в Москву. Меня лично коснулись лишь изменения в школьной системе. Неожиданно ввели совместное обучение мальчиков и девочек. Во вто-

ром классе мы уже учились вместе. Вот и все, других перемен не было. Новая учительница с первого дня возненавидела меня, при всем классе обзвав врагом народа. Ребята вытаращились на меня, словно у меня на лбу вдруг выросли рога.

После уроков я подошла к учительнице:

— Зачем вы это сказали? Теперь со мной никто не будет водиться.

Она была молодая, некрасивая, в углах рта залегли глубокие морщины.

— Затем, что это правда. И мой долг — защитить своих учеников.

На меня накатила волна ненависти:

— Вы такая уродина — вам бы только метлу, вы бы улетели на ней на небо.

Она наотмашь ударила меня по лицу. Всю дорогу домой я проплакала.

И все же до меня не доходила одна простая истина: если со мной обращаются как с врагом моего же народа, то причиной тому только воля правительства. Напротив, я приписывала свои несчастья только злым людям, встретившимся мне в жизни, например вот этой учительнице. А мне хотелось лишь одного: быть как все.

В восемь лет советские дети становились пионерами. Это была коммунистическая организация, в которую принимали, как правило, в индивидуальном порядке. Но наш класс приняли автоматически, весь целиком, и всем ребятам выдали красные галстуки. Всем, кроме меня. Когда я спросила, почему мне не дали красного галстука, учительница ответила:

— Для этого мне необходимо знать имя твоего отца, твое отчество. Без этого нельзя.

— Отчество? Что это такое?

Выслушав ее объяснение, я сказала:

— Моя мама и мой папа развелись. Ее зовут

Александра Алексеевна, потому и мое отчество Алексеевна.

Учительница расхохоталась.

— Что за чушь! Кто твой отец?

Она как-то странно смотрела на меня, но я никак не могла взять в толк, на что она намекает. Тогда она сказала:

— Принеси свидетельство о рождении. Посмотрим, можно или нельзя принять тебя в пионеры.

Я заплакала. Ведь она больше никого в классе не просила принести свидетельство о рождении. Я даже не знала, есть ли оно у меня.

— Почему вы так ко мне относитесь? За что так ненавидите?

— Ты упорно не желаешь знать правду о самой себе, — прошипела учительница. — Ты враг. Твоя семья здесь в ссылке. Ты тут чужая. Ты повсюду чужая, и только потому, что мы, советские люди, так великодушны, мы разрешаем вам жить рядом с нами. А теперь отправляйся домой и принеси свидетельство!

Когда я попросила у мамы свидетельство, она сказала, что сама отнесет его учительнице. Теперь-то я понимаю почему.

— А у тебя, глупышка, такое же отчество, как у твоей сестры Нины, — Ивановна.

На следующий день мама пришла после уроков в школу. Почему она в такой ярости? — недоумевала я. Войдя в класс, она велела мне подождать в коридоре, пока они поговорят с учительницей.

— Да как вы смеете... — услышала я, выходя из класса, и дверь за мной захлопнулась.

Мне дали красный галстук.

Казалось, прошла вечность после освобождения Руслановой и Бог знает как давно она уже не видела Зоси. Поговаривали, что и ее уже выпустили. А Зоя продолжала сидеть, в одной камере вместе с монахинями, ожидая решения своей судьбы и ловя всевозможные слухи о новом режиме и о том, когда выпустят остальных заключенных.

Но миновала еще одна зима, а она по-прежнему томилась в ожидании. Заключенным вернули одежду, которую отобрали по прибытии во Владимирку. Когда Зое принесли поношенное пальто Ольги, она с горечью вспомнила свою меховую шубку. Из шелковых чулок, которые ей тоже вернули, она, отрезав низ, сделала рукава, пришив их к теплым зимним панталонам. Потом вырезала отверстие для головы — и получился свитер.

Надежда на освобождение и встречу с дочерью лишь удлиняла и без того бесконечно долгие дни. Прежде, при жизни Сталина, она уже оставила всякую надежду. Это, как ни странно, облегчало жизнь. А теперь каждый день превращался в пытку, в напряженное ожидание того момента, когда дверь камеры откроется и надзирательница прикажет собирать вещи.

И наконец это свершилось. Ей сообщили, что ее отправляют в Лубянку, в ту тюрьму, где начались ее муки.

— Меня освободят? — спросила Зоя.

Надзирательница лишь пожала плечами.

— Я знаю только, что тебя приказано отправить в Лубянку. Скажи спасибо и за это. Там теплее.

После Владимирки Лубянка и впрямь показалась раем. Зою поместили в одиночку с паркетным полом и разрешили пользоваться душем, когда ей за-

благорассудится. Единственное условие при этом: предупреждать надзирательницу. Вместе с едой ей давали витамины и рыбий жир. Чай, по сравнению с теми первыми давними днями, был немного крепче, и к нему полагалось почти полчайной ложки сахара.

Фамилия нового следователя, который вызвал ее на следующий день после приезда, была Терехов. Когда она вошла в кабинет, он встал.

— Садитесь, пожалуйста, — сказал он.

Это потрясло Зою. Как же давно, Боже, как давно к ней никто не обращался подобным образом.

— Что происходит? — спросила она.

— Весьма вероятно, что ваш приговор будет изменен, — ответил он. — Ваше дело подлежит пересмотру.

Он протянул руку и вытащил из-за спины старую толстую папку, поверх которой по-прежнему красовался американский флаг. Зоя охнула. Он улыбнулся.

— Не отчаивайтесь. Я уже ознакомился с вашим делом. Нам предстоит изучить основные пункты выдвинутых против вас обвинений, а вам придется дать мне необходимые объяснения. Я запишу их, и дело будет пересмотрено, а уж потом поглядим. К сожалению, на это уйдет время. Начнем завтра утром.

Он встал, давая понять, что разговор окончен. Зоя медлила уходить.

— Простите, но если вы так добры, не можете ли вы мне сказать, что случилось с моей семьей?

Терехов заглянул в досье.

— Вашу сестру Александру приговорили к пожизненной ссылке. Сейчас она в Петропавловске, в Казахстане. Вместе с ней ее дети — Нина и Юра, а также девочка по имени Виктория.

— К пожизненной?

Он пожал плечами.

— Ее сослали за ваши преступления. Если изменят ваш приговор, изменят и ее. Кто знает?

Зоя кивнула.

— А моя сестра Мария?

Он помолчал, прикуривая сигарету.

— К сожалению, о ней у меня плохие новости. Вашу сестру Марию приговорили к десяти годам трудовых лагерей. Ее направили на север, в Воркуту, на кирпичный завод. Она умерла в 1952 году.

Зоя изо всех сил закусила губу. Бедная Мария. Она никогда не отличалась крепким здоровьем. Работа на кирпичном заводе в трудовом лагере! Мария, которая за всю жизнь не обидела и мужи. Чтобы не разрыдаться, Зоя впилась ногтями в ладони.

День за днем она встречалась с Тереховым, и они снова и снова обсуждали все детали дела, начиная с ее первой встречи с Джексоном Тэйтом. Но на сей раз всё было по-другому. Терехов, как правило, задавал вопрос и, выслушав ответ Зою, записывал его. Он никогда не подвергал сомнению правдивость ее слов. Время от времени он кивал головой, говоря:

— Понимаю, понимаю. Так вот, значит, как оно было.

Они продвигались вперед так медленно, что Зоя уже начала отчаиваться: придет ли этому когда-нибудь конец? И вот однажды, завершая разговор, Терехов улыбнулся и сказал:

— Не отчаивайтесь. Надеюсь, все будет так, как вы мечтаете.

Вернувшись в камеру, Зоя задумалась над его словами. Несомненно, они означают, что ее оправдают и освободят.

Это произошло 23 февраля 1954 года — это число назвал ей Терехов, как только она переступила порог его кабинета.

Первым, что пришло ей в голову, была мысль о

том, что за время, пока она сидела в тюрьме, Виктории исполнилось девять лет.

— Зачем вы назвали мне сегодняшнее число?

— Сначала сядьте, — ответил Терехов, подвигая ей стул. — Хочу сказать вам, что нынешнее утро — счастливейшее в вашей жизни, вы свободны. Годы, проведенные вами в тюрьме, — чудовищная ошибка, ответственность за которую несет диктатор Сталин. Сейчас, когда у власти новый руководитель — Хрущев, мы освобождаем миллионы людей. Помните: вы не одиноки в перенесенных вами страданиях.

Зоя сидела не шелохнувшись. Все тело, казалось, окаменело. Терехов поглядел на нее.

— Вы слышите меня, Зоя Алексеевна? Решение об этом принято сегодня утром.

— Значит, я могу уйти? — Зоя услышала свой голос, прозвучавший откуда-то издали, словно ее слова произносила в полусне какая-то чужая женщина.

Он рассмеялся.

— Не раньше завтрашнего утра. В камере хранения, где лежит ваша одежда, уже никого нет, все ушли, так что вам придется провести здесь еще одну ночь.

— Нет. Если я свободна, — сказала Зоя, — я больше не вернусь в камеру.

— Как так? А где же вы проведете ночь?

Зоя оглядела кабинет.

— Буду спать прямо здесь. На вашем диване.

— Ради Бога, — сказал Терехов, — это запрещено. Если я разрешу вам остаться, мне не поздоровится. Можете посидеть здесь, если хотите, но ночевать вы должны в своей камере.

Она кивнула.

— Хорошо. Но пусть не запирают дверь.

— Я попробую, — сказал Терехов и, включив радио, вышел из кабинета.

Впервые за восемь лет Зоя услышала музыку. Какая прекрасная музыка! Она подошла к дивану и села. Словно сидишь на облаке, подумала она.

Музыка закончилась, запели песню. Песня была грустная и начиналась словами: «Никто не ждет меня нигде». Зоя закрыла лицо руками. Да, верно. Ее никто не ждет.

Вернулся Терехов.

— Сожалею, но вам надо вернуться в камеру.

Зоя встала. Уже у самой двери она снова услышала его голос:

— Подождите. Здесь есть зеркало. Хотите поглядеть на себя?

Он открыл дверь в туалет, на стене которого висело большое, от пола до потолка, зеркало. Увидев, что Зоя колеблется, он улыбнулся.

— Уверяю вас, все в порядке. Вы не очень изменились. Вы по-прежнему Зоя Федорова.

Зоя медленно приблизилась к зеркалу, остановившись наискосок от него, чтобы собраться с силами, прежде чем взглянуть на себя. Но тут же взяла себя в руки. Что за глупость, подумала она. Что бы я в нем ни увидела — это я, и даже если закрыть глаза, ничто не изменится.

Глубоко вздохнув, она шагнула к зеркалу. Из зеркала на нее смотрела пожилая женщина. Волосы кое-где серебрились сединой, вокруг глаз и на скулах — припухлости. Последний раз она смотрелась в зеркало в тридцать три года. Сейчас ей сорок один. Какое у нее теперь лицо — лицо сорокаоднолетней женщины или старше? В любом случае на лирическую героиню она не тянет, скорее уж, на ее мать.

Зоя отвернулась от зеркала.

— Не отчаивайтесь, — сказал, смеясь, Терехов. — Хорошее питание — и увидите, произойдет чудо. Вы по-прежнему красивая женщина, Зоя Алексеевна.

Зоя передернула плечами.



— Может быть. Но уже совсем другая.

Войдя в камеру, она услышала за спиной звук запираемой двери. Она колотила в нее до тех пор, пока не появилась надзирательница.

— Что тебе?

— Не запирайте дверь.

Надзирательница рассмеялась.

— Да кто ты такая? — бросила она и, с силой хлопнув дверью, снова заперла ее на ключ.

Она права, подумала Зоя. Действительно, кто она такая? Неужто ее ничему не научили годы, проведенные в тюрьме? Они делали с ней все, что хотели, и она покорно все сносила. Они отняли у нее восемь лет жизни, а теперь оказалось, что это ошибка. Вот ведь как просто! И ей придется снести и это.

В ту ночь Зоя не сомкнула глаз. Да и кто на ее месте мог заснуть в канун освобождения?

На следующий день ей выдали дешевенькое пальтишко и берет, сильно отдававшие хлоркой.

— Куда вы направитесь? Мы должны это знать, — спросил ее дежурный офицер.

Зоя покачала головой.

— Теперь это уже не ваше дело. Моей сестры нет в Москве, и я не знаю, захотят ли меня увидеть мои друзья. Но как бы то ни было, вас это не касается.

— Нам необходим более точный ответ. Неужели у вас нет ни одного верного друга, который был бы готов принять вас? — спросил офицер.

Подумав, Зоя ответила:

— Есть. Русланова, певица. Но я не знаю, что с ней случилось.

— Она здесь, в Москве. Уже давно на свободе, — улыбнулся офицер.

— У меня нет ни ее телефона, ни адреса.

Офицер протянул руку к телефону и набрал какой-то номер.

— У нас есть.

К телефону подошел сам генерал. Зоя ждала, затаив дыхание.

— В этом нет необходимости, товарищ генерал, — сказал офицер. — Мы ее привезем сами.

Он проводил ее до машины и открыл перед ней дверцу. Машина тронулась, и, едва не потеряв сознание от потрясения, Зоя увидела, как распахнулись ворота Лубянки и машина выехала из тюрьмы.

Ее ошеломила открывшаяся перед ней картина — деревья, автомобили, идущие по тротуарам люди. Зоя откинулась на спинку сиденья. Она свободна. Значит, это не очередной чудовищный трюк.

Шофер довел ее до дверей генеральской квартиры и нажал кнопку звонка. До нее донеслись торопливые шаги. Дверь распахнулась, перед ней предстала Русланова. Но не та Русланова, какую помнила Зоя по Владимирке. У этой Руслановой были красиво уложены волосы, плечи укутаны во что-то пушистое и теплое. По лицу ее катились слезы.

— Зойка! Моя Зойка! Дорогая, наконец-то я снова вижу тебя!

Упав ей на руки, Зоя разрыдалась. Русланова крепко прижала ее к груди.

Следователь сказал ей, что она может обратиться к директору киностудии, объявив ему, что полностью реабилитирована и может приступить к работе, но оформление необходимых документов займет несколько месяцев. Если на студии возникнут какие-либо сомнения, пусть позвонят ему.

Надев нарядный черный костюм, который одолжила ей Русланова, Зоя на второй день после освобождения отправилась на студию. Когда она сказала секретарше, что хочет поговорить с директором, секретарша окинула ее критическим оком, но все же подняла трубку внутреннего телефона.

— Вам придется подождать, — сказала она.

Зоя прождала три часа. С ее губ не сходила горькая усмешка. Она понимала, что все это означает. «Иван Грозный» — так за глаза на студии называли директора — снова демонстрировал свою силу. Весьма недалекий, он и прежде компенсировал свое духовное убожество жестокостью. Таков был его способ самоутверждения, который, по всеобщему мнению, скрывал неуверенность в самом себе.

Наконец он принял Зою, встретив ее словами:

— Вас освободили?

Зоя утвердительно кивнула:

— С меня сняты все обвинения, мне разрешено снова работать.

— Покажите документы, подтверждающие ваши слова, — сказал он.

— У меня пока нет никаких документов, — ответила Зоя. — Они будут готовы лишь через несколько месяцев, но у меня есть телефон следователя, который ведет мое дело. Он просил вас позвонить ему, и он подтвердит, что я реабилитирована.

Директор покачал головой.

— Нет документов — нет работы.

— Но я имею право работать, — сказала Зоя. — Хотите вы того или не хотите. Вы обязаны предоставить мне работу.

Он улыбнулся.

— Следователь нам не указ. Когда получите документы, приходите. Всего хорошего!

Потрясенная, Зоя вышла со студии. Два дня, проведенные с Руслановой, вернули ей ощущение вновь начавшейся жизни. Теперь ее захлестнуло чувство, что она снова в тюрьме.

Она отверженная, с ней обращаются как с дерьмом. Неужели директор студии использует свое положение, чтобы продемонстрировать власть? Имеет

ли он право отказать ей в работе до получения документов?

Зоя вошла в маленький скверик и отыскала свободную скамейку. Сев на скамейку, она закрыла лицо руками, чтобы никто не увидел ее слез. Что с ней будет?

Она заглянула в сумочку, которую дала ей Русланова. Ни копейки, даже пяти копеек нет на автобус. В памяти всплыла песня, которую она услышала по радио в кабинете Терехова: «Никто не ждет меня нигде». Да, так оно и есть. Неужели только для того и выпустили ее из тюрьмы? Чтобы сидеть на скамейке в скверике и жить милостью Руслановой и ее мужа? Если ей уготована такая жизнь то зачем ее освободили? Лучше снова в тюрьму или с моста в реку. Ее жизнь кончилась той ночью, когда ее арестовали, и какая же она идиотка, что цеплялась за нее.

Наконец слезы иссякли. Глупо так себя вести. Жалость к себе — плохой помощник. Надо что-то предпринять. Хоть что-нибудь.

Она решила зайти в отдел, куда обращаются актеры в простое между съемками. Может, встретит кого-нибудь из приятельниц и та одолжит ей несколько рублей?

На сей раз ей сопутствовала удача. В дверях кабинета ее остановил какой-то мужчина. Это оказался сценарист ее фильма «Фронтовые подруги». Он крепко обнял ее.

— Не могу выразить, как я рад видеть вас. Вы должны зайти к нам. Жена будет счастлива.

Они угостили ее кофе с печеньем, и Зоя почувствовала, как по щекам ее снова потекли слезы. Бог мой, подумала она, в этом мире еще остались порядочные люди.

— Не хочу смущать вас, — сказал писатель, — но ответьте мне честно: у вас ведь совсем нет денег, да?

Зоя кивнула.

— Иван Грозный не дает мне работы, пока не придут документы.

— Раз так, позвольте помочь вам, — вмешалась его жена.

Они вручили ей две тысячи рублей.

— И не вздумайте отдавать. Это от всего сердца, — сказала жена.

Теперь она может жить, даже если придется ждать, пока получит документы. Скоро для нее начнется новая жизнь. Она будет снова работать, в Москву вернется ее сестра, и она увидит Викторию. Господи, думала она, если бы я могла поехать в Петропавловск и забрать свою девочку! Но она понимала, что это невозможно. Так нельзя появиться перед ребенком, который никогда в жизни не видел ее.

Да, она ждала этого очень долго. Подождет еще месяц или два. За это время ей надо подготовиться к тому дню, когда она снова окажется перед камерой. Но первым делом она займется совсем другим. Виктория, скорее всего, и думать забыла об этом, но когда-то она попросила тетю Зою прислать ей яблок и конфет. Выполнить эту просьбу Зоя почитала священной обязанностью.

## ВИКТОРИЯ

Скорее всего, это произошло где-то в конце марта, в тот вечер, когда мама пришла с работы с большим картонным ящиком. Одно я помню точно: на дворе еще стояла зима, потому что в тот день из-за сильного ветра я не пошла в школу. Бывали дни, когда дул такой сильный ветер, что сбивал с ног, и

добраться до школы можно было, только если кто-то шел рядом и тянул за руку.

А ящик был такой большой, что за ним не видно было лица мамы. Когда она поставила его на стол, мы увидели, что она улыбается.

— Да, да, — сказала она, — теперь уже совсем скоро мы все поедem в Москву.

Мы сгрудились вокруг ящика.

— Что это, мама? От кого?

— От тети Зои. Она уехала из своего маленького городка и теперь живет в Москве. Вот она и прислала всем нам подарок.

Пока мама снимала пальто и платок, три пары широко раскрытых глаз следили за каждым ее движением. Подарок! Даже письма были в нашей жизни редким событием, а уж подарок! Никто из нас никогда не получал по почте подарка. Я запрыгала от радости.

— Открой ящик! Открой!

Мама рассмеялась. А я испугалась. Мы еще не привыкли к ее смеху.

— Терпение, малышка. Он куда от нас не убежит.

Взяв нож, она разрешила крышку посередине и открыла ящик. У нас перехватило дыхание. Мы словно заглянули в небеса обетованные. В ящике было полным-полно всего съестного, некоторые продукты я видела до того только на картинках в школе, о других и вовсе понятия не имела. Сверху лежало письмо. Мама взяла его, а я запустила руку в ящик и вытащила что-то, похожее на длинную круглую трубу, завязанную с обоих концов. Я понюхала трубу.

— Что это такое, мама?

Мама недоуменно пожала плечами.

— Сама не знаю. Давайте попробуем, тогда и узнаем.

Она взяла нож и отрезала от трубы тоненький ломтик. Откусив от него маленький кусочек, она сказала:

— Это сыр.

И отрезала каждому из нас по тоненькому ломтику.

— Сыр, — повторила она, чтобы мы знали, что пробуем. — Если не понравится, не портите зазря.

Мне сыр понравился, вкус как у какой-то чудной конфетки.

А потом мама опорожнила весь ящик, и мы дружно ахали при виде каждого нового сокровища. Жестяные банки с тушенкой и куриным мясом, сосиски, колбаса саями. И отдельный ящичек, на котором стояло мое имя. Отдав его мне, мама сказала:

— Открой его, Виктория. На нем твое имя.

Я открыла ящичек. В нем было шесть яблок, кулек с леденцами и открытка. На открытке было написано: «Виктории с любовью. Тетя Зоя».

— Посмотрите! Посмотрите! — закричала я, поднимая ящичек. — Это мне!

Мама внимательно поглядела на меня.

— Ты поделишься со всеми, Вика.

— Но ведь тетя Зоя...

— Ты поделишься.

Признаюсь, я с огромной неохотой, но все же дала каждому по яблоку.

А на самом дне большущего ящика лежал еще один кулек с конфетами — шоколадными — и много-много ярко-оранжевых шаров. Мама вытащила их из ящика и положила в вазу.

— Это апельсины, — сказала она.

Мы недоуменно уставились на них. Потом осторожно, словно боясь, что они лопнут, потрогали.

В маминых глазах стояли слезы.

— Сегодня на ужин, — объявила она, — у нас будет мясо! И апельсины!

Только представить себе — мясо и апельсины в один вечер! А еще сыр и яблоки — никогда в жизни я ничего такого не пробовала. В нас словно бес вселился. Даже мама поддалась общему настроению. А Юра сочинил песенку про мясо и апельсины, и, взявшись за руки, мы закружились в хороводе вокруг стола.

Мама первая вышла из игры, плюхнувшись, тяжело дыша, на стул. А мы с Ниной продолжали, словно дикари, плясать вокруг стола, пока нас не остановила мама.

— Все, кончайте свои сумасшедшие пляски! Не ровен час заболете — то-то будет обидно, ведь нас ждет такой чудесный ужин.

Я никак не могла распробовать и решить, нравится ли мне мясо. Уж очень оно странное на вкус. Зато апельсины завоевали мое сердце мгновенно. Я даже не выбросила кожуру, а положила ее в карман, чтобы, когда захочется, понюхать ее.

В тот вечер я впервые в жизни наелась досыта. Клонило в сон, по телу разлилась теплота. Удивительно приятное ощущение.

И тут мама вспомнила про письмо. По мере того как она читала его, лицо ее омрачалось.

— Что-то случилось с тетей Зоей? — спросил Юра.

Мама покачала головой.

— Тетя Зоя пишет, что ей очень одиноко. Она живет там совсем одна, детей у нее нет. Жалко ее, правда?

— Может, еще будут, — предположила я.

Мама печально улыбнулась.

— По-моему, как-то нехорошо получается: у тети Зои совсем нет детей, а у меня трое. Несправедливо. Придется, наверно, отдать ей кого-нибудь из вас.

И заплакала. Не знаю почему, но я сразу поняла, что она отдаст меня этой странной тете. Я вско-



чила со стула и бросилась к окну, дальше, дальше от стола.

Мама посмотрела мне вслед.

— Вика, ты не хочешь пожить в Москве с тетей Зоей? Доставишь ей большую радость, а уж любить она тебя будет всем сердцем, я уверена.

Я задохнулась в рыданиях.

— Ты выбрала меня, потому что со мной вечно что-то случается. Ты решила отделаться от меня! Ты меня не любишь!

Мама подошла ко мне и прижала к груди.

— Ты не права, Вика. Я люблю тебя всем сердцем, всей душой. Я совсем не хочу отделаться от тебя. Просто ты самая младшая. На тебе меньше всего сказались тяготы жизни. Поэтому тебе легче всех будет начать новую жизнь, приспособиться к новым условиям. У тети Зои тебе будет хорошо. Она станет любить тебя не меньше, чем я.

Я прижалась к ней.

— Нет, нет, ну пожалуйста, мама, не отсылай меня. Мне не нужна новая мама.

Мама погладила меня по волосам.

— Ш-ш-ш, девочка, ш-ш-ш. Какая новая мама? Раз я сейчас твоя мама, значит, и навсегда ею останусь. Мы расстанемся совсем ненадолго. Ведь Зоя — тоже наша семья, и, когда мы с Юрой и Ниной вернемся в Москву, мы снова будем все вместе.

Я растерялась. Выходит, она отсылает меня, но на самом деле — не отсылает, потому что совсем скоро мы снова будем все вместе.

Мама продолжала:

— Ладно, не стоит сейчас ничего решать. Я еще подумаю, да и ты подумай, хорошо, Вика?

После этого между мамой и тетей Зоей начался активный обмен письмами и телеграммами. Что в них было, мама никогда не рассказывала. Но все чаще и чаще заговаривала о возвращении в Москву. Пред-

полагалось, что это произойдет летом, когда Юра закончит курс в техникуме.

— К тому же не могу же я вот так с бухты-барaxyты бросить работу. Была бы ты чуть постарше, Вика, ты бы поехала в Москву на весенние каникулы и все подготовила бы к нашему приезду. Остановилась бы у тети Зои. Но тебе ведь только девять. Боюсь, ты еще слишком мала, чтобы со всем за нас справиться. Да и ехать в Москву одной на поезде...

— А ты разве не помнишь, — прервала я ее, — как я одна ездила в Москву к тете Клаве и дяде Ване, а ведь тогда я была совсем маленькая.

Мама удивленно всплеснула руками:

— А ведь и правда! Надо же, совсем забыла.

— Если тетя Зоя поможет, я справлюсь и все-все приготовлю к вашему приезду.

Мама задумалась.

— Даже не знаю. Это ведь такая большая ответственность.

Я запрыгала по комнате.

— Да справлюсь я! Справлюсь!

Мама поцеловала меня в лоб.

— Ну что ж, может, и справишься. Я еще подумаю.

А я для пущей убедительности крепко прижалась к ней, не догадываясь, что в точности следую разработанному мамой и тетей Зоей плану.

Как-то мама спросила:

— Виктория, куда ты подевала свою дурацкую шапочку?

Это была коричневая шапка с помпоном, который чуть не на полметра торчал над головой. Я себя чувствовала в ней Буратино или гномом. Мне она нравилась.

— Совсем она не дурацкая, — ответила я, вытаскивая шапку из-под кровати.

Мама согласно кивнула.

— Я напишу тете Зое, что ты будешь в ней, когда сойдешь в Москве с поезда. Так ей легче будет тебя узнать.

— Значит, я еду?

Мама улыбнулась.

— Да. Я хорошо все обдумала и твердо уверена, что с помощью тети Зои ты сделаешь все, что необходимо.

Я обвила ее шею руками и поцеловала.

Когда мы шли к вокзалу, меня распирало чувство гордости. У меня не было и тени сомнения, что люди оглядываются и глазают на меня исключительно потому, что я несу маленький чемоданчик с двумя моими платьями и едой на дорогу, а это значит, что я еду в Москву совсем самостоятельно. Мне и в голову не приходило, что всему виной моя шапка с помпоном.

— Не забудь, — наставляла меня мама, — надеть шапку, когда будешь выходить из поезда, чтобы тетя Зоя могла узнать тебя. И никуда не отходи от своего вагона, потому что я пошлю тете Зое телеграмму с его номером. Обещай, Вика.

— Обещаю. — Поцеловав Юру и Нину, я повернулась к маме. Она вытирала платочком слезы.

— Не беспокойся, мама. Я обязательно подыщу для нас хорошее жилье.

Наклонившись, она поцеловала меня, крепко прижав к груди. Показалось ли мне, что, уткнувшись в нее лицом, я расслышала, как она сказала:

— Может, ты в последний раз — моя дочь.

Но поскольку я не углядела в ее словах никакого смысла, они тотчас же вылетели у меня из головы.

Подошел состав, и Юра помог мне забраться в вагон. Я нашла место у окна и махала им, махала,

пока они не исчезли из виду. Мельком вспомнила слезы мамы. Чего это она? В конце концов, речь идет всего о каких-то двух месяцах, а потом мы снова будем все вместе.

Открыв свой маленький картонный чемоданчик, я достала еду, которую дала мне с собой мама. Поверх платьев лежало запечатанное письмо, адресованное тете Зое.

## ЗОЯ

— Я умру. Я знаю, этим утром я умру. Вот послушай, как бьется сердце, вот-вот разорвется.

Русланова рассмеялась, продолжая укладывать ее волосы.

— Ерунда, Зойка. Уж если ты не померла во Владимирке, то от счастья и вовсе не умирают. Погляди-ка лучше на себя.

Зоя подошла к зеркалу. На ней был новый, отлично сшитый темно-синий костюм. Туфли на высоких каблуках подчеркивали стройность и изящную линию ног. Не зря на все это ушла большая часть из тех трех тысяч семисот рублей, которые ей выплатило правительство — десятая часть стоимости имущества, конфискованного после ее ареста.

— Ну, что скажешь? — спросила Зоя.

— Ты выглядишь прекрасно. Поразишь свою дочь.

— Не думаю. Я смотрю в зеркало и вижу старую бабу. И она увидит то же самое.

Русланова подушила ее своими духами.

— Ты сегодня какая-то ненормальная. Москва до сих пор помнит и любит тебя. Почему ты боишься, что не понравишься ребенку? По-твоему, в Петропавловске она видела одних красавиц?

В дверь просунул голову генерал Крюков.

— Неужели вы столько лет ждали этого дня, чтобы опоздать к поезду? Пора ехать.

Зою била нервная дрожь.

— Я так боюсь. Что, если я ей не понравлюсь? Русланова засмеялась.

— Да почему ты ей не понравишься?

Она подошла к гардеробу, достала из него свою меховую шубку и протянула ее Зое.

— Надень.

Зоя наотрез отказалась, но Русланова стояла на своем.

— Если ей предстоит стать дочерью кинозвезды, так пусть и увидит кинозвезду.

Генерал велел шоферу ехать на Казанский вокзал. Ехали в полном молчании. Зоя нервно вертела в руках сумочку, каждые несколько минут открывая ее и перечитывая телеграмму Александры, в которой она сообщала номер поезда и номер вагона Виктории. Потом снова и снова вытаскивала зеркальце и рассматривала лицо, устраняя несуществующие изъяны.

На вокзале выяснилось, что поезд опаздывает на четыре часа.

— Если вы не против, я оставляю вас, а потом вернусь, — сказал генерал. — Но если хотите, шофер отвезет вас домой.

Зоя замотала головой.

— Нет, я уж лучше останусь тут, вдруг поезд придет чуть раньше.

Она принялась ходить взад-вперед по вокзалу, не отходя далеко от перрона, на который должен был прибыть поезд. Время тянулось мучительно медленно. Если поезд скоро не придет, я сойду с ума, думала Зоя, прямо здесь, на вокзале.

Она не отдавала себе отчета, что чуть не двадца-

тый раз подходит к справочному бюро, пока мужчина в окошечке не ответил ей, не дожидаясь вопроса.

От артрита, который она заполучила в тюрьме, заныли колени. Она присела на скамейку, но ненадолго, даже боль не удержала ее на месте. Через несколько минут она вскочила и снова зашагала по платформе. Потом в очередной раз направилась к справочному бюро, а когда мужчина ответил, что поезд опаздывает на четыре с половиной часа, сердце у нее упало.

Зоя вернулась к скамейке и снова села. Посмотрела на себя в зеркальце. На лице выступил пот, кое-где виднелись следы пудры. Она вытерла лицо носовым платком и заново попудрилась.

Вернулся генерал. Узнав, что до прихода поезда осталось полчаса, он сказал:

— Я, пожалуй, подожду в машине. Наверно, вы предпочли бы встретить ее одна?

Это был вопрос, но Зоя не знала, что ответить. С одной стороны, она, конечно же, предпочла бы одна встретить Викторию, но, с другой, безумно этого боялась. Что, если она увидит на лице ребенка разочарование?

Но генерал уже ушел. Усилием воли Зоя заставила себя остаться на скамейке, но глаза ее были прикованы к перрону, к которому должен был подойти поезд Виктории. И вдруг далеко-далеко на железнодорожном пути она разглядела маленькую черную точку. Вот она все ближе и ближе. У нее перехватило дыхание, руки задрожали. А потом она и вовсе перестала что-нибудь видеть, все расплылось от набежавших слез. Достав платок, она вытерла их. Не может же она из-за слез пропустить этот момент. И ни за что не предстанет перед дочерью заревавшей старухой.

Поезд медленно вполз под своды вокзала. Зоя

стояла в самом начале перрона. Двери вагонов открылись, появились первые пассажиры. Зоя оглядела состав от головы до хвоста. Где же девочка в дурацкой шапке?

Но тут перрон заполнился выходящими из вагонов людьми, и она уже не могла разглядеть дальних вагонов.

## ВИКТОРИЯ

Когда тетенька сказала, что мы уже в Москве и поезд стал замедлять ход, я встала, стряхнула с платья крошки и надела пальто. Потом поблагодарила тетеньку за пирожок, которым она меня угостила.

Надев шапку с помпоном, я погляделась в вагонное окно, проверяя, достаточно ли хорошо выгляжу, чтобы понравиться тете Зое. Я отряхнула пальто и несколько раз прикусила губы, чтобы они покраснели, — я видела, так делают девочки постарше.

Поезд остановился, и все заторопились к выходу. Я подождала, пока почти все вышли на перрон, а потом взяла свой картонный чемоданчик и тоже вышла из вагона. Распрямив шапку, чтобы она стояла торчком, я двинулась вперед, но сразу вспомнила, что мама наказала мне не отходить от вагона.

Мимо двигалась толпа людей. Я искала глазами кого-нибудь, кто бы напоминал мою тетю, но никого подходящего не увидела. Толпа понемногу редела, и тут я увидела бегущую по платформе женщину, которая заглядывала в лица прохожих. На ней была меховая шубка, точь-в-точь такая, как на той красавице, которую я когда-то поджидала на скамейке в Петропавловске. Только эта женщина была еще красивее.

Вдруг она увидела меня и остановилась. Потом

кинулась ко мне. Когда она подбежала ближе я уви дела, что она плачет.

— Виктория? — спросила она.

Я кивнула. Мне понравился ее голос.

— Тетя Зоя?

И вдруг ее укутанные в меха руки обняли меня, и я испугалась, что она меня раздавит. Я почувствовала, как мне на лицо капают ее слезы, и даже сквозь шубку ощутила, что она вся дрожит.

Она опустилась передо мной на колени, заглядывая мне в лицо и стряхивая с ресниц слезы, чтобы лучше видеть.

— Да, — сказала она. — Да.

Я не поняла, о чем она, мне было стыдно, что она стоит на коленях и плачет. Мимо шли люди, оглядывались на нас, но она, казалось, не замечала их. Стояла на коленях и смотрела на меня. Потом прижала к себе и осыпала поцелуями лицо. И вдруг пошатнулась и стала падать — прямо на меня. Я едва-едва успела подхватить ее, чтобы она не ударилась лицом о платформу.

— Тетя Зоя! — крикнула я. Я испугалась, что она умерла.

— Все в порядке. Все в порядке. — Тетя Зоя приложила платок к глазам, из которых катились слезы. Она улыбнулась. — Прости, Вика, но для меня это такой момент, что и не рассказать. Ты ведь даже не знаешь, что все это значит и кто я такая.

Обращается со мной, как с малым ребенком, подумала я.

— Но я же знаю, кто вы. Вы моя тетя, тетя Зоя, мамина сестра.

Казалось, от моих слов слезы потекли еще сильнее. Покачав головой, тетя печально улыбнулась.

— Я больше, чем сестра твоей мамы. Ладно, пойдем.



Я не позволила ей нести мой чемоданчик, но последовала за нею. Всю дорогу я безуспешно пыталась понять смысл сказанных ею слов.

Все это очень странно. И почему она плачет? Мама плакала, когда я садилась в поезд, и вот теперь тетя Зоя тоже плачет, только еще сильнее.

А по мне, так плакать вовсе и не о чем.



## КНИГА ПЯТАЯ

### ВИКТОРИЯ

Должно быть, мамино письмо, которое я привезла, было не очень приятно тете Зое, но она вынуждена была с ним согласиться. И я, естественно, узнала его содержание лишь значительно позже.

Тебе следует с большой осторожностью выбрать время, когда открыть ей правду, кем ты ей приходишься. Она ребенок крайне ранимый и нервный, и мне кажется, не сразу смирится с тем, что у нее есть еще одна мама, кроме меня. Постарайся подготовить ее к этому психологически и эмоционально, чтобы не травмировать ее на всю жизнь.

Тетя Зоя ограничилась тем, что попросила меня называть ее просто Зоей, без «тети». Мне это показалось странным, но я согласилась.

Все, что происходило дальше, тоже казалось мне странным, хотя я никак не могла уяснить, что вызывает мое беспокойство. Часто при одном взгляде на меня у Зои из глаз начинали катиться слезы. А уж любила она меня так, как — по моему мнению — ни одной тете не снилось. Стоило мне проснуться утром, она кидалась ко мне и начинала обнимать и целовать, а у самой в глазах снова стояли слезы. А иногда вдруг ни с того ни с сего принималась целовать меня и днем. Если ей случалось на час-другой

отлучиться по делам из дома, она с неохотой и тревогой оставляла меня в квартире Руслановой одну, хотя за мной всегда могла присмотреть домработница. От всего этого голова шла кругом. Уж если она так сильно меня любит, почему ни разу не приехала повидаться в Петропавловск?

Я подозревала, что за всем этим что-то кроется, но что именно — очень долго и представить себе не могла. Пока однажды не вспомнила слов тети Зои на вокзале: «Я больше, чем сестра твоей мамы», и в голову сразу же полезли разные мысли.

Первое время мы жили у Крюковых, и, хотя они были очень добры и гостеприимны, это был не самый удачный вариант. Я отличалась весьма необузданным нравом, у них же вся квартира была заставлена красивыми, хрупкими безделушками. Я еще не понимала ценности хрусталя и картин великих мастеров. Если мне хотелось поиграть в мяч, подаренный тетей Зоей, остановить меня было почти невозможно. А когда от всего этого непонятного великолепия становилось совсем невтерпеж, я залезала под стол, категорически отказываясь покинуть свое убежище.

Спустя несколько недель Зое пришлось, как это ни было для нее тяжело, отправить меня жить и учиться к тете Клаве и дяде Ване.

Но она почти каждый день навещала меня, частенько приносила подарки — то платье, то куклу. Она баловала меня, а мне это, конечно, нравилось. К тому же мало-помалу я начинала любить ее. Так уж сложилась моя жизнь, что мне всегда не хватало любви, а тут вдруг объявилась тетя, которая предлагала ее в избытке.

Кроме того, мне очень доставало мамы, Юры и Нины. Когда они приедут в Москву? Где будут жить, если я до сих пор не подыскала им жилья? Но

в ответ на все мои вопросы Зоя лишь целовала меня и просила ни о чем не беспокоиться.

— Придет время, и все образуется. Правительство обязательно даст им квартиру. Я не думаю, что они приедут раньше лета, ведь Юра и Нина учатся, а у Александры работа.

Я безоговорочно верила ей, хотя что, собственно, я о ней знала? Только то, что она мамина сестра. Она говорила, что раньше была актрисой, а потом какое-то время не работала, но надеется, что, как только получит необходимые документы, снова будет сниматься в кино.

Беда, что на это требуется время, уж очень много людей оказались сейчас в таком же положении и ждут, как и я, документов.

Как правило, Зоя приходила около четырех, после моего возвращения из школы. Уже два месяца, как я жила в Москве. И вот однажды Зоя не пришла. Меня это ничуть не обеспокоило. Наверно, что-то задержало ее.

А тут еще тетя Клава велела отложить учебники и подойти к ней. Я подошла.

— Мне надо поговорить с тобой. Тебя никогда ничего не удивляло в тете Зое? Совсем ничего?

Я осторожно ответила:

— Нет, — не очень понимая, куда она клонит. Если я поделюсь с ней своими мыслями о тете Зое, она либо рассердится, либо сочтет меня сумасшедшей.

Тетя Клава взяла меня за руку.

— Не стану посвящать тебя во все подробности, на мой взгляд, ты еще не доросла до них. Но одно ты должна знать: все эти годы, что ты не виделась с тетей Зоей, она вовсе не жила в маленьком городке. Она провела их в тюрьме. Куда попала по ошибке.

Я ждала. По тому, как она сжала мою руку, я поняла, что это еще не все.

— Ты была совсем крошкой, а она сидела в тюрьме и не могла сама растить тебя, потому тебя и взяла к себе Александра. На самом деле Александра не твоя мама. Она твоя тетя. Твоя мама — Зоя.

Я молчала. Тетя Клава внимательно смотрела на меня.

— С тобой все в порядке? Ты все поняла?

Я кивнула.

— Да, в порядке. Мне кажется, я уже давно догадывалась об этом.

— Каким образом?

— Сама не знаю. Наверно, почувствовала.

Я все еще сидела рядом с тетей Клавой, когда раздался стук в дверь. Тетя Клава пошла открывать. На пороге стояла Зоя, нервно переводя обеспокоенный взгляд с меня на тетю Клаву.

Я поднялась:

— Мама.

Она бросилась ко мне, обняла, и мы обе разревелись. А когда чуть-чуть пришли в себя, она спросила, заглядывая мне в глаза:

— Все хорошо?

— Я очень люблю тебя, — ответила я и поцеловала.

Спустя какое-то время я спросила ее об отце, и она ответила, что он герой войны, русский летчик и его сбили в бою. В тот момент ее ответ вполне меня удовлетворил.

Когда Александра с Ниной и Юрой вернулись в Москву, мы поселились все вместе в квартире, которую им предоставили. Каждый раз, стоило мне называть Александру мамой, между сестрами вспыхивала ревность. Зоя никак не могла перенести, что я называю Александру именем, которое по праву безраздельно принадлежит только ей.

— У тебя двое детей, Александра, неужели тебе мало, что они зовут тебя мамой? А Виктория — моя, и только моя.

Александра лишь пожимала плечами.

— Что ты хочешь, Зоя? Ведь она выросла, не зная другой матери. Как же она может называть меня по-другому?

Я нашла, как мне казалось, хороший выход: продолжала звать Александру мамой, а Зою стала звать мамулей. Но Зоя так никогда и не смирилась с мыслью, что слово «мама» принадлежит не ей одной.

Наконец пришли Зоины документы, и мы с ней переехали в ту квартиру на набережной Тараса Шевченко, где и прошли последующие годы моей жизни: две комнаты и крохотная кухонька. А мамуля стала снова сниматься. Студия «Ленфильм» предложила ей роль в картине «Медовый месяц», где она выступила уже в новом для себя амплуа — в комедийной роли женщины средних лет. Время, когда она играла лирических героинь, ушло в прошлое.

Картина и мамуля имели большой успех. Карьера мамули стала снова набирать темп.

## ЗОЯ

Какое счастье снова работать! Но резкий переход от ролей лирических героинь к ролям матерей, тетушек и характерных персонажей оглушил словно шок. Сказывалось отсутствие промежуточного периода. В тюрьму ушла лирическая героиня, а из тюрьмы вышла характерная актриса. На нее всей тяжестью навалился возраст, чему в немалой степени способствовали встречи с поклонниками ее таланта. Так, однажды к ней на улице подошла какая-то женщина.

— Вы ведь Зоя Федорова? — спросила она.

Зоя утвердительно кивнула.

— Мне так и показалось, только выглядите вы как-то старо.

Зоя посмотрела на нее. Неужели она намеренно так жестока? Нет, вряд ли.

— С моего последнего фильма прошло уже почти десять лет.

Женщина кивнула.

— И морщин у вас что-то очень уж много.

— Верно, — сказала Зоя. — Но десять лет — это десять лет. Уверяю вас, если бы вы сегодня увидели себя такой, какой были десять лет назад, вы вряд ли узнали бы себя.

Женщина снова согласно кивнула головой, словно Зоя изрекла на редкость мудрую мысль.

Собственно, ее угнетал не сам возраст, как таковой. Тщеславие такого рода было ей чуждо. Она скорбела об утраченном времени не потому, что оно невозвратно пропало для карьеры, а потому, что так долго была лишена возможности наблюдать Викторию в детстве. Когда она вновь обрела своего ребенка, Виктории было уже девять. Потом десять, одиннадцать, двенадцать лет. Время неумолимо ускоряло свой бег, у нее на глазах девочка начала превращаться в девушку. Она вытянулась, черты лица изменились, начала чуть-чуть округляться грудь. Уже сейчас можно было с уверенностью сказать, что она вырастет красавицей. И все же Зоя с негодованием отметала мысль, что время детства навсегда ушло. В этом была какая-то горькая несправедливость.

Зоя сама чувствовала, что в заботах о Виктории сильно перебарщивает, однако ничего поделать с собой не могла. Ей выпало так мало времени провести с дочерью, и вот теперь то же время постепенно отнимает у нее Викторию, усаливая стремление

девочки к независимости, что в один прекрасный день навсегда разлучит ее с матерью.

Когда Виктории исполнилось тринадцать, Зою охватила тревога иного рода. Что станется с дочерью, если с ней самой что-нибудь случится? Эта мысль неотступно сверлила мозг.

До ареста Зоя как нечто само собой разумеющееся воспринимала свое отменное здоровье. Но после страшных лет, проведенных в тюрьме, она всерьез стала о нем беспокоиться. То там, то тут что-то болело. В сырую погоду нестерпимо ломило колени. Серьезную тревогу вызывали легкие — дни в карцерах Владимирки не прошли для нее даром.

Ее угнетала мысль, что она умрет прежде, чем вырастет Виктория. И все чаще и чаще вспоминала Джексона Тэйта, даже не подозревавшего, что у него есть дочь. Если существует хоть какая-то возможность, он должен узнать об этом. Тот Джексон Тэйт, которого она знала и любила, хотел бы знать все, хотел бы заботиться о своем ребенке. Если, конечно, он жив.

Зоя попыталась воссоздать в памяти облик Джексона. Но все попытки оказались тщетными. Американец в морской форме — какой у него, кстати, был чин? — с коротко подстриженными волосами.

Ничего больше не припоминалось — как же ей отыскать его в той далекой Америке? Если б у нее был хоть один знакомый американец, которому она могла бы довериться! Но теперь у нее уже не было знакомых американцев.

У кого они наверняка были, так это у Зинаиды Сахниной. Она жила в том же доме, что и Зоя, и они подружились. А работала Зина в гостинице «Украина», где останавливались многие приезжающие в Москву иностранцы, дежурной на пятом этаже. Наверняка Зина могла найти среди них кого-то заслуживающего доверия.



Но вот вопрос: можно ли доверять самой Зинаиде? НКВД упразднили, но его место занял КГБ, и ни для кого не секрет, что все дежурные по этажу в московских гостиницах являются осведомителями и обязаны докладывать о проживающих на их этажах: кто их посещает, когда они приходят домой, когда уходят. Просьба о помощи может обернуться большой бедой.

И все же летом 1959 года Зоя приняла решение: если она хочет разыскать Джексона Тэйта, то более благоприятного момента не придумаешь. В Москве открывается Американская торговая выставка, а это значит, что сюда приедет много американцев. И уж конечно, многие из них останутся в «Украине». В свободный от дежурства день Зоя пригласила Зинаиду на обед.

После обеда она сказала:

— Зина, мне надо поговорить с тобой.

— Давай говори!

Зоя пристально поглядела на нее.

— Мне нужно знать, могу ли я тебе доверять.

Зинаида фыркнула.

— Что за вопрос? Мы же подруги.

Зоя оставила ее слова без внимания.

— Ты ведь осведомительница, правда? Только честно.

— Ладно. Да, я стукачка. От тебя не стану этого скрывать.

Зоя принялась нервно тереть прядку волос.

— Понимаешь, мне неприятно это, хоть мы с тобой и подруги. Я столько настрадалась в своей жизни и...

Зинаида взяла ее за руку.

— Зочка, дорогая. Я делаю то, что обязана делать. Но тебя я никогда не предаю. Клянусь. Вы с Викой для меня все равно что родные.

Зоя глубоко вздохнула.

— Хорошо. Я тебе тоже верю.

И рассказала Зинаиде историю своей любви с Джексоном Роджерсом Тэйтом.

В заключение Зоя сказала:

— Я хорошо понимаю, что, исполнив то, о чем я тебя прошу, ты можешь поплатиться работой. А не ровен час, дело может обернуться и похуже.

— Знаю, — ответила Зинаида, — и все же для тебя я это сделаю. Быть стукачом — мало чести. Это мой вечный грех. Я присмотрюсь к американцам на своем этаже и постараюсь найти такого, кому можно доверять и кто поможет тебе.

Зоя расцеловала ее.

— Ты добрая женщина.

Провожая Зинаиду, она предупредила:

— Не забудь, Вике ни слова. Она до сих пор не знает, кто ее отец.

## ИРИНА КЕРК

Когда Ирина Керк узнала, что для работы переводчиками на Торгово-промышленной выставке в Москве требуются американцы, владеющие русским языком, она предложила свои услуги и была принята в числе других ста претендентов. Для человека, ощущавшего духовную связь с Советским Союзом, но никогда там не бывавшего, это было даром свыше.

Родители Ирины, подобно многим другим русским, покинули Россию после революции. Она родилась в Китае, в Харбине, и выросла в семье, где все говорили по-русски, а кроме того, знала английский, французский и немного итальянский.

Ее мать и отец, журналист по профессии, развелись, после чего Ирина с матерью поселились вместе с дедом по материнской линии, русским адмира-

лом, превратившимся в Китае в кладбищенского сторожа. Под впечатлением рассказов бабушки Ирина прожила детские годы в полной уверенности, что придет день, и в России, захваченной большевиками и коммунистами, произойдет еще одна революция, и страной снова станет править царь, и тогда они тоже вернутся домой. Когда в 1941 году началась война, Россия стала проявлять интерес к русским, проживающим в Китае: в кинотеатрах показывали русские фильмы, в магазинах продавались пластинки с записями русских песен. Начала вещать на русском языке новая радиостанция.

У Ирины сохранились воспоминания, как девочкой она копила монетки, чтобы посмотреть такие фильмы, как «Фронтовые подруги», «Музыкальная история» и другие, в которых играла Зоя Федорова.

В 1946 году она вышла замуж за американского моряка и уехала из Китая. Молодые обосновались на Гавайях и со временем у них родилось трое детей. Но семья распалась. Ирина работала в Гавайском университете, когда в 1959 году на русскую кафедру поступила бумага, разъясняющая, какие сведения о себе должны сообщить лица, желающие принять участие в работе Торгово-промышленной выставки. Из числа принятых двадцать пять получили назначение гидами-переводчиками частных промышленных фирм, а остальные семьдесят пять — переводчиками правительственных организаций. Ирина стала работать в частной компании «Пепси-Кола».

На стендах «Пепси-Колы» демонстрировался процесс изготовления напитка, и, пока русские девушки раздавали пробные бутылочки, Ирина и ее американские коллеги вели беседы с русскими посетителями. «Пепси-кола» интересовала их мало. Гораздо больше их интересовало все, что касалось Соединенных Штатов, и с десяти утра до десяти ве-

чера, когда выставка закрывалась, Ирина без устали отвечала на их вопросы.

Она присутствовала в зале, когда шли так называемые «кухонные дебаты» между тогдашним вице-президентом Ричардом М. Никсоном и Никитой Хрущевым, и именно на ее долю выпало переводить их для собравшихся репортеров.

Ирину Керк поселили на пятом этаже гостиницы «Украина». Как и все другие постояльцы гостиницы, она постоянно имела дело с дежурными по этажу, которые работали посменно — двадцать четыре часа в смену. Они сидели за столиками неподалеку от лифта в красных фирменных платьях с синими шарфиками, принимая ключи от тех, кто уходил из номера, и вручая их тем, кто приходил. От их внимательного взгляда ничто не ускользало. Ирине показалось, что одна из них, по имени Зинаида, настроена вполне дружелюбно.

Подходил к концу август 1959 года. Еще два дня, и Ирина должна была уехать домой. Каково же было ее удивление, когда, отдавая ей ключи от номера, Зинаида отвела ее в сторонку и пригласила к себе на обед. Ирина с радостью приняла приглашение. Получить приглашение в русский дом было событием из ряда вон выходящим.

Ирина спросила, можно ли ей привести с собой соседку по номеру.

— Нет, нет, приходите одна, — поспешно ответила Зинаида.

Ирине показалось, что Зинаида чего-то испугалась.

Склонившись близко к Ирине, она повторила, сильно понизив голос:

— Приходите одна. И пожалуйста, никому не говорите, что я пригласила вас. Даже друзьям.

— Хорошо.

— Выйдите из гостиницы ровно в семь часов. Я

буду стоять на противоположной стороне улицы. Упаси вас Бог показать, что вы меня знаете. Просто идите в том же направлении, что и я, только по своей стороне улицы.

Ирина согласилась.

Без пяти семь она уже стояла у входа в гостиницу. Ровно в семь на противоположной стороне улицы появилась Зинаида и, не останавливаясь, даже не глядя в направлении Ирины, проследовала дальше.

Ирина пошла за ней по своей стороне улицы, краем глаза глядя на нее и стараясь не выпускать из виду. В какой-то момент ей показалось, что она принимает участие в плохом детективном фильме. Она достаточно долго прожила в Москве, чтобы понять, что, приглашая к себе домой американку, Зинаида подвергает себя огромному риску, но ей и в голову не приходило, что за приглашением кроется нечто большее, чем обед.

Зинаида свернула с шумного проспекта в узенькую улочку. Ирина последовала за ней по другой стороне. Наконец дежурная по этажу вошла в темный подъезд. Ирина направилась следом, предварительно оглянувшись и убедившись, что улица пуста. Зинаида ждала ее на лестнице, между двумя пролетами, и провела в свою однокомнатную квартирку. Войдя, Ирина увидела миловидную блондинку и хорошенькую девочку лет одиннадцати-двенадцати с застывшим, напряженным лицом. При появлении Ирины блондинка поднялась. Что-то в ней показалось Ирине очень знакомым.

Зинаида представила их.

— Это Зоя Федорова и ее дочь Виктория.

Перед Ириной вновь возникло лицо из детства.

— Та самая Зоя Федорова? Актриса?

— Вы меня знаете? — воскликнула Зоя, одновременно обеспокоенная и довольная.

Ирина объяснила, откуда знает Зою. У актрисы, казалось, отлегло от сердца. Она подтолкнула Викторию вперед поздороваться с гостьей. Заглянув в бездонные зеленые глаза девочки, Ирина прочитала в них напряженную тревогу, столь странную для такого юного существа. Страдания или обостренное чувство одиночества? Не найдя ответа, она лишь сразу отметила, что девочка очень мало похожа на мать.

Обед прошел легко и непринужденно. Ирину удивило лишь одно: Виктория то и дело поглядывала на мать, словно ища ее одобрения. Зоя в ответ с улыбкой гладила ее по голове, и только после этого Виктория вновь принималась за еду. За весь обед она не произнесла ни слова.

После обеда Зоя велела дочери идти домой и заняться приготовлением уроков. Девочка беспрекословно повиновалась. Весьма церемонно поблагодарив за обед Зинаиду и неуклюже поклонившись Ирине, Виктория ушла.

Зоя помогла Зинаиде убрать со стола. После того, как был подан чай, заговорила Зинаида:

— Вы, наверное, понимаете, как мне хотелось пригласить вас на обед и как это непросто сегодня в России. Я хочу сказать, что вы американка, и...

Зоя наклонилась вперед.

— Зина моя самая близкая подруга. Этот обед она устроила ради меня. Мне необходимо было поговорить с тем, кому я могу полностью довериться.

И она рассказала Ирине о своей любви с Джексоном Тэйтом и о последовавших за этим годах тюрьмы.

— И вот теперь на сердце у меня очень тревожно: если со мной что-то случится, Виктория останется совсем одна. Не могли бы вы разыскать Джексона и сказать ему, что у него есть дочь. И еще, пожалуйста, передайте ему вот это.

Она протянула Ирине фотографию Виктории.

— Девочка что-нибудь знает о нем? — спросила Ирина.

Зоя мотнула головой.

— Нет. Она думает, что ее отец был летчиком, который погиб на войне. Я открою ей правду, если вы разыщете ее отца. Только тогда.

— Вы должны рассказать мне все, что знаете о Джексоне Тэйте, — сказала Ирина. — После стольких лет найти его будет совсем не просто.

— Я знаю о нем очень мало, — пожала плечами Зоя. — Он служил в американском флоте. У него на рукавах были золотые нашивки. Во время войны он был прикомандирован к вашему посольству в Москве.

— В каком звании он был в то время? Он никогда не упоминал, в каком штате живет?

— Нет, — покачала головой Зоя. — А если и упоминал, я не помню. Но на рукавах у него были золотые нашивки. Уверена, их было больше одной.

— Хорошо, — сказала Ирина. — Как только я вернусь домой, я pošлю запрос в военно-морское министерство. Они должны знать. Но как мне сообщить вам об этом?

— Только не пишите мне, — торопливо сказала Зоя. — Лучше Зине на адрес гостиницы.

Она взглянула на Зину, словно спрашивая разрешение.

— Пожалуй, можно, — сказала Зинаида. — Вы ведь так долго жили у меня на этаже. Но только открытку. Письмо может вызвать подозрение. Пишите лишь в том случае, если найдете его. Напишите, что по дороге домой заехали в Париж. Париж вам очень понравился, но Москва — больше. Думаю, администрации гостиницы ваше послание придется по вкусу. А мы будем знать, что вы его отыскиали.

Ирина согласилась. Когда пришло время уходить, Зоя предложила немного проводить ее. Зина была

против. Американцев бывает так легко узнать по одежде. Но Зоя настаивала. Она будет осторожна.

На улице Зоя, оглядевшись по сторонам, сунула Ирине в руку клочок бумаги.

— Что это? — спросила Ирина.

— Мой адрес и номер телефона. Если вы снова приедете в Москву, пожалуйста, свяжитесь со мной.

Ирина смутилась.

— Но мне показалось, что вы не хотите этого.

— Писать не надо, — сказала Зоя. — Но если вы когда-нибудь будете здесь, зайдите ко мне. Если меня не будет, значит, она предала меня.

— Зинаида? Ваша лучшая подруга?

— Только ей знать — так это или нет. — Зоя печально улыбнулась, беспомощно разведя руками. — Я до конца ей не доверяю.

Как только показались огни проспекта, Зоя попрощалась и ушла.

А Ирина Керк через несколько дней вернулась на Гавайи.

Она тут же направила письмо в Вашингтон, округ Колумбия, в Министерство военно-морских сил США:

Господа,

Буду вам безмерно признательна, если вы сообщите мне адрес Джексона Тэйта. В 1945 году он, будучи морским офицером, был прикомандирован к американскому посольству в Москве. Его прежнее и нынешнее звания мне неизвестны.

Искренне ваша,

Ирина Керк.

Ответа она не получила. Прождав месяц, она написала снова, не зная, куда обратиться дальше. И снова не получила ответа. После этого она еще несколько раз, иногда с интервалом в несколько меся-



цев, писала в Министерство военно-морских сил. Все ее письма остались без ответа.

Прошло время. То ли работа в университете, то ли проблемы с воспитанием троих детей стали причиной того, что вечер, проведенный в квартире Зинаиды, постепенно отошел на задний план.

## ДЖЕКСОН ТЭЙТ

К 1959 году Джек Тэйт уже девять лет как был в отставке. Он принял решение уйти в отставку сразу после того, как его перевели из Терминал-Айленда в Аламеду, штат Калифорния, на должность командира военно-воздушной базы.

10 марта 1949 года он стал контр-адмиралом Джексоном Роджерсом Тэйтом. Что и говорить, это его обрадовало, но не более того. Джек Тэйт всегда был в ладу с логикой и никогда не выплескивал наружу своих эмоций. Звание контр-адмирала он принял не как признание своих заслуг, скорее, как личное достижение — результат многолетних трудов. В конце концов, далеко не каждому дано начать службу в военно-морских силах матросом второго класса, а закончить контр-адмиралом.

К тому же у Джека не было никаких иллюзий относительно своего нового назначения. Вряд ли оно многим пришлось бы по душе. Джек сам выбился наверх и никогда не принадлежал к военно-морской элите. А тех, кто получал высокие звания, не будучи выпускником военно-морской академии в Аннаполисе и частью истеблишмента, такое назначение вряд ли могло порадовать.

Однако Джек воспринял его совершенно спокойно. Он славно послужил флоту, его службу оценили и по достоинству вознаградили. И это законо-

мерно и справедливо. Все правильно. Он отдал флоту более тридцати лет жизни, а флот дал ему возможность прожить эту жизнь так, как ему хотелось. Ни о каких чувствах не могло быть и речи ни с той, ни с другой стороны.

Адмирал Тэйт тщательно обдумал свои перспективы. База в Аламеде — это огромная ответственность, новые каждодневные заботы, не последняя из которых — большое количество штатских служащих, требующих к себе особо тактичного и предупредительного отношения. А прикинув, что его пенсия после отставки будет составлять семьдесят пять процентов от будущей зарплаты, Джексон решил, что надо быть последним идиотом, чтобы тянуть тяжелую лямку всего лишь за двадцать пять процентов.

В 1950 году Джек Тэйт вышел в отставку. Купив штатскую одежду, он немедленно собрал всю форменную морскую и сжег ее. Он никогда не уподобится старикам, которые, с трудом втиснувшись в форму, щеголяют в ней по праздникам. Сентиментальные воспоминания о славных морских деньках хороши либо наедине с самим собой, либо в узком кругу самых близких друзей. Все остальное — бессмысленный, никому не нужный спектакль. Перед ним открывался новый жизненный путь, и было самое время вступить на него.

Джек принял приглашение своего старого друга по морским странствиям Эрла Стенли Гарднера и отправился погостить к нему в Калифорнию, в Байю. Он и думать не думал, сколько там пробудет, да теперь это уже было и неважно. Он свободен, и его никто нигде не ждет.

К его удивлению, Бая ему очень понравилась, и он задержался там на целых полтора года, исколесив на джипе специальной конструкции вдоль и по-

перек все окрестности. Потом он сменил несколько работ, изъездив по своим обязанностям все Соединенные Штаты. Какое-то время он подвизался в фирме под названием «Экспонирование морских судов», потом в сан-францискской компании, занимавшейся производством переносных радаров и подводных сонаров. После этого он какое-то время работал в корпорации «Вестингауз» в Балтиморе, штат Мэриленд.

Когда военно-морское министерство переслало ему первое письмо Ирины Керк, он прочел его и тут же выбросил. Письмо ни о чем ему не говорило, а женщину по имени Ирина Керк он, насколько помнит, никогда не встречал.

За долгие годы службы он получал немало писем от людей, которых либо вовсе не помнил, либо встречи с которыми были столь мимолетны, что он не считал нужным им отвечать. К счастью, в министерстве не заведено давать адреса. Они просто пересылали почту по назначению, предоставляя адресату поступать по собственному разумению.

Он получил еще несколько писем от неизвестной ему Ирины Керк, но, как и прежде, все их выбрасывал. Кто бы она ни была, размышлял он, с военно-морским флотом она наверняка не связана. Если хочет, пусть изложит в письме свое дело. Так он хотя бы узнает, что ей надо.

А ей что-то было надо. Это очевидно. Быть может, она вдова морского офицера, прознавшая, что он тоже вдовец, и решила подыскать себе нового мужа. В прошлом он получил несколько таких писем.

Да, кто бы ни была эта Ирина Керк, ему это все неинтересно. Он не любопытен.

Последняя работа, вынуждавшая его постоянно курсировать между Флоридой и Вашингтоном, была

в компании, занимавшейся проблемой тяжелых песков. Когда она ему надоела, он ушел и переехал в Вирджиния-Бич, штат Вирджиния, где жил его сын, отставной морской капитан Хью Джон Тэйт<sup>1</sup>.

В Вирджиния-Бич Джек получил письмо от своего друга Трэвиса Флетчера, который вел в Индии дела Фонда Лоуэлла Томаса, занимаясь размещением беженцев из Тибета. Флетчер счел Джексона подходящей кандидатурой и предложил Джеку заменить его на этом посту. Флетчер писал:

Эта работа не сулит тебе больших денег, но ты будешь выполнять крайне важную, на мой взгляд, миссию. У тебя будет номер с кондиционером в гостинице в Дели, конторы в Гонконге и в Афганистане. Однако большую часть времени тебе придется проводить в горах.

Поглядев на карту, Джек понял, что горы — это Гималаи. Он поразмышлял над сделанным ему предложением и подумал: «А почему бы и нет?» Жизнь в Вирджиния-Бич успела ему наскучить, там он немного встряхнется. Он написал Флетчеру, что предложение это кажется ему интересным.

Но незадолго до того, как принять окончательное решение, он познакомился с Хейзл Калли, вдовой, которая занималась строительством домов на принадлежащих ей землях. Крошечного росточка, чуть больше полутора метров, с огненно-рыжими волосами — такова была Хейзл, которую все любовно называли Хейзи.

Джек стал часто встречаться с Хейзи, и теперь предложение Флетчера представилось ему в несколько ином свете. Он проявил к нему интерес, потому

---

<sup>1</sup> При крещении Хью Джон Тэйт получил имя Хью Джон Spann. Он был сыном Хелен Spann, второй жены Джексона Тэйта. Восхищение отчимом и его морской карьерой побудило Хью взять фамилию Джека. Со временем Джек усыновил его.

что жизнь его была пуста. Поскольку она больше не казалась такой уж пустой, работа в Индии потеряла свою привлекательность.

## ВИКТОРИЯ

Жить с мамулей было чудо как хорошо. Летом, когда мне пошел тринадцатый год, я поехала с ней на Украину, где шли съемки ее фильма. Не могу утверждать, что я уже тогда решила стать актрисой, но мне очень нравилось бывать вместе с ней на съемочной площадке, хотя очень скоро часами сидеть на одном месте показалось мне занятием весьма утомительным.

Мне гораздо больше нравилось убегать на улицу и играть с мальчишками. Не знаю почему, но девочки и их игры меня нисколько не занимали. Грубые, неотесанные мальчишки нравились мне куда больше.

В то лето я стала взрослой. По счастью, это произошло дома. Я больше смутилась, чем испугалась, но когда рассказала об этом мамуле, она только рассмеялась и, обняв меня, объяснила, что все это абсолютно нормально.

И хотя мамуля не готовила меня к этому событию, она отлично справилась с ситуацией. Она даже рассказала мне немного о сексе, конечно не все, но вполне достаточно. Как бы то ни было, тогда ее слова не вызвали у меня особого интереса, может быть, потому, что я была в ту пору чрезмерно замкнутой и одинокой.

Не помню, как относилась к этому мамуля. Сама она была необычайно общительна. Всегда ее вспоминаю в окружении людей. Где бы мы ни жили, к нам всегда приходили бесконечные гости. Я уходила спать, а они допоздна засиживались за беседой. Часто

я засыпала под их смех и разговоры, смысла которых не понимала.

Но кое-какие обрывки я улавливала, и они нередко ставили меня в тупик.

Вспоминаю одну женщину, которая пришла к нам в гости.

— Виктория? Не очень-то распространенное имя в России, — сказала она мамуле.

А другая гостья, потрепав меня по щеке, добавила:

— Она обещает стать очень хорошенькой, вот только совсем не похожа на русскую девочку. — И обе засмеялись.

Когда мне исполнилось лет четырнадцать или пятнадцать, я напрямик спросила мамулю:

— Это правда, что мой папа был летчиком и погиб во время войны?

Она удивленно посмотрела на меня.

— Почему ты спрашиваешь?

— Потому что не могу понять: я родилась в январе сорок шестого года, а война кончилась в мае сорок пятого. Чтобы родить ребенка, тебе надо было быть беременной девять месяцев. Выходит, мой папа должен был погибнуть в самом конце войны. Может быть, в самый последний день. Так?

Мамуля улыбнулась.

— Я смотрю, ты стала совсем взрослая, Вика. Наверно, пришло время для взрослого разговора.

Мы сели за стол. Мама взяла меня за руку.

— Может, до тебя дошли какие-нибудь сплетни?

Я мотнула головой:

— Нет. Но я постоянно слышу твои разговоры с подружками, иногда они говорят какие-то странные вещи. Вот я и задумалась.

Мамуля кивнула.

— Я не говорила тебе прежде, боялась, что ты не поймешь. Но сейчас, мне кажется, ты готова узнать правду.

Она рассказала мне все, всю историю их любви с самого первого дня, и то, как отца выслали из страны и как ее из-за любви к нему посадили в тюрьму. В ее рассказе их любовь представлялась мне прекрасной.

— Так мы никогда и не поженились, я и твой отец, потому что нам не позволили быть вместе. Но мы очень любили друг друга, и нам очень хотелось, чтобы у нас была ты.

Я не произнесла ни слова. Не потому, что испытала сильное волнение, а потому, что была захвачена ее рассказом.

Мамуля посмотрела на меня с беспокойством.

— Ну как, Вика? Можешь ты меня понять?

Я поцеловала ее.

— Конечно.

И засыпала вопросами об отце. Какой он? Высокий? Какого цвета у него глаза? Наконец мамуля не выдержала.

— Если хочешь увидеть отца, встань перед зеркалом и внимательно всмотришься в себя. Увидишь его.

Я кинулась к зеркалу. На меня смотрела девочка — чересчур высокая, тощая, кожа да кости, с тоненькими руками и ногами. Я стала сравнивать свое лицо с лицом мамы — ясно, что те черты, которые я не нашла у мамы, достались мне от папы. Зеленые глаза, темные волосы, широкие скулы. И рост — мой отец, должно быть, тоже высокий.

Я подбежала к мамуле.

— Дай мне посмотреть его фотографию.

— У меня ничего нет, все пропало, — сказала она. — После ареста все конфисковали.

— Но что-то должно же было остаться у тебя от отца. Что-нибудь?

— Нет, ничего. Хотя подожди, — сказала она, приложив руку ко рту, — одна вещица осталась.

Подойдя к письменному столу, она стала рыться в ящике.

— Вот, — сказала она, — он принадлежал ему.

И протянула мне электрический фонарик с красно-черным верхом.

— Видишь, написано «Сделано в США»? Это его фонарик. Он забыл его здесь. И это все, что у меня осталось.

Я взяла фонарик и прижала к груди, словно в нем сохранилось что-то от папы. Фонарик, конечно, не работал. Батарейки давным-давно сели, а новых, годившихся для американского фонарика, в России было не найти. Но это был его фонарик, вот что главное. Что-то, принадлежащее моему отцу, перешло ко мне.

Фонарик стал моим талисманом. Я могла смотреть на него часами, мысленно представляя себе его в руке отца. Воображение уносило меня еще дальше, и вот уже отец, красивый и высокий, стоял передо мной, крепко сжимая в руке фонарик.

— Когда-нибудь я встречу с ним, — сказала я мамуле.

Она фыркнула.

— Не глупи, Вика. Мы даже не знаем, где он, да и жив ли вообще.

— Я разыщу его, вот посмотришь.

Мамуля положила руки мне на плечи.

— Послушай, Вика. Все это очень серьезно. Я понимаю, что тебе хотелось бы увидеть отца. Это естественно, но это невозможно. То, что ты говоришь, очень опасно. Это может принести тебе массу неприятностей.

— А мне плевать!

— Вика, он старше меня. Не исключено, что он уже умер. Все эти годы я ничего не слышала о нем; я знаю только его имя. А этого так мало.



Я спросила, что она имеет в виду.

— Помнишь тот вечер, когда мы обедали у Зинаиды? Там еще была американка, ее звали Ирина Керк?

У меня остались от того обеда весьма смутные воспоминания.

— Я попросила ее разыскать твоего папу. Она обещала. Сказала, если найдет, пришлет весточку. Я не по-лучила от нее ни слова.

Я расстроилась. Если уж американка не смогла найти отца, как я могу надеяться разыскать его из России? И все же я попытаюсь. Тем или иным путем, но попытаюсь. Он жив. Я достаточно настрадалась за свою короткую жизнь. Господь не дал бы мне узнать о его существовании, если бы он уже умер.

## ИРИНА КЕРК

Летом 1962 года финансовое положение Ирины Керк, которая теперь жила в Блумингтоне, штат Индиана, и преподавала в университете, оказалось весьма плачевно. В Испании, на Мальорке, куда она приехала вместе с детьми, чтобы приняться за свой первый роман, жить было трудно. Она написала декану своего факультета, прося совета. В ответной телеграмме он предложил ей следующее: если удастся пристроить детей в какой-нибудь детский летний лагерь, а затем успеть в Копенгаген к рейсу самолета, на котором группа студентов их университета вылетает в Москву, то она может присоединиться к этой группе в качестве руководителя тура, что даст возможность ей вместе с детьми получить право на бесплатный перелет домой.

Москва была последним пунктом шестинедельного турне, в программу которого входило посеще-

ние восьми столиц других стран. Прибыв в Москву, Ирина обнаружила, что листок с Зоиным адресом и телефоном остался дома. Поскольку о телефонных справочниках в Москве знали лишь понаслышке, разыскать Зою не представлялось возможным. Правда, оставалась еще надежда на Зинаиду.

Ирина поднялась на пятый этаж гостиницы «Украина», как раз когда происходила смена бригад. Она сразу узнала двух дежурных по этажу, но Зинаиды среди них не было. Обе женщины тоже узнали Ирину и, казалось, обрадовались встрече, что облегчало ее задачу.

Переглянувшись, женщины уставились на Ирину. Они смотрели на нее тем особым, присущим только русским взглядом, значение которого Ирина поняла незамедлительно. Он означал: кое-что мы тебе скажем, но ты уж сама догадайся, что кроется за этими словами. Одна из них отвела ее в сторонку и шепнула:

— Зины здесь больше нет.

— Я и сама вижу, — сказала Ирина. — А где она? Мне бы хотелось повидать ее.

— Мы не знаем. Ее уволили на следующий день после вашего отъезда.

Внутри у нее похолодело. Хотя она могла поклясться, что никто не видел, как она входила и выходила из квартиры Зинаиды в тот вечер, значит, все-таки кто-то ее увидел. Должно быть, кто-то из КГБ. Арестовали Зину или просто уволили? Скорее всего, ей этого никогда не узнать.

Поблагодарив женщин, Ирина ушла из гостиницы. Она решила не разыскивать Зою. Если уж в КГБ прознали про обед у Зинаиды, поиски Зои ей очень навредят. Да и к чему эти поиски, если у Ирины нет совершенно никаких новостей о Джеке Тэйте? Ирина вернулась вместе со студентами домой.

Летом 1963 года она отправилась в Перу навестить подругу, которую не видела с детских лет в Китае. Накануне отъезда из Перу она сделала несколько прощальных звонков друзьям и знакомым. Одна из ее знакомых упомянула в разговоре вечеринку, на которой побывала накануне.

— Интересно было? — из вежливости спросила Ирина.

— Нет, чудовищно скучно.

Ирина рассмеялась.

— Но хоть кто-нибудь интересный там был?

— Пожалуй, да, был, но лишь тем, что работал в 1945 году в американском посольстве в России.

У Ирины бешено заколотилось сердце.

— Как его зовут? — воскликнула она, не узнав своего голоса.

— Ирина, что с тобой? — изумленно спросила приятельница. — Я не помню, как его зовут.

— Тогда скажи, как зовут хозяйку дома? И дай мне ее телефон!

Тут же набрав номер телефона, она описала хозяйке дома ее вчерашнего гостя.

— Да, да, — подтвердила та и назвала имя, совершенно Ирине незнакомое. На какое-то мгновение ее охватило отчаяние. Она так надеялась, что это был Джек Тэйт.

Она взяла номер телефона незнакомого человека и позвонила ему.

— Да, — ответил он. — Я помню Джека Тэйта.

— Пожалуйста, скажите, где он сейчас? Я повсюду разыскиваю его.

— Сожалею, но я уже много лет не виделся с ним. Ничем не могу вам помочь.

Видимо, он уже собирался повесить трубку.

— Ради Бога, я ищу его вот уже несколько лет. Может, вы посоветуете мне хоть что-нибудь?

Поколебавшись, он сказал:

— Я знаю одного человека в Южной Каролине, который, по-моему, до сих пор поддерживает отношения с Джеком.

И дал ей его имя и адрес<sup>1</sup>.

Вернувшись домой, Ирина отправила письмо человеку, живущему в Южной Каролине, с просьбой сообщить адрес Джека Тэйта. Прождав ответа три месяца, Ирина пришла к выводу, что поиски Джека Тэйта окончательно зашли в тупик.

Однако через несколько недель после этого она получила письмо со штемпелем Южной Каролины. Адресат приносил извинения за задержку ответа, объяснив ее весьма просто: он всего лишь затерял где-то ее письмо. Он сообщил ей последнее звание Джексона Тэйта и его адрес в Вирджиния-Бич, штат Вирджиния. Ирина тупо уставилась на листок бумаги. Ей с трудом верилось, что она держит в руках именно то, что так долго искала.

Когда дети легли спать, Ирина присела к столу и задумалась. Что ей написать адмиралу Тэйту? Если бы она хоть что-то знала о нем, все было бы гораздо проще. Женат он или нет? Есть ли у него дети? Открывает ли его жена почту? Как он отнесется к тому, что прошлое настигло его?

В конце концов она написала:

Дорогой адмирал Тэйт,  
у меня есть для Вас информация личного характера. Если она интересует Вас, позвоните мне, пожалуйста, по этому телефону.  
Искренне Ваша,

Ирина Керк.

Записка вышла что-то уж очень краткая, она и сама это понимала, но что еще могла она написать,

---

<sup>1</sup> Ни Ирина Керк, ни Джексон Тэйт так и не смогли вспомнить имени мужчины, работавшего в американском посольстве, и имени человека из Южной Каролины.

не рискуя, что кто-то уничтожит письмо раньше, чем он его прочтет? Да и о существовании дочери не сообщишь вот таким образом. Чего доброго, она после этого и вовсе никогда о нем не услышит. Нет, пусть сам позвонит ей, ей необходимо услышать его голос, когда он узнает новость. Только так она поймет, заботит ли его вообще судьба Зои и их ребенка.

Когда раздался звонок, она сидела за обеденным столом с детьми.

Голос был низкий, с едва заметным южным акцентом. В тоне звучала непререкаемая властность.

— Говорит адмирал Тэйт. Вы мне писали.

На секунду она смешалась.

— Да, писала.

— Так в чем дело?

— Простите, адмирал, вы женаты?

В голосе зазвучали подозрительность и раздражение.

— Зачем вам это знать? И кто вы, собственно, такая?

Ирина уже полностью овладела собой.

— Сожалею, но вначале вы должны ответить на мой вопрос.

После некоторой паузы он ответил:

— Нет, не женат.

— Вам что-нибудь говорит имя Зоя? — спросила Ирина.

Она почувствовала, как у него на мгновение прервалось дыхание. Когда он вновь заговорил, голос звучал мягче.

— Очень многое.

— Я встречалась с Зоей. Она просила передать, что у вас в России есть дочь.

В трубке послышалось какое-то странное мычание. Когда он заговорил, в его голосе ей вновь почувдились нотки недоверия.

— Как ее зовут?

— Виктория.

— Ответа не последовало. Ирина решила, что их разъединили.

— Адмирал Тэйт, вы меня слышите?

Он плакал.

— Простите меня, миссис Керк, поначалу я вам не поверил. Пожалуйста, расскажите мне все, что знаете.

Ну что ж, значит, он все-таки не железный. Но чем объяснить его слезы — потрясением или сентиментальностью? Хотя какое это теперь имеет значение?

— Послушайте, адмирал, мы далеко друг от друга, разговаривать на таком расстоянии очень трудно. Да и мои дети рядом, в комнате невообразимый шум. Обещаю написать вам подробнейшее письмо со всеми деталями, которые смогу припомнить. И у меня есть для вас фотография Виктории, я пришлю ее вам.

В тот же вечер она написала письмо Джеку Тэйту, вложив в него фотографию Виктории. На следующее утро она отправила письмо заказной почтой.

Двумя днями позже в два ночи в ее комнате звонил телефон. Это был Джек Тэйт, и ей показалось, что он в сильном подпитии.

— Айрин? — Он всегда будет называть ее только так.

— Да.

— Это Джек Тэйт. Простите, что звоню в столь поздний час, но вы единственная, кто все знает.

— Да? — Она подумала о своих детях и пожалела Джека Тэйта. Каково это, смотреть в шестьдесят пять лет на фотографию ребенка, знать, что это твоя дочь, и понимать, что, скорее всего, ты никогда в жизни ее не увидишь?

— Вы, наверное, поняли, что я не совсем трезв. Передо мной фотография Виктории — она вылитая моя мать.

И принялся рассказывать историю своей любви к Зое, которую она уже и без того хорошо знала. Он рассказывал ей об их встрече уже со своей точки зрения, добавив несколько фактов, о которых Зоя не могла знать. Свой долгий монолог он завершил вопросом:

— Айрин, что мне делать?

— Что вам подсказывает сердце? — спросила Ирина. — Я же не знаю, как вы отнеслись к этой новости.

— Наверное, мне надо связаться с государственным департаментом.

— Ни в коем случае, — сказала Ирина. — Вот уж чего не стоит делать! Не обращайтесь ни в какие официальные инстанции. Если вы хотите увидеть Зою и Викторю, поезжайте в Россию туристом. И позвоните ей из телефонной будки, а не из гостиницы.

— Да, да, надо подумать. В данный момент я, весьма возможно, поеду работать в Индию.

Разговор продолжался еще почти полчаса, и чем больше Тэйт говорил, тем больше убеждалась Ирина в том, что он предпринимать ничего не будет. Не потому, решила она, что ему это безразлично, просто он, человек уже пожилой, растерялся, когда прошлое — волшебный сон — предстало вдруг перед ним. Любовь к Зое была прекрасным сном, и он хотел, чтобы так все и оставалось — прекрасная мечта, к которой всегда можно вернуться в воспоминаниях. Если же он поедет в Россию и встретится с Зоей, мечта разобьется о действительность. Действительность же была такова: старик встретил ту, кого некогда любил и потерял, а волшебства, когда-то объединявшего их, больше нет.

Когда он наконец повесил трубку, Ирину охватила печаль. Все! Она выполнила свою миссию и больше не верит в то, что из этого выйдет что-либо путное. Хуже всего, что после исчезновения Зинаиды у нее нет никакой возможности сообщить Зое, что она разыскала ее Джексона, и Виктория так никогда и не узнает, что ее отец жив.

Ну что ж, теперь, теперь все зависит от Джексона Тэйта.

В сентябре 1963 года Ирина Керк уехала в Европу, где полтора года работала над докторской диссертацией. За все это время она ни разу не побывала в России.

Однако их ночной разговор с Джеком Тэйтом, как оказалось, не был последним — ее отношения с ним на этом не завершились. Они так и не встретились лично, но продолжали обмениваться письмами и время от времени перезванивались. Казалось, стремление помочь Зое и Виктории должно было сблизить их, однако сложившиеся между ними отношения оставляли желать лучшего. Эти двое людей никогда не понимали друг друга.

Джек был человеком прямых и решительных действий. Хотя он побывал в Москве, русская душа оставалась для него загадочной. Ирине, до мозга костей русской, хотя она никогда не жила в России, его прямота казалась простодушием и примитивностью. Она понимала, что к русским требуется особый подход. Типично американская прямота и резкость Джека возмущали ее. В русской среде он держался бы как слон в посудной лавке, способный сокрушить все вокруг. Джеку же Ирина казалась несобранной и странной, не знающей, что ей, собственно, нужно. Она опасалась решительных действий, всегда искала какой-то подход. Все это было чуждо и непонятно Джеку Тэйту, привыкшему отдавать приказания



и действовать напрямую. Ему казалось, что, выбирая обходной путь, она лишь уводит их в сторону.

Впоследствии, когда Ирина опубликовала свою книгу «Люди русского Сопротивления», он и вовсе стал ее бояться. Она была связана с диссидентами, и он считал, что знакомство с ней может навредить Виктории и Зое.

И хотя все последующие годы в совместных усилиях помочь Виктории они не могли обойтись друг без друга, их отношения не стали теплее. Джек чувствовал, что Ирина не одобряет предпринимаемых им шагов, Ирина же понимала, что Джек не одобряет ее действий. И каждый был по-своему прав.

## ВИКТОРИЯ

В 1962 году в шестнадцать лет я окончила школу и, решив стать актрисой, поступила в Студию драматического искусства. Интерес к актерской профессии, скорее всего, возник у меня еще в те времена, когда я ездила с мамой на съемки. Я была уверена, что она с одобрением отнесется к моему выбору. Еще за год до того, заметив мой интерес, она как-то сказала мне:

— Да, я хочу, чтобы ты стала актрисой, но ты должна сама решать. Мне кажется, что помогать тебе не нужно. Нет ничего хуже, чем актриса, обделенная талантом и мастерством. Убедись в правоте своего решения, докажи, что у тебя есть талант, и я всем сердцем буду «за». Ведь я теперь живу тобой, Вика, больше ничем.

При студии был свой театр, на сцене которого я выступала в спектаклях вместе с другими студентами. Однажды к нам в студию, в класс, где я занималась вместе с двадцатью другими студентами, при-

шла женщина с «Мосфильма». Она построила нас в шеренгу и, проходя вдоль нее, внимательно вглядывалась в каждого. Время от времени она бросала:

— Вот этот, вот эта.

Я оказалась среди тех, кого она отметила.

— Пожалуйста, те из вас, кого я отобрала, — сказала она, — приходите завтра утром на студию, будем решать, что с вами делать. Речь идет о новом фильме, в нем есть несколько ролей...

Она повернулась, собираясь уходить, но мы бросились к ней с расспросами. Оказалось, готовились съемки фильма «До свиданья, мальчики» о драматических событиях российской жизни периода 1938 — 1939 годов, в основу которого лег очень популярный в те годы роман того же названия.

После занятий я кинулась покупать книгу и в тот же вечер прочла ее. Мысленно я, конечно, представляла себя только в роли героини. В ту ночь я не сомкнула глаз.

Придя на следующее утро на студию, я обнаружила, что представительница «Мосфильма» успела побывать не только в нашей школе. В комнате собралось около пятидесяти студентов. Я понимала, что у меня внешность отнюдь не типичной русской девушки, но убедила себя, что в этом и заключается мое главное преимущество. Я так резко отличаюсь от всех, что они обязательно выберут меня.

Но тут в комнату вошел режиссер, и у меня упало сердце. Коротышка, по меньшей мере на голову ниже меня. Сомнений быть не могло: меня он не выберет. Так и вышло. На меня он едва взглянул, проходя мимо, хотя останавливался и разговаривал о чем-то с другими.

Когда он выходил из комнаты, я сломя голову кинулась за ним, крикнув ему вдогонку:

— А как же я?

Он обернулся и посмотрел на меня.

— Как же вы?..

— Вы ведь пригласили меня сюда, я актриса и хочу участвовать в вашем фильме.

Мой напор, казалось, его позабавил.

— Это с вашей-то внешностью и вашим ростом?

Я почувствовала, что краснею. Я и без него знала про свой рост и худобу, но мамулины подружки наперебой расхваливали мою внешность и даже убедили меня в привлекательности. Однако сама я не обольщалась на этот счет. Как выгляжу, так и выгляжу, просто это поможет мне в актерской жизни.

— Чем вам не подходит мой рост и внешность?

Я и сама поразились своей наглости. Вот сейчас он возьмет и вышвырнет меня из студии. Вместо этого режиссер подошел ко мне.

— Если вы прочли книгу, то знаете, что героиня — девочка маленького роста, живущая на берегу моря. Мне она представляется очень романтической, лирической. Вы же слишком высокая.

— Но я могу сыграть эту роль.

Режиссер потрепал меня по щеке.

— Забудьте об этом, дорогуша. — Он внимательно поглядел на меня. — Но в картине есть другая роль, которая вполне соответствует вашим данным.

Моим кинодебютом стала роль одной из двух подружек героини. По сценарию это была вполне хорошая роль, и на мою долю приходилось не так уж мало слов, но когда фильм смонтировали, от них можно сказать, ничего не осталось. И все же это было начало.

После окончания съемок фильма «До свиданья, мальчики» я сразу же получила роль в картине «Потерянная музыка», который снимался в Ленинграде. На этот раз мне дали одну из главных ролей, но она не требовала большого актерского мастерства. В основу фильма была положена слащавая любовная

история, в которой мне отводилась роль восемнадцатилетней девушки. В этом фильме, как, впрочем, и во многих других, где я снималась, во главу угла ставились мои внешние данные и абсолютно игнорировался такой фактор, как талант, который — как мне хотелось верить — у меня был. Но это было лишь начало, и я с бесконечной благодарностью воспринимала свою работу. А мамуля очень гордилась мной.

Третья моя картина была и вправду хорошей, быть может, самой лучшей из всех, в которых я снималась. Фильм назывался «Двое» и получил золотую медаль на Московском международном кинофестивале. Я сыграла в нем роль глухонемой девушки и в восемнадцать лет проснулась, как говорят, знаменитой. Мамуля смотрела фильм несколько раз и каждый раз редела, не в силах сдержать слез.

Фильм прошел по экранам всего мира под названием «Баллада о любви». Мне сказали, что его покажут даже в Соединенных Штатах, и я молила Бога, чтобы его посмотрел мой отец, чтобы он узнал меня и приехал в Москву повидаться со мной.

Потому что, как бы блистательно ни начиналась моя карьера, я ни на секунду не забывала об отце, по-прежнему мечтаю о встрече с ним. Я хотела этого больше всего на свете. При этом я почти никогда не упоминала о нем вне стен нашего дома. Открыв мне правду, мамуля взяла с меня слово не рассказывать ни о чем своим друзьям.

— Тебя могут обидеть. Довольно и того, что ты сама все знаешь. Для всех остальных — твой отец летчик, который погиб на войне. Обещай, Вика.

Время шло, вестей от Ирины Керк не было, мне становилось все трудней говорить об отце даже с мамулей. Когда я начинала приставать к ней с вопросами, она поджимала губы, и видно было, что ей это неприятно.

— Вика, пусть будет так, как есть. Ты о нем знаешь, этого достаточно. Либо Ирине Керк не удалось разыскать его, либо он умер.

— Но, мамуля, я не могу этого так оставить, он же мой отец.

Она грустно улыбалась.

— Для меня он тоже много значил, но за всю жизнь я не получила от него ни строчки. И вот ведь живу. И ты должна жить.

В тот раз я проплакала, лежа в постели, всю ночь, прижимая к себе его фонарик. Нельзя, чтобы это кончилось вот так, ничем.

Он стал сниться мне по ночам. Один из снов был таким ярким, что, проснувшись, я запомнила его до мельчайших подробностей. Сновидение это прочно вошло в мир моих фантазий, центром которых всегда был отец.

Мне привиделось, будто он в Москве и звонит мне из гостиницы, где остановился. Говорит по-русски, но, как мне показалось во сне, с сильным американским акцентом.

— Виктория, не догадываешься, кто тебе звонит?

— Нет, — ответила я.

— Разве ты забыла, о чем просила Ирину Керк? Меня как подбросило.

— Не могу поверить!

— Да, да, говорит твой отец. Я здесь, в гостинице, прямо напротив твоего дома.

— Когда я тебя увижу?

Он засмеялся.

— Хоть сейчас, но не говори матери, что я приехал.

— Как я узнаю тебя?

Он снова засмеялся. И столько тепла было в его смехе!

— Не беспокойся, я сам узнаю тебя. Не забудь, мама прислала мне твою фотографию.

Я как сумасшедшая кинулась через улицу к гостинице. К входу вела высокая лестница в несколько маршей. Одним духом я взбежала по ним. Площадка перед входом была запружена людьми, но отца среди них не было. Меня охватила паника. И тут я увидела его — он шел сквозь толпу, которая безмолвно расступалась перед ним.

Он был подтянутым высоким человеком лет пятидесяти. На нем был серый костюм, в руке он держал какую-то газету. Он улыбнулся мне, мы бросились друг к другу, и оба заплакали.

А потом он поцеловал меня и сказал:

— Я очень рад видеть тебя, Виктория. Только не говори ничего маме, мне не хочется огорчать ее. Мне выпал случай провести здесь всего два-три часа, и все. Потом я уеду.

Я снова обвила руками его шею.

— Неужели ты не можешь остаться хотя бы на один день, папа?

Он улыбнулся.

— Нет, законы Советского Союза не позволяют этого. Я приехал, только чтобы взглянуть на тебя. А теперь мне пора.

Он поцеловал меня в лоб, повернулся и исчез в толпе.

Я хотела остановить его, но не могла сделать ни шагу.

Проснулась я вся в слезах, но бесконечно счастливая. Сон остался со мной, став частицей моей жизни. Мне казалось, я на самом деле виделась со своим отцом. Я вплела сон в реальную жизнь, порой приукрашивая его.

Я рассказала некоторым мамулиным подружкам, что повидалась с отцом. Они удивились, но мне удалось убедить их, что я говорю правду. Я даже описала им его. И сказала, что мама ничего об этой встрече

че не знает, потому что так захотел он. Он с опасностью для жизни пробрался в Советский Союз только для того, чтобы повидать меня.

Многие из них мне поверили, хотя с трудом допускали, что мамуля ничего об этом не знает.

— О, — объясняла я, — у него ведь жена в Америке, а потому он не может остаться здесь. Он приехал только ради меня, потому что любит меня.

Со временем мамуля прознала про мои рассказы. Однажды вечером она подседа ко мне. Лицо ее выражало беспокойство.

— Зачем ты все это рассказываешь, Вика? Ты что, не знаешь разницы между сном и реальной жизнью?

— Я видела его, мамуля, так же ясно, как в жизни. Она улыбнулась.

— Ты увидела его, потому что очень хотела увидеть, вот и вся правда. Но мы обе знаем, что это всего лишь сон. Пусть твой отец и останется в снах, Вика. Только там ему и место.

Я прильнула к ней, и она обняла меня.

— Мне этого мало. Он так мне нужен...

— Знаю, Вика, знаю. Но никому еще не удавалось получить все, что хочется. Очень часто мы не получаем именно того, в чем больше всего нуждаемся. Такова жизнь. Ты знаешь, что у тебя есть отец, ведь ты мечтала об этом. Вот и довольствуйся этим.

Я промолчала. Мне не хотелось обижать мамулю. Но не в моих силах было отказать от отца. Как можно забыть то, чего у меня никогда не было?

В душе я дала клятву никогда не говорить о нем в присутствии матери.

Роль в популярном кинофильме в восемнадцать лет, люди, узнающие меня на улицах, — в этом было одновременно что-то прекрасное и тревожное. Уж

слишком стремительно все произошло, к тому же я понимала, что с актерским мастерством у меня все еще плоховато. Как долго я продержусь на одном таланте? Да и получать роли без диплома тоже будет трудно. На каждую роль, предложенную «вольному актеру», претендует не менее трехсот пятидесяти человек.

Я посоветовалась с мамулей, с другими актерами, мнение которых уважала. Ответ был один: необходим диплом. Получив его, я повышу и мастерство, и зарплату.

Я подала заявление в Институт кинематографии, единственное в этом роде учебное заведение на весь Советский Союз. Конкурс при поступлении всегда бывал очень высок, в нем принимали участие сотни абитуриентов. В тот год, когда я поступала, на каждое из девятнадцати мест было триста шестьдесят претендентов.

Я занималась так, как никогда прежде, успешно сдала экзамены по общеобразовательным предметам и прошла четыре прослушивания, необходимых для поступления на актерский факультет.

Меня приняли в институт, где мне предстояло пройти четырехгодичный курс обучения.

Какое-то время я думала только о занятиях в институте и мечтала о встрече с отцом.

## **ДЖЕКСОН ТЭЙТ – ИРИНА КЕРК**

Пока Ирина Керк жила в Европе, работая над докторской диссертацией, Джексон Тэйт и Хейзл Калли поженились. Вскоре после свадьбы они переехали в Орандж-Парк в штате Флорида.

Летом 1966 года у Ирины Керк вновь появилась возможность съездить в Россию с группой студен-



тов. Поскольку на этот раз она твердо решила разыскать Зою и Викторину, она написала Джеку, спрашивая, нет ли у него каких-либо поручений. Письмо вернулось с пометкой: «Возвратить отправителю. Адрес получателя неизвестен». Ирина позвонила в Вирджиния-Бич, но оператор сообщил ей, что номер отключен. Это озадачило Ирину. Джексон Тэйт снова исчез.

С того момента, как Ирина положила на рычаг трубку, начался отсчет почти пятилетнего перерыва в их контактах. С того же момента вся история приобрела какой-то странный, необъяснимый характер.

Джек и Хейзл утверждают, что установить с ними связь было проще простого. Они оставили на почте свой новый адрес, и, насколько им было известно, вся корреспонденция, поступавшая на их имя в Вирджиния-Бич, аккуратно пересылалась им по новому адресу. Более того, Джек отчетливо помнил, что в одном из телефонных разговоров с Ириной он сказал ей, что с ним всегда можно связаться через военно-морское министерство — надо только отправить туда письмо с просьбой препроводить его адресу. Но она ни разу не воспользовалась этой возможностью, и Джек так никогда и не выяснил почему.

Со своей стороны Ирина не переставала ломать голову, почему Тэйт палец о палец не ударил, узнав от нее о существовании дочери. Ответ, скорее всего, следовало искать в особенностях характера Джексона Роджерса Тэйта. Дело не в том, что он не проявил интереса к судьбе дочери, которую никогда не видел, или будто бы сомневался в своем отцовстве. Он принял новость как непреложный факт с той самой секунды, как Ирина назвала имя девочки. Но ему было уже далеко за шестьдесят, он устал от жизни, давали о себе знать разные хвори. Он не испытывал безразличия к тому, что у него объяви-

лась дочь, но к чувствам Тэйта примешивалось и чувство отстраненности, потому что он никогда не видел ее.

К тому же он просто не знал, что предпринять. Он не верил, что Виктория сможет выехать из России, и был твердо убежден, что самому ему путь туда закрыт. Однажды его уже выслали оттуда, и у него были все основания полагать, что советское правительство об этом не забыло.

Весьма вероятно, что главной причиной, объяснявшей его пассивность, было недоверие, которое он испытывал к Ирине Керк. Оно возникло с самого начала, еще тогда, когда, пытаясь разыскать его, она отправляла письма в военно-морское министерство, ни разу не объяснив причину своих поисков, вместо того, чтобы посылать их на адрес министерства для передачи ему. А ее вопросы: «Вы женаты?», «Говорит ли вам что-нибудь имя Зоя — это еще что за штучки? Разве тот или иной ответ мог хоть как-то повлиять на факт существования его дочери? Почему она вечно крутит, а не действует открыто, напрямую?»

Да, Джек не доверял Ирине Керк. Однажды в разговоре с ней он сказал: «Я всегда строго придерживался правил игры. Обучился этому на флоте. В этом мире только таким путем можно избежать неприятностей».

За несколько дней, проведенных со студентами в Москве, Ирине так и не удалось встретиться с Зоей. Наведя справки через своих друзей, она выяснила, что Зоя с Викторией уехали из города на дачу. Узнала она также, что Виктория стала известной киноактрисой, а Зоя вернула себе былую популярность.

Все планы Ирины рухнули. К тому же, уезжая из дому, она не смогла найти бумажку с Зоиным адресом и телефоном, которую актриса незаметно

сунула ей в руку при встрече. А здесь, в Москве, она не знала никого, кто мог бы знать их. И боялась — особенно после исчезновения Зинаиды — обратиться за помощью на студию. Спрашивая, пришлось бы назвать себя и навлечь таким образом неприятности на мать с дочерью.

Прошло ровно семь лет с того дня, как Зоя поведала ей свою историю, и вот теперь Ирина вынуждена была признать, что всякая связь с героями этой драмы утеряна.

## ВИКТОРИЯ

Возвращаясь к прошлому, я не могу с достаточной определенностью ответить на вопрос, какую роль играли в моей жизни мужчины. В Америке, где так много говорят о психологии и каждый поступок поддается определению в терминах подсознания, кто-то, возможно, и найдет ответ. А мне было всего девятнадцать, когда в мою жизнь вошел Иракий, и жила я не в Америке, а в Москве. О Фрейте и психологии знают и у нас, но советским людям не до психоанализа. Ты такой, какой есть, и ты стремишься к лучшему, вот и вся философия. Мы не задумываемся, почему поступаем так или иначе.

Мне объяснили, что, поскольку я все время надеялась найти отца, я, скорее всего, видела его в каждом мужчине, с которым вступала в любовные отношения, и со временем эти отношения кончались крахом: это было неизбежно, чтобы отец мог уйти из моей жизни так же, как он ушел из жизни моей матери. Мне объяснили также, что я сама стремлюсь стать жертвой и лучше всего чувствую себя в этой роли, ибо свои детские годы

провела сред . людей, которые сторонились меня, считая врагом, тем самым внушая мне, что быть отвергнутой — мое нормальное состояние. Что мне сказать обо всем этом? Возможно, так оно и есть. И значит, этим все объясняется, и мне нечего больше сказать.

Ираклий учился в том же институте, что и я. Он занимался на режиссерском отделении, готовясь пойти по следам отца, известного в ту пору режиссера-постановщика. Ираклий был высокий, стройный, с каштановыми волосами и темными глазами. Очень красивый. Наполовину он был грузином, почему мамуля сразу же, еще до знакомства с Ираклием, невзлюбила его. Она никогда не забывала, что Сталин и Берия были грузинами.

— Все они тираны, — говорила она. — Дикие, необузданные люди, к тому же чудовищно ревнивые.

Ее мнение о грузинах — и об Ираклии в частности — меня ничуть не трогало, поскольку поначалу я им мало интересовалась. Он был для меня всего лишь одним из многих сокурсников. Я не обращала на него особого внимания, хотя видела, что он ко мне неравнодушен. Он часто поджидал меня возле нашего дома или у двери аудитории, где я слушала лекцию.

Однажды меня позвал к себе один из деканов нашего института и попросил быть повнимательнее к Ираклию.

— Он ведь совсем забросил занятия. Не ходит на лекции, только и знает, что торчит под дверью твоей аудитории.

— Но что мне делать? — спросила я. — Я не могу относиться к нему серьезно, он ведь совсем еще маленький.

На самом деле мы были одногодками, но какое это имело значение? Я вовсе не хотела тогда ни влюбляться, ни выходить замуж.

— Его отец очень расстроен, — продолжал декан. Будь поласковее с Ираклием.

Роман между нами начался, когда Ираклий находился дома, в Грузии, а меня послали на кинофестиваль, проходивший в той же части страны, но в другом городе. Ираклий оборвал телефон, приглашая меня к ним в гости. Наконец у меня выдался свободный день, и я подумала: почему бы и нет?

Я отправилась к ним на обед. После обеда его родители заговорили о чувствах Ираклия ко мне. Его мать сказала:

— Я же вижу — он действительно от вас без ума.

Тут вмешался отец:

— Просто голову потерял.

Я устала в чашку с чаем, от смущения не в силах поднять глаз. Интересно, каково сейчас Ираклию, который сидит напротив?

— Дорогая, вы должны наконец принять решение, — продолжала мать. — Нехорошо так обращаться с нашим сыном.

Мне бы прямо там положить этому конец, но я промолчала. К тому же Ираклий мне нравился. Я не была влюблена в него, как и в кого-либо другого, так что ни малейшей необходимости тут же покончить с этой проблемой не видела.

Когда мы оба вернулись в институт, я стала встречаться с ним чаще. Мы подолгу занимались вместе, и я всегда чувствовала его теплое, ласковое отношение к себе. Даже мамуле он, несмотря на грузинское происхождение, казался, начал нравиться.

Так продолжалось полтора года. На третьем курсе мы поженились. Теперь-то я понимаю, что никогда

не любила его, но в то время мне казалось, что это — любовь.

Мы поженились в январе, перед самой сессией, поэтому никакого медового месяца у нас не было. Из-за свадебного стола мы сразу перебрались в мамулину квартиру, где и началась наша совместная жизнь. Муж с женой и мать одного из новобрачных в двухкомнатной квартире — не самое лучшее решение, но у нас не было выбора. Я была прописана в этой квартире, и нам ничего не оставалось, как наилучшим образом приспособиться к новой жизни.

С самого начала эти обстоятельства внесли дисгармонию в наши сексуальные отношения. Никогда нельзя было предугадать, когда в нашу комнату решит заглянуть мамуля. Отсюда то постоянное нервное напряжение, которое отмечало наши интимные отношения, и, если мы не сгорали от желания, легче было отложить любовь до следующего дня. Наши попытки найти выход в отсутствие мамули тоже не привели ни к чему хорошему. Акт любви превращался в какое-то трусливое, а потому обесцененное действие, как будто мы занимались чем-то недозволенным. Очень скоро секс и вовсе ушел из нашего брака.

А потом я поняла, что мы еще не доросли до брака. Мы были студентами и должны были думать об открывавшейся нам карьере. Брак — это созидание семейной жизни, а мы к этому были совершенно не готовы. Не знаю, чувствовал ли это Иракий, но я чувствовала.

К тому же очень скоро я поняла и другое: мне не хватает столь необходимой мне заинтересованности, внимания и моральной поддержки мужа. Когда я обращалась к нему за помощью в трудные минуты, он растерян, а порой и с досадой смотрел на

меня и было ясно, что я ему помешала. Оторвавшись на мгновение от дел, он тут же принимался гладить меня по спине, словно домашнюю собачонку, от которой надо поскорее отделаться.

Иракий был спокойным и умным, но в его жилах текла горячая грузинская кровь. Впервые я осознала это, когда мы однажды пошли играть в карты к одному из наших друзей. Пока мы играли, принесли вино, но мне и в голову не могло прийти, что Иракий может выпить. Не помню, что вывело его из себя, но он вдруг схватил за горлышко пустую бутылку и разбил ее, швырнув назад через плечо. При этом он не спускал с меня глаз, и я поняла, что в моем лице он прочел именно то, что хотел увидеть. Я была ошеломлена и смущена. Он схватил еще одну пустую бутылку и повторил свою нелепую выходку. Вскоре мы ушли.

По дороге домой я не могла сдержать возмущения.

— Зачем ты швырнул бутылку? Что взбрело тебе в голову?

Он поднял на меня глаза, ничего не ответив. Но этот случай стал началом многочисленных странных, совершенно необъяснимых поступков. Я чувствовала, что этот человек, которого я называла своим мужем, но воспринимала как какого-то непонятного мне ребенка, в полном смысле слова отталкивает меня от себя.

Я пришла к выводу, что подобные приступы необузданной ярости случаются всякий раз, стоит мне поговорить подольше с кем-нибудь из наших друзей-мужчин. Однажды я спросила Иракия, не ревность ли заставляет его выставлять себя на всеобщее посмешище. Он не ответил.

Конечно же, я ни словом не обмолвилась об этом мамуле. Уж очень не хотелось еще раз выслушивать то, что она думает о грузинах.

Мы были женаты уже около полугода, когда Ираклий выкинул очередной фортель. Произошло это у нас дома, когда в гости к нам пришли наши сокурсники. Мамули не было, она уехала из Москвы куда-то на съемки. На столе стояли бутылки с вином и водкой, все предвещало приятный вечер. Если бы не поведение Ираклия. Чем дальше, тем он все больше мрачнел. Наконец я не выдержала, подошла к нему и тихонько, чтобы никто не слышал, спросила:

— Что с тобой? У нас же гости. Почему ты держишься особняком?

Он бросил на меня обиженный взгляд.

— По-моему, я тебе не нужен. Тебе приятней общество наших друзей, чем мое.

Мне до чертиков надоела его ребяческая обидчивость.

— Если все дело в этом, то почему бы тебе не пойти туда, где ты чувствуешь себя нужным?

Он коротко кивнул, всем своим видом показывая: «Ты еще пожалеешь!» — и вышел в соседнюю, мамулину, комнату. Я вернулась к гостям, исполненная решимости не допустить, чтобы Ираклий испортил своими детскими выходками еще один вечер.

Минут через пятнадцать в мамулину комнату зашел один из гостей.

— Вика! — крикнул он мне.

Я вбежала в комнату. Ираклий сидел на мамулиной кровати. На полу валялась опасная бритва. С обеих запястий в коробку из-под обуви, которую он поставил между ног, капала кровь. Когда я окликнула его, он взглянул на меня тусклым безжизненным взглядом.

Я отвезла его в больницу, где ему наложили швы на запястья. Порезы оказались не очень глубокими. На вопрос, почему он решился на этот ужасный поступок, он ответил:



— Сама знаешь.

И это все, что мне удалось от него добиться.

Когда об этом узнала мамуля, она объявила его сумасшедшим.

Спустя три месяца все повторилось. На этот раз он разрезал вены на внешней стороне запястий. И снова проделал это у нас дома, чтобы я могла вовремя его обнаружить. Снова ему наложили в больнице швы, и мы вместе отправились домой.

— По их словам, Иракий, порезы не очень глубокие. Объясни мне, почему? Потому, что на самом деле ты вовсе не хочешь кончать жизнь самоубийством, да? Потому, что ты делаешь это только для того, чтобы я видела, как ты истекаешь кровью, тем самым наказывая меня?

Ответа не последовало.

— Это не брак, Иракий, — продолжала я. — И мы оба понимаем это. Если ты так несчастлив со мной, что хватаешься за бритву, то стоит ли нам оставаться вместе?

Он посмотрел на меня.

— Я очень люблю тебя, Вика.

— Какая же это любовь, если ты не можешь обойтись без бритвы?

Он обещал, что подобное больше не повторится, и сдержал обещание. Но нашему браку пришел конец. Я понимала это — думаю, что и он тоже. И все же мы продолжали жить вместе еще чуть больше года.

Каждый вечер повторялось одно и то же. Как только мы приходили из института, мамуля уходила в свою комнату, а мы в свою. Мы почти не разговаривали. Наконец я не выдержала, наше молчание доконало меня. Однажды вечером я взорвалась:

— Сколько еще может продолжаться это безумие?

— Мы же женаты, — ответил он.

— Нет! — крикнула я. — Нас соединяет только бумажка, больше ничего.

— Ты считаешь, что виноват я?

— Какая разница, кто виноват? Разве нас что-нибудь связывает? Ничего нас не связывает. Мы только портим друг другу жизнь. Мы совсем разные.

Он встал и надел пальто.

— Если мы разные, я уйду.

Я преградила ему путь.

— Почему ты не хочешь остаться и поговорить? Вместо этого ты убегаешь! Либо убегаешь, либо режешь вены, либо бьешь бутылки — только бы уйти от реальности!

Он направился к двери, но тут в комнату вошла мамуля.

— Прекратите, пожалуйста! Вас же на весь дом слышно!

— Слышно? — крикнула я. — Что слышно? Что мой муж уходит, вот и все, что слышно! — Я посмотрела на Ираклия. — Хочешь уйти — уходи!

Прежде чем мы с мамулей поняли, что происходит, Ираклий кинулся через всю комнату к окну и разбил головой стекло. Я закричала. Мы жили на восьмом этаже. К счастью, у него были очень широкие плечи, он не смог протиснуться в узкое окно и застрял в раме.

Мы втащили его обратно в комнату. Все лицо было в крови, но каким-то чудом он отделался сравнительно легко. Из порезов только один был глубокий, остальные помельче.

Мы вытерли с его лица кровь, а позже, когда немного пришли в себя, я спросила:

— Какой смысл продолжать все это, Ираклий?

— Да, ты права, Вика, — ответил он.

Мы расстались, и в 1969 году я пришла в тот же самый загс, где мы регистрировали наш брак, чтобы подать заявление на развод.

Второго своего мужа, Сергея, я встретила, еще будучи замужем за Ираклием, хотя, конечно же, и не подозревала тогда, что он станет моим мужем. Что самое удивительное, он вошел в мою жизнь из прошлого моей матери.

Мамуля и мать Сергея Надя вместе учились в институте. Но из Нади актрисы не вышло. Поняв, что ей не хватает для этого таланта, она поступила на юридический факультет и стала адвокатом. С отцом Сергея она разошлась вскоре после рождения сына.

Спустя много лет ей понравился один из фильмов, где я играла. Увидев в титрах мою фамилию, она вспомнила свою подругу Зою, и ее осенило, что я могу быть ее дочерью. Недолго думая, она позвонила мамуле, их дружба возобновилась, а я познакомилась с Сергеем.

Надя знала о моих ссорах с Ираклием. Если не ошибаюсь, во время одной из них она даже была у нас дома. Как бы то ни было, она узнала, что наш брак распался, и, наверно, уже тогда выбрала меня для своего сына. Ума не приложу, отчего ей взбрело это в голову, поскольку она оказалась типичной матерью-собственницей, которая меньше всего хотела расставаться со своим единственным сыночком.

Сергею было двадцать девять лет, он был светловолосый, голубоглазый, с фигурой американского футболиста. Архитектор по профессии, он принадлежал к совсем другому, чем мой, миру. Этот мир, столь непохожий на эмоциональный мир актеров, отличал спокойный, деловой подход ко всему. На-

верное, в какой-то мере именно это и привлекло меня к нему — контраст между ним и Ираклием.

На меня большое впечатление произвели ум и образованность Сергея. Он владел немецким и английским так же свободно, как русским. Он был начитан, имел на все собственные суждения и был со мной внимателен и нежен. Он познакомил меня со своими друзьями, я водила его на наши вечеринки. Мне все это нравилось, уж очень непохожи были его и мои друзья. Я не приняла во внимание тогда одной существенной детали: наши два мира никогда не объединялись. Мы и не пытались их объединить.

Резонно предположить, что неудачный брак чему-то научил меня. И все же, когда Сергей подарил мне кольцо с бриллиантом, я приняла подарок, зная, что не люблю его. Физически он был мне абсолютно безразличен. Но я относилась к нему с большим уважением, чувствовала себя с ним спокойно и уверенно. Наверно, эти-то свои чувства я и приняла за любовь.

И все же одно я усвоила твердо: у меня появился панический страх перед замужеством. Я не хотела новой неудачи. И хотя я переехала к Сергею, в шестикомнатную квартиру, где они жили вдвоем с матерью, я решительно заявила, что оформлять брак не желаю. Пока что не желаю — мне нужно время. В его квартире хватало отдельных комнат, и его мать никогда не врывается к нам, как когда-то мамуля. Но жить с Надей оказалось нелегко. Поначалу меня это забавляло. Человек, с которым я жила, полностью доверял мне, а его мать — нет. Это она выбрала меня для своего сына, а посему преисполнилась решимости пресечь любые попытки отнять меня у него. Вскоре я убедилась, что, когда мне звонили, она поднимала отводную трубку и подслушивала разговоры. Не однажды я замечала, что она выходит из дому вслед за

мной с намерением проследить, куда я иду и с кем встречаюсь. Не то, чтобы ее заботила моя репутация. Нет, ее заботила лишь репутация ее сына. Женщине, близкой ее сыну, надлежит быть безукоризненной во всех отношениях и жить только его жизнью, и она, Надя, сделает для этого все, что в ее силах.

Сергей, однако, вполне спокойно принял наш образ жизни.

— Я и правда не хочу выходить замуж, — объяснила я ему. — Хватит и того, что я живу с тобой. Я твоя, и я счастлива.

Он принял мои условия, и мы и впрямь были счастливы. Наш образ жизни устроил, по-моему, и мамулю. Во всяком случае, если у нее и были какие-то сомнения, я не припоминаю ни одного худого слова, услышанного от нее. Она ведь тоже еще не забыла Ираклия.

А Сергей уповал на то, что со временем я изменю свое отношение к браку. И не только потому, что любил меня, сюда примешивались еще и карьерные соображения — для его карьеры будет лучше, если он женится. Наш уговор привнес в его досье маленькую черную отметинку.

Но Надя с нашим уговором никак не желала мириться. По какому такому праву досье ее сына запятнано? Разве брак с ее сыном — не величайшее счастье для любой женщины? Что со мной происходит?

Я никогда не умела противиться давлению. После пяти месяцев совместной жизни с Сергеем и нажима Нади я сдалась. Быть может, Надя права. Действительно, что со мной происходит? Я вполне счастлива с Сергеем, у нас прекрасные отношения. Мы пошли в загс и официально зарегистрировали наш брак. Это произошло в 1971 году.

Думаете, Надя изменила свое поведение? Ничуть не бывало. Единственным положительным результатом нашей женитьбы был приезд Надиного брата Анатолия. Удивительно милый, приятный человек, он понимал нас с Сергеем и прекрасно видел, что творит его сестра. Но она и его ни в грош не ставила.

— Разве тебе понять, каково быть матерью? — кричала она. — Да и где тебе, если ты никогда не был женат!

Он только посмеивался над нею:

— Как будто замужество прибавило тебе хоть каплю ума.

В 1971 году мне выпало счастье вновь встретиться на съемочной площадке с Мишей Богиным, тем самым режиссером, который пригласил меня на фильм «Двое». Новый его фильм назывался «Про любовь», и я исполняла в нем роль женщины-скульптора, которая не желает поступаться своими идеалами и играть роль любящей жены и матери, отведенную женщинам той поры.

Казалось бы, Надиному самолюбию должно было льстить, что ее невестка — киноактриса, которой предсказывают блестящее будущее. Но, по-моему, она считала, что я использую свою работу лишь как предлог для того, чтобы уклониться от исполнения супружеских обязанностей. И хотя дальше ворот путь на студию был для нее закрыт, она по-прежнему шла следом за мной по улицам и подслушивала мои телефонные разговоры.

В перерывах между фильмами Надя с Сергеем так услаждали мою жизнь, что, казалось, они поставили себе целью вконец испортить меня роскошью. Домработница приносила мне завтрак в постель, хотя я неоднократно говорила Наде, что люблю завтракать за столом. В промежутках между съемками Надя

старалась предугадать практически каждое мое желание, лишь бы я не выходила из дому. Мало-помалу я стала ощущать себя эдакой птичкой в клетке. Я потолстела и обленилась, все чаще и чаще прикладывалась днем к подушке — отдохнуть от утренних хлопот, в которых не принимала ровным счетом никакого участия.

Но даже не принимая в расчет Надю, моя жизнь с Сергеем как-то не складывалась. Он работал над диссертацией и не очень был склонен выходить вечерами из дому. А уж если мы и шли куда-нибудь в гости, то непременно к его друзьям. Я понимала Сергея, да и друзья его были со мной предельно вежливы и дружелюбны, но нам не о чем было друг с другом разговаривать. Я ничего не смыслила в научных проблемах, которые их занимали, а потому лишь улыбалась, произнося время от времени ничего не значащие фразы.

У моих же друзей Сергей по большей части молчал. Ему было явно неуютно среди завсегдатаев мира театра и кино. Его молчание всех угнетало.

И все же самой большой проблемой было постоянное вмешательство Нади в наши дела. После одного особенно неприятного эпизода, связанного со слезкой за мной, она избрала новую тактику. Теперь она взяла на вооружение тему детей. Каждый вечер за ужином она подводила разговор к нашему будущему ребенку. Почему мы не заводим ребенка? Сергею нужно стать отцом, пока он еще молод. Что за будущее ждет нас и ради чего мы работаем, если не ради ребенка? И хотя я в довольно резких выражениях объяснила ей, что еще не готова стать матерью, а Сергей меня поддержал, Надя продолжала свою широкую агитационную кампанию в пользу будущего внука.

В конце концов я объявила Сергею и его мате-

ри, что сыта всем этим по горло. А поскольку мамуля к этому времени переехала в новую, более просторную квартиру на Кутузовском проспекте, я перебираюсь к ней.

— И я с тобой, — заявил Сергей.

Что я могла ответить? Мне было приятно, что Сергей поддерживает меня, но, по правде говоря, я не очень бы убивалась, если б он остался со своей матерью. Я понимала: где бы мы ни поселились, Надя, пока я с Сергеем, всегда будет для нас источником больших проблем.

Мы прожили у мамы чуть больше месяца, как вдруг мне позвонили из Ленинграда, пригласив сниматься в новом фильме. В тот момент, когда я почувствовала, что гораздо больше хочу уехать, чем остаться с Сергеем, я поняла, что нашему браку пришел конец. Я сказала мамуле:

— Мне плевать на его блестящее будущее, на его престижную работу и на все остальное. Я хочу быть свободной.

Мамуля покачала головой.

— Не понимаю тебя, Вика. Чего в конце концов ты хочешь? Никого лучше Сергея тебе никогда не найти. Он тебе идеально подходит. Неужели ты бросаешь его только из-за матери?

— Нет. Даже без нее наш брак все равно обречен. Просто я не люблю его.

— Ну ладно, — сказала она. Подойдя ко мне, она сжала руками мою голову. — Что же такое произошло с тобой, Вика, за те годы, что меня не было рядом? Сможешь ли ты когда-нибудь полюбить?

— Конечно, смогу, — ответила я, но ее вопрос напугал меня. Мне почудилось, что где-то внутри меня что-то сжалось, как от холода. Тот же вопрос я не раз задавала себе и сама. Мне двадцать пять лет, у меня за спиной уже два неудачных брака. Усили-



ем воли я постаралась выбросить этот вопрос из головы. Точно болезнь, о которой не хочется думать.

Когда я объявила Сергею, что уезжаю в Ленинград и больше к нему не вернусь, он сказал:

— Я буду тебя ждать.

Пока меня не было, он перебрался обратно к матери. Спустя два или три месяца после моего возвращения из Ленинграда он позвонил мне. У меня было вполне достаточно времени, чтобы подумать о нашей совместной жизни. Что-то я все же утратила, уйдя от него. Он хороший, порядочный человек, и, кто знает, приложи я чуть больше усилий, может, мне и удалось бы наладить нашу жизнь? Вот почему на его вопрос, не вернусь ли я к нему, дав ему еще один шанс, я ответила согласием.

Когда я вошла в квартиру, дядя Анатолий даже прослезился и крепко меня обнял. Надя поцеловала в щеку и извинилась за прошлые прегрешения. Но пока она говорила, я внимательно следила за ее лицом. Оно оставалось бесстрастным, в глазах не было подлинной теплоты, а говорила она так, словно декламировала выученный наизусть текст.

Как только я вошла в комнату, где мы с Сергеем жили после женитьбы, я почувствовала комок в горле, а руки мои похолодели. Мне казалось, шкафы, стол, стулья вот-вот двинутся на меня, навалятся и придавят. Прикрыв дверь, Сергей подошел ко мне. Он обнял меня, а я едва сдержала крик. Высвободившись из его объятий, я сказала:

— Пожалуйста, не надо, Сергей. Может быть, завтра, но не сейчас. Сейчас я не могу. Мне надо во всем разобраться.

Ту ночь мы спали рядом, точно два солдата в тесной походной палатке. Сергей спал, а я большую часть ночи пролежала без сна, уставившись в потолок.

К утру я поняла, что наш брак не спасти, по крайней мере мне. Слишком много тяжелых воспоминаний было связано с этой комнатой, с этой квартирой. Я сказала Сергею, что это не его вина. Просто все кончилось, и мне бы сразу следовало понять это, не возвращаясь сюда.

Это была расплата: я ведь хорошо помнила те чувства, которые испытывала к нему в самом начале. Я не любила Сергея. Что толку было поддаваться уговорам, какой он замечательный человек и отличный муж?

Мы развелись в 1972 году. Тот тяжкий вопрос — смогу ли я полюбить кого-нибудь? — я постаралась задвинуть далеко-далеко, в глубины сознания, убедив себя, что по горло сыта замужествами. У меня хорошая карьера, много друзей, я пользуюсь успехом. Когда-нибудь придет любовь и ко мне, но не теперь. Теперь у меня есть дела поважнее.

Какое-то время я с радостью наслаждалась свободой. И только мысль об отце печалила меня. Где он? Почему не приезжает повидать меня? Почему не пишет? И самый страшный вопрос: почему не хочет меня знать?

А потом мою жизнь целиком заполнил Коля. Все самое тяжелое, что выпало на мою долю до встречи с ним, было сущим раем по сравнению с теми годами, которые я прожила с Колей. Они оказались для меня куда более губительными, чем все невзгоды и несчастья Казахстана.

## ИРИНА КЕРК

1973 год оказался знаменательным для доктора Ирины Керк, ныне профессора кафедры русской литературы Коннектикутского университета. Именно в этом году ей предстояло восстановить связи

между всеми действующими лицами истории «Федорова — Тэйт».

Незадолго до того она приступила к работе над книгой «Люди русского Сопротивления», в которую включила интервью, взятые ею у русских диссидентов. Книгу предполагалось опубликовать в 1975 году. Среди тех, у кого она брала интервью, оказался некий специалист по международному праву. Вряд ли у нее были хоть малейшие основания полагать, что он знаком с русскими актерами. Вскоре после этого интервью ей предстояла поездка в Россию. Ирина и сама не знала, как все произошло. Уже стоя в дверях, она интуитивно спросила:

— Вы случайно не знакомы с Зоей Федоровой или ее дочерью, Викторией Федоровой?

— Как же, знаком, — ответил он. — Когда я еще жил в России, Виктория была замужем за моим другом, и я часто бывал у них.

Он даже помнил номер телефона, но все же поинтересовался:

— А почему вы хотите встретиться с ней?

— По личным мотивам, — тряхнув головой, ответила Ирина.

— Честно говоря, не советую вам этого делать. У Виктории серьезные проблемы по части алкоголизма. Я, конечно, и мысли не допускаю, что она сознательно предаст вас, но кто знает, что ей взбредет в голову в состоянии сильного опьянения? Сообразит ли она, если рядом случайно окажется агент КГБ? На вашем месте я бы постарался избежать встречи с нею.

Поблагодарив, Ирина тотчас решила не обращать внимания на его совет, хотя услышанная новость поразила ее. В последнюю их встречу Виктории было тринадцать-четырнадцать лет, мать отправила тогда девочку домой делать уроки. Еще раньше, посмот-

рев фильм «Баллада о любви», Ирина с изумлением поняла, что девочка стала взрослой женщиной. И вот теперь она вдруг узнает, что Виктория уже в разводе, да к тому же еще и стала алкоголичкой!

По прибытии в Москву она отыскала неподалеку от гостиницы телефонную будку и набрала Зоин номер. Ей ответил женский голос, резкий и нетерпеливый:

— Слушаю!

— Зоя?

— Нет дома, — отрезала женщина.

— А когда она вернется?

— Уехала на все лето. Кто говорит?

— А Виктория дома?

— Тоже нет. Кто говорит?

— Вы меня не знаете, — ответила Ирина, которую начал раздражать грубый тон женщины на другом конце провода. — Может, вы хотя бы передадите от меня несколько слов Зое?

— Ладно. Говорите.

Не зная, с кем она разговаривает, Ирина тщательно выбирала слова.

— Передайте, пожалуйста, Зое, что звонила ее приятельница, которую она не видела с пятьдесят девятого года и которая здесь не живет.

Голос стал мягче.

— Вы случайно не Ирина?

— Да.

— Простите меня. Я о вас все знаю. Я Зоина сестра, Александра, зашла к ним в гости. Я подумала было, что вы одна из этих ненормальных девиц, ее поклонниц, которые называют днями и ночами. Я всегда отвечаю им, что никого нет дома и неизвестно когда будут. Пожалуйста, прошу вас, перезвоните через полчаса. Зоя пошла в магазин.

Когда Ирина позвонила снова, Зоя подняла труб-

ку, едва прозвучал первый гудок. Должно быть, сидела у телефона.

— Ирочка?

— Зойка?

Связывающие их узы были настолько сильны, что обе с радостью отбросили формальности, что редко случается у русских.

— Когда я могу увидеть тебя? — спросила Зоя.

— Хоть сейчас.

— Прекрасно. В какой гостинице ты остановилась?

Ирина объяснила, и Зоя сказала, что будет ждать ее через десять минут возле гостиницы.

Стоя на улице и вглядываясь в прохожих в надежде увидеть знакомое лицо, Ирина засомневалась, узнает ли она Зою. Но тут она заметила, как все головы поворачиваются вслед идущей мимо женщине, а две молоденькие девушки бросились к ней и схватили ее за руки. Это была Зоя.

Они обнялись. Ирина ждала, что Зоя прежде всего спросит о Джеке Тэйте. Однако Зоя предложила:

— Поедем к Виктории.

— А где она?

— На даче, — и назвала место неподалеку от Москвы, которое русские, наверное из-за нескольких находящихся там невысоких холмов, прозвали маленькой Швейцарией. Ирина знала, что радиус ее передвижений, как туристки, ограничен сорока километрами, а до дачи все восемьдесят, а то и больше. Поскольку она продолжала и в России работать над книгой, ей очень не хотелось подвергаться риску быть высланной из страны.

— А нельзя позвонить Виктории и попросить ее приехать в Москву?

Зоя покачала головой.

— Там нет телефона, а завтра утром у меня начинаются съемки в новом фильме, остается только один день — сегодня.

Она выглядела такой огорченной, что Ирина решила рискнуть.

Всю дорогу, пока они ехали сначала на электричке, а потом на автобусе, Зоя ни разу не спросила о Джеке Тэйте. Это озадачило Ирину, но она решила, что Зоя соблюдает осторожность в присутствии сидевших рядом пассажиров.

Зоя рассказала о Виктории, о ее успехах в кино.

Ирина в свою очередь рассказала, что видела Викторию в «Балладе о любви» и с восхищением отозвалась о ее красоте и таланте.

Зоя просияла, как и всякая гордая своим ребенком мать. Но на ее лицо тотчас же набежала какая-то тень.

— Не исключено, что ты встретишься там с Колей. Уверена, что он все еще там.

— Коля? Кто это?

— Очень известный сценарист, — ответила Зоя. — Даже в институте преподавал.

— А почему он у вас на даче?

— Потому что Виктория живет с ним. А почему живет — ума не приложу. Он намного старше.

Услышав горькие нотки в ее голосе, Ирина поняла, что Зое Коля не по душе.

— Может, она видит в нем отца?

— Отца? Ты о чем, Иришка?

Когда Ирина объяснила, что имеет в виду, она по Зоинной реакции сразу поняла, что попала в цель. Зоя была умна, и Ирине казалось, что она воочию видит, как, мучительно восприняв эту новую информацию, Зоя пытается упрятать ее поглубже в душе.

Дача располагалась на берегу Москвы-реки. На

террасе сидел какой-то человек, и Ирина сразу поняла, что это и есть тот самый Коля. Она была потрясена. Хотя Зоя и сказала, что он намного старше Виктории, мысленно она представляла себе мужчину лет тридцати-сорока. Но этому человеку было на вид далеко за пятьдесят.

## ВИКТОРИЯ

Мне было лет двадцать шесть или двадцать семь, когда в моей жизни появился Коля. Впервые я встретила его задолго до того, наверное лет в восемнадцать. Кто-то познакомил нас на одной из вечеринок. Конечно же, я слышала о нем и раньше. Коля был — да и сейчас остается — одним из известнейших в России киносценаристов и славился своим великолепным чувством юмора. Потом я не раз сталкивалась с ним в институте, где он вел занятия. Но в те дни он был для меня лишь знаменитым сценаристом, и все. Прежде всего потому, что был на двадцать пять лет старше. Кроме того, он был членом Коммунистической партии, а значит, так или иначе проявлял интерес к политике. Меня же она никогда не интересовала. К тому же, по слухам, он попивал. Правда, я ни разу не видела его в институте пьяным, но уже само подозрение отталкивало меня от него.

После развода с Сергеем меня обуяло чувство страшной неуверенности в себе. Два развода. Это пугало. Была ли то моя вина или я выбирала не тех мужчин? От этого вопроса было не уйти, и я постаралась просто не думать об этом. Я полностью отдалась работе над фильмом и не пропускала ни одной вечеринки, куда бы меня ни приглашали. Но стоило мне встретить человека, который мне нравился и которому, как мне казалось, нравилась я, — меня

тотчас огорошивал все тот же проклятый вопрос. Имею ли я право?

Это случилось на одной из вечеринок у моей подружки, актрисы. Неожиданно передо мной возник Коля. Сразу было видно, что он слегка пьян, но мне-то какое до этого дело? В конце концов, на то она и вечеринка. Он держал две рюмки, одну из которых протянул мне.

— Что там? — спросила я.

— А что еще бывает такого цвета? Конечно, водка.

Я попыталась вернуть рюмку.

— Для меня тут слишком много.

— Вы ведь пьете, правда? — Я кивнула. — Тогда выпейте. От нее вам станет только лучше. А напьетесь, что из того? Что с вами случится в эдакой-то толпе? За ваше здоровье!

Он одним глотком осушил рюмку. Я отпила из своей. Не успела оглянуться, как он подхватил меня под руку и потянул за собой в угол комнаты.

— Пойдемте поговорим.

С этого момента я стала собственностью Коли. Он умел подчинять себе женщин. Меня он подчинил целиком и полностью. Идите сюда, ступайте туда, пейте это.

Коля вовсе не принадлежал к числу красивых стареющих мужчин. Во всем его облике было что-то удивительно неряшливое. Но постепенно что-то в нем стало притягивать меня. Должно быть, действовала его бесконечная самоуверенность и непомерное чувство собственной значимости. Ничего общего с теплотой и терпимостью Сергея или собачьей преданностью Ираклия. Если и существовал на свете человек, столь похожий на отца, порожденного моим воображением, то это был Коля. Он просто завладел мной, и я бездумно подчинилась ему.



— Садитесь сюда, — сказал он, жестом попросив двух женщин подняться с дивана. — Ну, а теперь поговорим. Видел ваш последний фильм.

— Он вам понравился?

— Сущяя ерунда. И вы там отвратительны.

Как он посмел? Я решила уйти.

— Сидите, — сказал он, толкнув меня обратно. — А по-вашему, фильм хороший?

— Ну, наверно, не очень.

— Тогда откуда вам быть в нем хорошей?

Мне ничего не оставалось, как улыбнуться. Незаурядный дядечка.

Он подозвал кого-то, и нам принесли еще две рюмки с водкой.

— Допивайте ту, — сказал он, — и выпейте следующую. А я расскажу вам о подлинно великом кино.

Он очаровал меня, словно загипнотизировал, подавил своей чудовищной волей. К тому же начала действовать водка. Я забыла, что мы находимся в комнате, набитой людьми. Для меня существовал только Коля. К тому же мне безмерно льстило, что он выбрал именно меня. В мире российского кино его знали абсолютно все. Его считали гением, и я ни на секунду не усомнилась в этом. По крайней мере в тот вечер.

Я попыталась было отказаться от второй рюмки.

— Не надо, пожалуйста. У меня уже и так кружится голова.

— Водка делает волшебным окружающий мир. Да и потом я же тут, рядом. И помогу вам добраться до дому.

Я послушалась, а после этого в памяти осталось лишь одно: мы проговорили далеко за полночь, вернее, говорил один Коля.

Помню, он пытался силой войти в мамулину квартиру, но я воспротивилась. Помню еще, что он

несколько раз поцеловал меня, облапив при этом, прежде чем мне удалось высвободиться и захлопнуть дверь перед его носом.

На следующее утро, едва я успела выпить чашку кофе, зазвонил телефон. Это был Коля. Он пожелал встретиться вечером. Я сказала, что иду в гости к друзьям. Он потребовал отказаться от приглашения, и я как последняя идиотка позволила ему себя уговорить.

Очень скоро я стала его собственностью, и он превратил мою жизнь в ад. Все мои проблемы он разрешал с помощью водки или коньяка. Я стала алкоголичкой. Я стала также его жертвой.

То, что поначалу более всего привлекло меня в нем — его безмерная самоуверенность, которая, как мне казалось, гарантировала мне спокойное существование в этом мире, — на деле обернулось тиранией, вконец сломившей меня. Не сомневаюсь, Коля любил меня, он не уставал твердить об этом, но его любовь превратила меня в его собственность. Я стала его достоянием. Отдав себя ему, я вскоре поняла, что отказалась от себя. Он говорил мне, что думать и как думать. Если я осмеливалась думать по-своему или ставить под сомнение высказанное им, он делался безжалостно жестоким, даже на людях.

Сначала я пила потому, что он заставлял; потом — чтобы спастись от него этим единственно доступным для меня путем к спасению. Коле ничего не стоило сокрушить меня одним словом, но не было такой силы, которая могла бы сокрушить Колю. Он был напрочь лишен чувствительности.

Когда мамуля уехала на съемки, он перебрался к нам. Застав его по возвращении, она уже ничего не смогла сделать.

Коля еще спал в то утро, когда мамуля застала меня с рюмкой в руке — я пыталась с помощью водки унять дрожь в руках.

— Вика, что ты делаешь?

Я отвернулась и допила водку.

— Пожалуйста, мамуля, не надо. Это мне помогает.

— Это убьет тебя. Этот человек убьет тебя!

Я покачала головой.

— Он говорит, что любит меня.

— А ты его любишь?

— Теперь уж и не знаю.

Мамуля обняла меня.

— А твоя работа? С ней тоже все кончено?

— Конечно, нет. Когда снова начну работать, перестану пить.

— Надеюсь, — сказала мамуля.

Естественно, мамуля всей душой ненавидела Колю за то, что он со мной сделал. При виде его ее глаза загорались ненавистью. Если он делал попытку очаровать ее или просто перейти на дружеский лад, она поворачивалась и уходила. Нечего и говорить, что Колю это ничуть не трогало. Его ничто не трогало. Мнение других людей о нем было ему глубоко безразлично.

Но меня отношение мамули к нему выводило из себя.

— Ты не даешь ему никакого шанса, — как-то сказала я ей.

Она холодно поглядела на меня.

— Шанса на что? Сделать пьяницу и из меня?

— Я не пьяница, — отрезала я.

— Не пьяница? Посмотри на себя в зеркало. Это не моя Вика.

Ее слова больно задели меня. Наверное, потому, что я и сама знала: это правда, но еще не готова была взглянуть правде в глаза. Проще было пропустить все мимо ушей.

— Он гений, мамуля. Ты ведь видела фильмы по

его сценариям. Поговори с ним, послушай его — и сама поймешь.

Мамуля покачала головой.

— В тебе вся моя жизнь, Вика. Я люблю тебя. Но не твоего Колю. Я с удовольствием посмотрю его фильмы и буду смеяться до упаду. Но пусть он пишет свои сценарии где-нибудь в другом месте. И пусть он губит какую-нибудь другую женщину.

Ее отношение к Коле очень осложняло нашу жизнь, и, пытаясь снять напряжение, я пила еще больше.

Однако, когда мне позвонили, предложив роль в новом фильме, я приняла твердое решение не пить целую неделю, прежде чем появлюсь на студии. Чтобы войти в форму, я разработала целую систему: подолгу лежала в горячей ванне, подолгу гуляла.

Первые два дня дались мне неимоверно тяжело. Безумно хотелось выпить, а Коля нисколько не старался облегчить мне задачу.

— Хочется выпить — пей. Жизнь слишком коротка, и в ней не так уж много удовольствий. Если это тебе в радость — пей.

Но я отказывалась.

Почувствовав себя физически чуть-чуть крепче, я с гордостью сказала мамуле:

— Видишь? Я же обещала бросить пить. Теперь тебе уже не назвать меня пьяницей.

Она обняла и расцеловала меня.

— Надеюсь, у меня больше никогда не будет для этого повода.

Но все оказалось гораздо сложнее. Теперь я волей-неволей смотрела на пьяного Колю трезвыми глазами. Казалось, человек, уверявший меня в своей любви, должен быть счастлив, увидев мои незамутненные глаза. Не тут-то было. Алкоголику Коле была ненавистна сама мысль, что я справляюсь с тем, с

чем он не мог да и не хотел справляться. Мне кажется, это испугало его. Это был знак, что он теряет меня. Чувство собственника заговорило в нем во весь голос.

— Ты куда? — спросил он однажды утром, увидев, что я надеваю пальто.

— Погулять. Ты же знаешь.

— Никуда ты не пойдешь, — и он преградил мне дорогу к двери.

— Коля, не глупи. Мне надо вернуть форму, на следующей неделе начинаются съемки.

Он рассмеялся.

— Если тебе не нужно по роли делать долгих пеших переходов, зачем тебе крепкие ноги?

Я попыталась отпихнуть его от двери.

— Пропусти меня!

Он толкнул меня так сильно, что я отлетела к столу и упала спиной на него.

— Ты и впрямь надумала погулять, Вика? Или тебя поджидает на улице какой-нибудь тип?

— Мне противны твои грязные подозрения!

Он пожал плечами.

— Так или иначе, ты никуда не пойдешь. Я не желаю, чтоб ты уходила.

Мы стояли лицом друг к другу. В руке он держал стакан. Я знала: когда стакан опустеет, Коле придется наполнить его снова.

Я сняла пальто и как бы ненароком положила его на стул возле двери. Потом села и, не обращая на него никакого внимания, сделала вид, что читаю журнал.

Не прошло и двадцати минут, как потребность в выпивке взяла свое.

— Послушай, налей-ка мне еще водки.

Я посмотрела на него.

— Я тебе не служанка. Хочешь выпить — налей сам. А ко мне не лезь.

Он что-то промычал. Я ждала. Наконец он отошел от двери. Когда он был на середине комнаты, я схватила пальто и выбежала из квартиры. Меня переполняла гордость: надо же, перехитрила Колю! Еще одно доказательство моей глупости: я даже не удосужилась подумать, что меня ждет по возвращении домой.

Как только я вошла в дверь, он обхватил меня так сильно, что я закричала от боли.

— Мне больно, Коля!

Он улыбнулся.

— Вот и хорошо. Теперь будешь слушаться.

Позднее я попыталась поговорить с ним.

— Почему ты так обращаешься со мной? Говоришь, что любишь, а ведешь себя просто ужасно. Ты знаешь, что в понедельник у меня начинаются съемки. И знаешь, какая это тяжелая работа. Мне надо хорошо выглядеть, хорошо себя чувствовать. Неужели ты не поможешь мне?

Он взял меня рукой за подбородок и приподнял его.

— Твое место рядом со мной, где бы я ни был. Вот и все.

— Я же актриса, Коля.

Откинув голову назад, он расхохотался.

— «Я же актриса, Коля!» Ты так произнесла эти слова, как будто в них заключается какой-то смысл. Что такое актриса? Лицо и тело, которые меняют выражение и положение по указке других людей, произнося слова, которые придумывают и пишут тоже другие. Актриса — это заводная игрушка, которая исполняет чужие предписания, не более того.

— Возможно, ты прав, — сказала я, решив, что лучше согласиться, чем выслушивать одну из его бесконечных тирад.

Я снялась в фильме и весь съемочный период не притрагивалась к рюмке. Но сыграла я в нем не луч-

шим образом. Слишком часто, едва мне удавалось войти в роль, мое внимание отвлекал Коля, оказывавшийся где-то неподалеку, насмешливо, с видом собственника, поглядывавший на меня.

Когда съемки закончились и у меня не осталось поводов уходить куда-то из дому и от Коли, я снова начала пить.

На многие месяцы я погрузилась в пучину алкогольного безумия. В редкие минуты просветления я начинала понимать, что жизнь больше не подчиняется мне. Но взять над ней контроль пыталась лишь в тех случаях, когда мне предлагали роль. Стоило же мне вернуться обратно, в свой мир, — я чувствовала, что со мной все в порядке. Пока длился запой, Коля казался где-то далеко-далеко, а я оставалась одна в своем тихом, спокойном мирке в эпицентре бури. Я слышала его, но он был бессилен причинить мне зло. И хотя я видела огорченное лицо мамули, мне было просто невдомек, что, собственно, так ее беспокоит.

## ИРИНА КЕРК

Когда Ирина и Зоя стали подниматься по ступенькам крыльца, мужчина подозрительно уставился на них.

— Это еще кто? — спросил он.

Зоя внутренне напряглась.

— Это наша приятельница, Ирина Керк. — Она повернулась к Ирине и с нескрываемым презрением прибавила: — А это Коля, о котором я тебе говорила.

Он расхохотался и в знак приветствия поднял стакан.

— Не сомневаюсь, она успела много порассказать вам обо мне. Представляю, что она наговорила.

Ирине он сразу не понравился. Его грубость вызвала у нее омерзение.

Отхлебнув из стакана, Коля снова углубился в чтение рукописи, лежавшей у него на коленях.

— Где Вика? — спросила Зоя.

Он показал в глубь дома.

— Наверху. — И, поглядев на Ирину, прибавил: — А эта останется?

Зоя повернулась к нему.

— Эта дама — профессор. Я бы попросила вас быть повежливее.

Коля с усилием поднялся на ноги и сказал, ухмыляясь:

— Вот как, профессор. Наконец-то в доме появилась хоть одна умная женщина.

— Вы правы, — ответила Зоя. — Викторию никак не назовешь умной. Была бы она умна, давным-давно бы вышвырнула вас из дому. Пойдем, Ирочка.

Они вошли в дом, и Ирина поднялась вслед за Зоей по узкой деревянной лестнице. Зоя отворила первую дверь справа. В комнате на смятой постели спала Виктория. Подойдя к ней, Зоя потрясла ее за плечо.

— Вика, проснись. Посмотри, кто к нам пришел.

На мгновение глаза Виктории приоткрылись. Ирина сразу отметила, до чего она хороша. Но глаза тут же снова закрылись, и она отвернулась к стене. Зоя снова потрясла дочь.

— Вика, проснись же. Ты только посмотри, кто у нас.

Она заставила ее сесть и спустить с кровати ноги. Виктория посмотрела бессмысленным взглядом на Ирину и покачала головой.

— Понятия не имею, кто это.

Зоя выглядела удрученно.

— Зойка, — вмешалась Ирина, — как она мо-



жет помнить меня? Она же была тогда совсем ребенком. Виктория, я — Ирина Керк, и я...

Глаза Виктории прояснились, затем расширились от страха. Зажав руками уши, она закричала:

— Не хочу слышать! Не буду слушать! Не буду! Ирину охватил ужас.

— О чем ты говоришь?

Виктория неистово замотала головой.

— Я знаю! Я знаю! Зинаида все рассказала мамуле! Не хочу больше ничего слышать!

Имя Зинаиды потрясло Ирину даже больше, чем странное поведение Виктории. Ирина полагала, что Зинаида давно ушла из жизни Зои и Виктории. Ведь в шестьдесят втором году, когда она пыталась разыскать ее в гостинице, дежурные по этажу сказали ей, что Зинаида исчезла.

Дверь распахнулась, и в комнату ворвался Коля. Бросив взгляд на бьющуюся в истерике женщину, он крикнул ей:

— Ну, теперь ты довольна? Ты ведь все мечтала о папочке, да? Эдакая миленькая славненькая мечта! А она взяла и рассыпалась в прах прямо у тебя под носом!

— Заткнитесь! — крикнула Ирина, возмущенная его обращением с Викторией.

У Коли глаза полезли на лоб. Очевидно, он не привык, чтобы с ним так разговаривали женщины. Он что-то пробормотал.

— Я же сказала — замолчите! — повторила Ирина и, повернувшись к нему спиной, вышла из комнаты, пытаясь справиться с охватившим ее гневом.

Зоя последовала за нею вниз. Немного успокоившись, Ирина спросила:

— О чем говорила Виктория?

— Она все знает. И то, что ты рассказала в гостинице Зинаиде в шестьдесят втором году.

— Но я не виделась с Зиной. Я действительно приходила в гостиницу в шестьдесят втором, но дежурные сказали мне, что ее уволили.

Теперь окончательно сбитой с толку оказалась Зоя.

— Но Зину никогда не увольняли. Она сказала мне, что виделась с тобой в гостинице. Позвонила мне, сказала, что у нее есть для меня новости, и попросила прийти к ней домой. Я сразу поняла, о чем она. По ее словам, ты передала ей, что нашла Джексона Тэйта. Он будто бы приехал к тебе в огромном черном лимузине, и ты отдала ему фотографию Виктории. А он поглядел на нее, порвал на мелкие клочки и бросил на пол. Он будто бы сказал тебе: «Это еще не доказательство, и до тех пор, пока кто-нибудь не представит мне убедительных доказательств, я не собираюсь ее признавать». Сел в свой лимузин и укатил обратно.

— Это ложь, — сказала Ирина. — От первого до последнего слова. Я разговаривала с Джексоном Тэйтом по телефону. Я переписывалась с ним, но он никогда не был у меня дома. Мы никогда не встречались. Давай возьмем с собой Викторию, вернемся прямо сейчас в Москву и встретимся с Зинаидой. Я хочу посмотреть ей в глаза!

Зоя покачала головой.

— Зина умерла год назад. Когда она умирала, мы с Викой были в больнице у ее постели.

— Но повторяю тебе, это ложь. Наверное, КГБ добрался до нее, это они вынудили ее солгать. Похоже, что так. Огромный черный лимузин! По их представлению, все американцы, которых они пытаются оклеветать, ездят в огромных черных лимузинах.

Зоя взяла ее за руку.

— Ради Бога, у меня нет обиды на Зинаиду. Может, ее и правда заставили солгать. Пожалуйста,

прошу тебя, поднимись наверх и расскажи обо всем Вике.

Ирина снова поднялась наверх. Виктория по-прежнему лежала в кровати, повернувшись лицом к стене. Ирина присела на краешек кровати.

— Вика, это я, Ирина Керк. Хочешь послушать, что я расскажу?

Виктория мотнула головой.

— Нет. У меня нет отца. И я не хочу о нем ничего слышать.

— Зинаида все солгала. Может, ты согласишься мне, Вика?

— Нет. Я никому не верю.

Ирина погладила Викторию по плечу.

— Как мне заставить тебя поверить мне? Ты знаешь, я ведь писательница, и, когда твоя мама в пятьдесят девятом году рассказала мне историю их отношений с Джексоном Тэйтом, я тоже осталась одна с тремя детьми на руках. Я бы могла написать книгу о твоей маме и получить за нее кучу денег. Но у меня и в мыслях этого не было. Потому что я поклялась себе не писать об этом до твоей встречи с отцом.

Виктория повернулась к ней лицом. Оно было залито слезами.

— Расскажите мне о нем.

Когда Ирина закончила рассказ, Виктория потянулась к ней и поцеловала в щеку.

— Спасибо, Ирочка, и простите меня. Я верю вам.

Поколебавшись секунду, она спросила:

— Значит, он не рвал моей фотографии? И никогда не говорил, что не верит, будто я его дочь?

— Нет. С той минуты, как он услышал твое имя, он знал, что ты его дочь.

Впервые за все время Виктория улыбнулась. Но тут же лицо ее снова омрачилось.

— Тогда почему он ни разу не приехал повидаться со мной? Почему никогда не написал?

Те же вопросы задавала себе и Ирина, и у нее не было ответа на них. Но она понимала, что Виктории надо что-то ответить.

— На это есть немало причин, Виктория. Ты ведь знаешь, он уже пожилой человек. Может, он болен, а может, уже и умер.

Виктория неистово замотала головой, и из глаз ее снова полились слезы.

— Нет, не говорите так! Он должен жить!

Ирина взяла ее за руку, пытаясь успокоить.

— Могут быть и другие причины. Ты ведь знаешь, что его однажды выслали из Советского Союза. Таких вещей не забывают. Весьма вероятно, что ему не дали визы...

Но Виктория не слушала.

— Я знаю, он не умер. Я чувствую это. Я хочу увидеть его, хотя бы на одну минутку. Вы не понимаете, никто не понимает...

— Я понимаю, Виктория.

— Нет! Никому не понять, каково это — прожить всю жизнь незаконнорожденной. Когда тебе все об этом напоминает. Какую бы анкету я ни заполняла, я всегда делала прочерк в графе об отце. Я не могу указать «отца нет» или «отец неизвестен». Это все равно что сказать «я не знаю его, он не существует». — Она схватила Ирину за руки. — Вы должны найти его для меня, Ирина. Он мне так нужен!

— Я попытаюсь еще раз. Но ты должна быть готова к тому, что его уже нет.

— Тогда отыщите его могилу и пришлите мне фотографию. Хоть что-то должно у меня от него остаться.

— Хорошо. Я попытаюсь.

Виктория снова ее поцеловала. Ирина встала и,

посмотрев на нее сверху, сказала:

— На это может уйти много времени.

— Знаю.

— Но когда я найду его, ты будешь здесь, Виктория. — Ирина произнесла эти слова очень медленно, чтобы до лежащей на кровати женщины дошел их смысл.

Виктория вспыхнула.

— Что вы имеете в виду, Ирочка?

— А то, что, если вы с отцом сможете встретиться, неужели ты хочешь, чтобы он увидел тебя такой, какая ты сейчас? Если мне удастся найти его живым, будешь ли жива ты?

Виктория улыбнулась.

— Я буду жива. Считайте, что с этой минуты я бросила пить.

Ирина посмотрела на нее. Что это — правда или театральная жест актрисы, попавшей в драматическую ситуацию?

Виктория кивнула.

— Вот увидите, Ирочка. Теперь у меня есть ради чего жить.

## ВИКТОРИЯ

К тому времени, как мы возвратились в Москву, я полностью прекратила пить и увидела Колю совсем другими глазами. Передо мной предстал какой-то монстр, который никого не любил, кроме себя. Он ничего не ценил, только свой собственный талант. Любовь ко мне, о которой он мне прожужжал все уши, была сродни его любви к зубной щетке или пиджаку. Это были его вещи, его собственность. Точно так же он относился и ко мне.

Он возненавидел меня, поскольку я смогла сде-

лать то, на что сам он был неспособен, и стал мучить своими нескончаемыми рассуждениями.

— Думаешь, Бог скажет: «Ах, как замечательно, что она смогла бросить пить»? Думаешь, Бог скажет: «Что ж, придется вознаградить ее за то, что она больше не пьет, а потому я повелю сохранить жизнь ее папочке и помогу этой профессорше отыскать его для моей ненаглядной Виктории?»

Наконец-то я поняла, кому вручила свою судьбу.

— Ты чудовище, Коля. Я справилась с этой напастью не для кого-то, а для себя.

— Ха-ха! Что за прекрасные слова! Не иначе как из какого-нибудь твоего фильма? Ты ребенок, Вика, взрослый ребенок, который путает киносюжеты и реальную жизнь. Проснись! Это не кино. Твой отец наверняка уже умер, и от того, бросишь ты пить или нет, ничего не изменится!

Я убежала из дому. Я знала Колю. В запое, как сейчас, он талдычил об одном и том же, пока не напивался до потери сознания.

Я пошла к реке и, присев на берегу, задумалась. Мне трудно было бы смириться с мыслью, что мой отец умер, но я понимала, что, если это произойдет, мне придется смириться. Я не ребенок, как утверждает Коля, и вовсе не живу в мире киногрез. Если Ирина Керк сообщит нам печальное известие, я найду в себе силы пережить его. Я бы не выдержала такой жизни так долго, если бы проводила ее лишь в мечтах и фантазиях.

Моим чувствам к Коле пришел конец. Впервые я поняла, что влюбилась в киносценариста, не разобравшись, что он за человек. Он жил лишь ради того, чтобы пить и писать, губя всех, кто оказывался рядом. Он не бросил пить, даже угодив с сердечным приступом в больницу, куда я, как последняя дура, таскала ему каждый день обед, почему-то считая себя

виновницей его недуга. Едва выписавшись из больницы, он снова начал пить.

Я понимала, что буду и дальше восхищаться его талантом, но я должна во что бы то ни стало освободиться от него. Остаться с Колей — значит погибнуть вместе с ним. Но как от него освободиться? Сколько раз мы с мамулей выставляли его из дому, а он снова возвращался как ни в чем не бывало. Его эгоизм не допускал и мысли, что кто-то может отвергнуть его. Не хотеть его, если он кого-то хочет? Да это просто не укладывалось у него в голове.

В конце концов мамуля нашла способ избавиться от него. Произошло это как-то вечером, когда Коля, по своему обыкновению, напился и нес очередную нескончаемую околесицу. Трудно было даже понять, о чем он говорит, так заплетался у него язык.

И вдруг я возьми и скажи:

— Если бы кто-нибудь хоть раз увидел его в таком состоянии, мы бы, глядишь, и избавились от него.

Мамуля сразу поняла, к чему я клоню. Ведь стоило мне пожаловаться на Колю кому-нибудь из его друзей — коммунистов или членов Союза писателей, они воспринимали мои слова так, словно это была чистая околесица.

— Да, он немного выпивает, — заявил мне один из них, — но при этом всегда остается человеком.

Мамуля ушла в свою комнату. Я слышала, как она говорит с кем-то по телефону. А вскоре в квартире появились гости — председатель Колиной писательской организации, милиционер, врач, секретарь партийной организации. Когда они пришли, Коля был в ванной.

— Я пригласила вас сюда, товарищи, — вежливо начала мамуля, — чтобы вы воочию увидели человека, столь высоко вами ценимого, человека, которого мы вытащили из грязной лужи, не то он бы в ней захлебнулся.

В ответ раздался возмущенный ропот.

Я сказала:

— Кто-нибудь из вас знает, каким образом он потерял четыре передних зуба? — Я поглядела на врача.

— Не имею чести быть его дантистом, — ответил доктор, — но полагаю, поскользнулся и упал в сугроб.

Я рассмеялась.

— В этой комнате, доктор, никогда не выпадает снег. Просто Коля напился до чертиков и упал, ударившись лицом о спинку вот этого кресла.

В этот момент в комнату вошел сам Коля. И остановился как вкопанный, потом возмущенно взглянул на нас с мамулей и схватился за грудь.

— Что вы еще задумали? Хотите довести меня до очередного сердечного приступа?

— Давайте, — сказала мамуля. — Ваш врач уже здесь.

Коля отвернулся.

— Я иду спать. — И направился в мамулину комнату.

Но тут вперед выступил милиционер.

— Здесь вам спать не положено. Вы тут не прописаны.

Коля обернулся и, потеряв равновесие, уперся рукой в стену, чтобы не упасть.

— Какой позор, Коля, — вмешался партийный секретарь. — Вас удостоили наивысшей награды, какую только может получить член партии в нашей стране, а вы опозорили ее.

— Правильно, — сказала мамуля. — Пока этот человек будет продолжать настаивать на проживании в этой квартире, на что не имеет законного права, он будет позорить коммунистическую партию. Мы, две слабые женщины, не можем справиться с ним.



Коля дико озирался по сторонам, но понял, что попал в ловушку, и безропотно ушел вслед за гостями из квартиры.

На следующий день он позвонил и сказал, что возвращается. К счастью, я уезжала из Москвы в Молдавию на съемки, о чем и сообщила ему.

— Я тебе не верю, — сказал Коля.

— А мне все равно, веришь или нет. Хочешь, приходи. Тебя встретит мамуля со скалкой.

— Я приду, когда ты вернешься.

— Послушай, Коля. Я не хочу видеть тебя. Никогда! Понял?

В его голосе послышались заискивающие нотки.

— Вика, дорогая, ты сама не знаешь, что говоришь. Ты же помнишь, у нас всякое бывало.

— Да, помню. А потому, если ты осмелишься когда-нибудь подойти ко мне или к мамуле, клянусь, я позову милицию!

— Вика!

Я повесила трубку.

## ИРИНА КЕРК

Возвратившись домой в Коннектикут, Ирина Керк твердо решила снова начать поиски Джексона Тэйта. Из памяти не уходило заплаканное лицо Виктории. И все же взялась она за дело не сразу. Что-то удерживало ее, видимо, какое-то внутреннее чувство подсказывало, что с поисками адмирала лучше неделю-другую подождать.

Прошла неделя. В одиннадцать вечера она отправилась к себе в спальню. Время для начала поисков несколько необычное, но инстинкт, которому она безоговорочно доверяла, подсказывал ей, что она выбрала его правильно. Бесцельно, сама не зная, чей

адрес и телефон ищет, она перелистывала свою записную книжку. На глаза попался номер телефона лейтенанта из Академии военно-морского флота в Аннаполисе, который год назад приглашал ее прочесть у них курс лекций по русской литературе. Она тут же набрала его номер и попросила узнать, где похоронен адмирал Джексон Тэйт. Затем дала ему последний из имевшихся у нее адресов адмирала в Вирджиния-Бич.

На следующий день лейтенант позвонил ей.

— Представляете, ваш адмирал жив. — И сообщил адрес Джексона Тэйта и номер его телефона в Орандж-Парке во Флориде. — Как удачно, — добавил он, — что вы не позвонили мне раньше. В министерстве только вчера узнали новый адрес адмирала.

Ирина поблагодарила его, отдав про себя должное голосу сердца. Она набрала номер телефона Джека. Услышала, как подняли трубку, — и тут же кто-то взял и отводную. Ее обидел недовольный тон адмирала. Начать с того, что он не узнал ее, к тому же был явно раздосадован столь поздним звонком. Ирина не учла, что через месяц Джексону Тэйту стукнет семьдесят пять лет. Она попросила, чтобы тот, кто взял отводную трубку, положил ее. Только сейчас она узнала, что он женат. Эта новость еще больше усилила ее неприязнь к этому человеку, который, судя по всему, не понимал безотлагательности разговора. Она сообщила ему, что, видимо, КГБ установил слежку за Викторией и Зоей.

— КГБ? — переспросил он таким тоном, будто впервые услышал о его существовании.

— Тайная полиция.

— О, вы имеете в виду НКВД.

— Так это ведомство называлось в ваши дни, адмирал. Теперь это КГБ.

Вспоминая потом этот телефонный разговор, Ирина рассказывала: «Я думала: как мне достучаться до этого человека, который не реагирует на сложившуюся ситуацию, во всяком случае не реагирует должным образом? И тогда меня осенило: он военный, значит, он понимает лишь одно — команду».

— Адмирал, — сказала она ему, — я хочу, чтобы вы сделали следующее: я хочу, чтобы вы прислали мне свою фотографию. Я хочу, чтобы вы на ней написали: «Моей любимой дочери Виктории». И я хочу, чтобы вы написали матери и дочери письмо.

— Но ведь они же никогда ничего не получают по почте, — прервал ее Джек.

— А это уж не ваша забота, — ответила Ирина. — Я сделаю так, чтобы получили.

Как это ни странно, Джексон Тэйт, который привык отдавать приказания, а не подчиняться им, полностью выполнил все указания Ирины Керк. Он спросил, какую, по ее мнению, выбрать фотографию, и она сказала:

— Мне кажется, вашу фотографию сорок шестого года, где вы такой, каким вас помнит Зоя, и еще одну, вашу последнюю.

И хотя Тэйт на все согласился, этот телефонный разговор лишь усилил его неприязнь к Ирине — малознакомой особе, которая так стремительно и требовательно вошла в его жизнь.

Взяв на вооружение тот же резкий, что и в телефонном разговоре, тон, Ирина Керк написала Джексону Тэйту 8 сентября 1973 года:

Дорогой адмирал,

Я испытала огромное потрясение, разыскав Вас. Ведь я сказала Виктории, что Вас уже нет в живых.

И далее пересказала ему все, что произошло за время ее пребывания в Москве, включая знакомст-

во с киносценаристом и склонность Виктории к алкоголю.

О ее пристрастии к алкоголю я ничего прежде не знала, но мне кое-что объяснили мои друзья, диссиденты. По их словам, такие красавицы, как Виктория, большая редкость в России. Виктория очень эффектна, но, кроме того, она горда, вспыльчива и независима. Для КГБ она настоящая находка: они сделают все, чтобы заставить ее в своих целях вступать в любовные связи с иностранными дипломатами.

Пока она придерживается своих принципов, им не заполучить ее. Поэтому они первым делом решили выяснить, на чем основываются эти принципы, а затем постараться покончить с ними. Они выяснили: тот факт, что ее отец американец, заставил ее по-новому осознавать себя, стал для нее жизненным стимулом, поэтому они постарались уничтожить этот стимул посредством лжи. Теперь, чтобы использовать ее, они ее спаивают, хотят довести до состояния, когда ради выпивки она будет готова на все.

На последней странице письма Ирина написала:

Я не знаю Вас, да, честно говоря, и не стремлюсь узнать. Но я видела Викторию, стала свидетельницей ее горя, поняла, к чему все это может привести, и единственное мое желание — это помочь ей. Мои слова, что ее обманули, что Вы вовсе не порвали ее фотографию, ей помогли. Но надолго ли? Мы обязаны сохранить в ее душе этот крошечный огонек надежды и не дать погасить его.

Джексон Тэйт послушно выполнил все требования Ирины Керк. Видимо, он довольно быстро прислал ей те фотографии и письма, о которых она просила, потому что уже 20 сентября 1973 года она поблагодарила его ответным письмом. Можно только догадываться, что он написал ей в приложенной к фотографии записке. Очевидно, ей все же удалось

пробудить в кем чувство вины за бездействие, потому что в ответном письме она писала:

Почему Вы решили, что я считаю Вас подлецом и бессердечным человеком? Разве я когда-нибудь говорила это? Никогда. И я вовсе так не считаю. Наверное, Вы просто очень слабовольный человек, вот и все.

Далее она объяснила Джеку, что он должен или что может сделать. Предложила ему адвоката, который занимался защитой прав советских писателей, и посоветовала проконсультироваться с ним, если он действительно хочет как-то помочь своей дочери. Она писала:

Я бы на Вашем месте отправила обычной почтой еще и открытку, просто чтобы посмотреть, доставят ее или нет. Таким путем мы проверим отношение властей. Напишите приблизительно так: «Дорогие Зоя и Виктория. Надеюсь, вы получили посланные мною письма и фотографии. Я знаю, почта идет медленно, но в целом почтовая служба работает отлично и в конечном счете письма доходят. Пожалуйста, напишите, когда получите их. Целую вас обеих». И ничего больше, посмотрим, дойдет ли она. Я пришлю Вам адрес, но, пожалуйста, напишите Зоину фамилию по-русски.

Без сомнения, намерения Ирины Керк были продиктованы наилучшими побуждениями. Она знала, как воздействовать на русский менталитет, как оказать давление на советское правительство. И хотя ни Зоя, ни Виктория не были диссидентами, подобными тем, с кем имела дело Ирина, в обоих случаях действовать приходилось одинаково. В отличие от Джека Тэйта она знала это и потому все взяла на себя. Ей было бы куда легче действовать одной, но для успешного выполнения ее замысла Джексон Тэйт

был необходим. Она относилась к нему как к большому упрямому ребенку, что видно из ее многочисленных писем к нему. Ей пришлось направлять каждый его шаг, обговаривать в письмах мельчайшие детали.

Можно только догадываться о мыслях и чувствах Джексона Тэйта. Он признал свое отцовство, и, скорее всего, его действительно заботила судьба дочери, как и судьба Зои. Но как-никак ему было семьдесят пять и он женился, чтобы не провести в одиночестве остаток жизни. «Я уже в конце пути», — неоднократно повторял он своим родным и друзьям. И вовсе не в расчете на то, чтобы вызвать их симпатию или услышать их протесты. Он говорил то, что думал. Таков уж он был, Джексон Роджерс Тэйт, всегда оценивавший себя с трезвым реализмом.

И вот внезапно мир и покой, которые он обрел в местечке Оранж-Парк, где к услугам проезжавших в глубь Флориды туристов имелись лишь бесчисленные кафе, представлявшие все ведущие сети закусочных Америки, потрясли воспоминания о прошлом.

Джек Тэйт вовсе не пытался снять с себя ответственность за дочь, которую никогда в жизни не видел, он просто не знал, что делать. Он знал, что у него неважно со здоровьем — о чем ему приходилось вспоминать чуть не ежедневно, — да к тому же он был слишком стар, чтобы отправиться в Россию, даже если б его туда пустили. Но Тэйт был твердо уверен, что ему никогда не разрешат снова въехать в эту страну.

Единственным решением проблемы представлялась помощь Ирины Керк, но эта женщина ему не нравилась, и он ей не доверял. Уж слишком она привыкла командовать и, кроме того, излишне часто упоминала в своих письмах диссидентов. Кто знает —

реши он с ней сотрудничать, не доведет ли она до нового ареста Зою, а то и Викторию? Но если отказаться — что станется с Викторией? Если верить этой Керк, душевное состояние его дочери, не говоря уж о ее пристрастии к алкоголю, напрямую связано с ним, Джеком.

Если б только у него было время собраться с мыслями и хорошенько все обдумать, он, возможно, и смог бы обойтись без помощи Керк. В конце концов, Виктория — его дочь, член его семьи, а не семьи Керк. Но он понимал, что у человека в конце пути уже не остается на это времени. Физически он, может, и выдержит, но рассудок, смятенный беспорядочными воспоминаниями, уже никогда не будет прежним. Человека, который проделал путь от матроса до контр-адмирала, больше не существовало. Он, как и прежде, может отдавать приказы, но уже не в силах их контролировать. Нравится ему или нет, но эта Керк существует, и ему ничего не остается, как во всем подчиниться ей.

Он купил почтовую открытку с туристическими видами Оранж-Парка и русскими буквами написал на обратной стороне фамилию Зои. А затем слово в слово повторил текст, продиктованный ему Ириной Керк.

Вскоре после того, как 20 сентября 1973 года Ирина отправила письмо Джексону Тэйту, ей позвонил человек, назвавшийся Хью Тэйтом.

— Я приемный сын Джека. Моя мать была его второй женой. Капитан военно-морских сил в отставке. Пожалуйста, когда будете разговаривать с Викторией, передайте ей привет от брата.

Ирина сказала, что обязательно передаст, и стала ждать, что последует дальше. Наверняка он позвонил не только для того, чтобы передать привет Виктории.

— Должен сообщить вам, что моего отца положили в больницу. Ему предстоит операция на сердце. Шансы на успех весьма невелики.

У Ирины перехватило дыхание — перед глазами возникла дача и лицо Виктории, лежащей на кровати. Если ее отец умрет, она вряд ли переживет его.

— Когда его повезли в больницу, — продолжал Хью, — капитан — я так его называю — попросил меня заглянуть в шкатулку, которую он держит у себя в спальне, сказал, что там лежат ваши письма, они мне все объяснят. Вот почему я и звоню вам. Наверно, вы захотите сообщить Виктории.

— Хью, — сказала Ирина, — ради Бога, держите меня в курсе. Я должна знать, что случится с адмиралом.

Ирина заказала разговор с Зоей и стала ждать звонка телефонистки. Наконец телефон зазвонил. Телефонистка сказала, что по заказанному номеру никого нет дома. Ирина положила трубку. Интересно, действительно никого нет или ее звонок не пропустили. «Никого нет дома» — обычная отговорка в тех случаях, когда советское правительство не хочет, чтобы иностранец входил в контакт с советским гражданином.

Ну что ж, может, оно и к лучшему. Пусть Виктория чуть подольше порадуется письмам и фотографиям отца. Еще будет время сообщить ей, если он умрет.

## ВИКТОРИЯ

Я была в Молдавии на съемках фильма «Жестокость», когда мне в гостиницу позвонила мамуля.

— Что случилось, мамуля? — спросила я, внезапно ощутив непонятную тревогу.

Не в ее обычае было звонить мне, особенно в



гостиницу, где — мы это хорошо знали — наши телефонные разговоры прослушивались.

Она рассмеялась.

— Нет, нет, Вика, не волнуйся. У меня для тебя хорошая весточка. Тебе пришло письмо.

— Да? — По тому, как она произнесла слово «письмо», я поняла, что оно крайне важное. Первым делом я подумала о папе. Неужели такое возможно?

— Ты не можешь сказать, от кого оно?

Мамуля снова рассмеялась.

— Пусть это будет для тебя сюрпризом. Завтра утром вылетаю к тебе с письмом.

— Хорошо, — сказала я как можно спокойнее, хотя в душе у меня бушевала буря.

Когда я на следующий день вернулась со студии, мамуля уже поджидала меня. Обняв и расцеловав ее, я прошептала ей на ухо:

— Говори! Письмо? От папочки?

— Да, — ответила мамуля. — Давай прогуляемся по парку.

Только в парке можно было чувствовать себя спокойно. Я знала, что за время моего пребывания в Молдавии мой номер в гостинице дважды обыскивали, хотя понятия не имела, кто проводил этот обыск и что искали.

Мы выбрали скамейку у фонарного столба и сели. Убедившись, что за нами не следят, мамуля сунула руку в карман пальто.

— Вот письмо. И две фотографии. Ирина перевела письмо на русский.

Мамуля протянула мне фотографию человека в морской форме, сидящего за столом с сигаретой в руке.

— Вот таким был твой папа, когда мы встретились. На обратной стороне поставлена дата, сорок седьмой год, но он нисколько не изменился.

Я смотрела на лицо человека, которого любила мамуля, и по моим щекам катились слезы. Мой папа. Наконец-то у меня есть отец.

— Посмотри, — сказала мамуля, — те же темные волосы, даже брови точь-в-точь твои. А погляди сюда, — она показала на ямочку посредине подбородка, — такая же, как у тебя.

Потом она дала мне вторую фотографию. На ней тоже был папочка, но сильно постаревший и пополневший. Он стоял перед письменным столом в очень яркой рубашке, выпущенной поверх брюк.

— А вот такой он теперь. По-моему, он и сейчас очень интересный мужчина.

Я молча кивнула. Я не могла говорить, я не могла оторвать глаз от его лица. Папа. Папочка! Если бы мне хоть раз прикоснуться к его лицу...

— Я люблю тебя, — шепнула я человеку на фотографии.

Мамуля протянула мне свой носовой платок.

— А вот письмо. Оно адресовано мне, но ты увидишь, что оно и для тебя.

*12 сентября 1973 года*

Моя дорогая Зоя,

Не могу поверить, что и спустя столько лет великая держава видит в нас угрозу и причиняет горе нашей дочери, обязанной своим рождением нашей огромной любви. Мне уже семьдесят пять, жизнь прожита. Впереди — очень короткая дорога.

Я никогда не забуду ту восхитительную ночь после Дня Победы, когда ты лежала в моих объятиях и когда была зачата Виктория. Мы решили тогда, что, если родится мальчик, мы назовем его Виктором, а если девочка — Викторией, в честь великой победы, одержанной народами мира. Мы никому не причинили зла, мы только любили друг друга. За что же на нас обрушила свою злобу могущественная политическая организация или правительство? И уж, конечно, время

этой ненависти не должно лежать на Виктории, невинном дитя нашего союза.

А тебе, Виктория, моей дорогой доченьке, могу сказать лишь одно: мне бесконечно жаль, что моя любовь к Зое причинила тебе столько горя и страданий.

Я любил тебя, Зоя, люблю до сих пор и храню в душе воспоминания о том коротком годе, когда мы были вместе.

*Джексон.*

Не в силах сдержать рыданий, я повалилась на колени мамули. Он назвал меня своей дорогой доченькой!

Мамуля сильно толкнула меня в бок.

— Сядь нормально, Вика, и возьми себя в руки. За нами ведь могут следить.

Я села, но слез сдержать не смогла. «Моя дорогая доченька». Наконец-то и я стала настоящей дочерью, и у меня есть папочка, и больше нет надобности его выдумывать. Меня переполняли счастье и гордость. Три слова: «Моя дорогая доченька» — унесли с собой двадцать семь лет позора.

В тот вечер, еще не оправившись как следует от потрясения, я написала свое первое письмо отцу, чтобы мамуля взяла его с собой, возвращаясь на следующий день в Москву.

Здравствуй, мой дорогой!

Я и вправду не знаю, как называть тебя, но я подумала, раз ты назвал меня в своем письме дочерью, значит, я могу называть тебя отцом. Сегодня в моей жизни произошло самое прекрасное и неожиданное событие. Наконец-то нам помогли найти друг друга.

Я мечтала об этом всю жизнь и подсознательно всегда верила, что придет день, когда мы встретимся.

Мне было пятнадцать или шестнадцать лет, когда мама мне все рассказала, и я засыпала ее вопросами. Он красивый? Высокий? Добрый? И так далее. Для меня, как и для всякой девочки, было важно, чтобы мои мама и папа были самыми красивыми и добрыми

людьми на свете. Наверно, Ирина рассказала тебе, при каких трагических обстоятельствах я на многие годы лишилась матери. Я жила в Казахстане с маминой сестрой и была уверена, что она моя мать, потому что никто и словом не обмолвился о моей настоящей матери. Ведь ее приговорили к двадцати пяти годам тюремного заключения, и никто не надеялся, что она когда-нибудь выйдет на свободу. Но она выстояла и выдержала все лишения. Она вернулась и взяла меня к себе. Она целиком посвятила себя мне и своей работе. Но, наверное, она сама расскажет тебе о себе.

Мой дорогой папа! Я сейчас далеко от Москвы, в маленьком молдавском городке, где снимаюсь в новом фильме и играю в нем главную женскую роль. Скорее всего, Ирина рассказала тебе подробно о моей жизни.

Мне бы так о многом хотелось написать тебе, рассказать все о моей жизни, но из-за всего случившегося — из-за того, что я нашла тебя, причем так неожиданно, — я никак не могу собраться с мыслями. Все эти годы я ждала какой-нибудь весточки от тебя. Хоть нескольких слов. И вот наконец дождалась. Конечно, настоящее счастье придет ко мне, если я увижу тебя. Я представляю себе, как мы сидим все вместе — только мы трое и никого больше — и говорим, говорим, говорим. Ведь нам так о многом надо поговорить.

Ума не приложу, возможна ли такая встреча, но, когда мама вернется в Москву, она подумает об этом.

Я уже почти десять лет снимаюсь в кино. Та моя фотография, которую прислала тебе Ирина, тоже из фильма. Но в то время я не очень-то хотела стать актрисой. Вообще-то я мечтала стать врачом-психиатром. Узнав об этом, мама пришла в ужас. С присущим ей чувством юмора она сказала: «Хорошо, ты будешь врачом-психиатром, но твоим пациентом станет в таком случае твоя мать».

Так вот, актрисой я стала. Я сыграла очень хорошую роль в картине «Двое» (другое ее название «Баллада о любви»). Этот фильм купили многие страны, и одна из его премьер состоялась в Сан-Франциско. В глубине души я надеялась, что ты посмотришь эту картину и узнаешь во мне свою дочь.

Что еще? У меня был друг, киносценарист.

Наверно, Ирина Керк говорила тебе, что он сильно пьет. Ему пятьдесят три года. Ради мамы и ради тебя я порвала с ним и бросила пить.

Скоро мама улетает в Москву, у меня остались буквально считанные минуты, чтобы закончить письмо. Я понимаю, что оно получилось сумбурное, но надеюсь, ты поймешь мое теперешнее состояние.

Спасибо за фотографии, которые ты мне прислал, — я, конечно же, сразу тебя узнала. Мне очень жаль, что я не могу послать тебе отсюда какую-нибудь фотографию, у меня нет их с собой, но в Москве мама вложит снимок в это письмо.

Желаю тебе счастья, здоровья, многих лет жизни и всего самого хорошего. Нежно целую тебя.

*Твоя дочь,  
Виктория.*

Я отдала письмо мамуле. Наутро перед ее отъездом я перечитала письмо отца и еще раз посмотрела его фотографии. Мучительно больно было отдавать их мамуле, но я понимала, что не могу оставить их при себе в гостинице, где их могут обнаружить.

Я вернулась в Москву в полной уверенности, что меня ждет новое письмо от отца. Но письма не было. Поначалу очень расстроившись, я потом постаралась успокоить себя. Ведешь себя как ребенок, сказала я себе. Ведь получила же ты от него письмо, и он назвал тебя своей доченькой. Это письмо перевернуло твой мир, но это отнюдь не означает, что перевернулся мир, в котором ты живешь. Письма из-за границы по-прежнему идут очень долго. Вероятно, он написал тебе не одно письмо после того первого, но пройдет немало времени, прежде чем ты их получишь. Ирине потребуется уйма усилий, чтобы найти людей, направляющихся в Москву, которым можно доверять.

Однако время шло, писем больше не приходило, и мало-помалу я пришла к убеждению, что то пись-

мо было единственным и последним. Мой отец выполнил свой долг и на этом успокоился. Мамуля всячески старалась утешить меня, говорила, что он мог умереть за это время. Я категорически отвергала этот довод. Уж лучше другой: он просто больше не хочет писать мне.

Как я и предполагала, вновь появился Коля, и в том состоянии страха и душевной нестабильности, в каком я пребывала, я опять кинулась к нему за помощью. Что было абсолютно пустым номером. Коля тут же обрушился на меня.

— Сколько можно талдычить о своем папочке? Папочка такой, папочка сякой, противно слушать. Лучше бы побольше внимания уделяла мне. По крайней мере я тут, при тебе. Старику, видать, плевать на тебя с высокой колокольни. Подумаешь, написал письмо! Одно-единственное письмо!

Я бросилась на него, готовая расцарапать его лицо ногтями, и он в ужасе отпрянул. Впервые я увидела в его глазах страх. Я выставила его из квартиры, строго-настрого запретив показываться мне на глаза. Наверно, он наконец понял, что на этот раз я не пущу его обратно. Во всяком случае, больше он мне не звонил.

Новый, 1974-й, год я встретила без Коли и без возлияний, в уверенности, что со дня на день получу письмо от отца.

Но миновала зима, пришла весна, наступило лето, и ничего не изменилось. Ни одного письма, ни одного телефонного звонка от Ирины Керк. Неужели она утратила ко мне интерес? Помнит ли меня отец? И жив ли он?

Эти вопросы день за днем нескончаемо вертелись у меня в голове. В какой-то момент я принималась уговаривать себя, что он шлет письма, но они не доходят. Уже в следующую минуту я отвергала

эту мысль, твердо уверенная, что то единственное письмо — предел его внимания ко мне, и я никогда не увижу своего отца.

Дни пролетали один за другим, бесцельные и пустые. Я попыталась углубиться в работу над новым фильмом, но работа стала чем-то второстепенным. Главным стал отец. Его фотографии властвовали над моей жизнью.

Каждый вечер я возвращалась домой, и мы с мамулей ужинали в полном молчании. Стоило мне поднять глаза — и я ловила на себе ее внимательный взгляд. Видя ее тревогу, я с усилием улыбалась.

— Не беспокойся, мамуля. Я выживу.

## ИРИНА КЕРК

Как бы то ни было, а стойкости адмирала нужно отдать должное. Стреляный воробей! В семьдесят пять перенести операцию на сердце! Когда он наконец позвонил ей, а произошло это приблизительно через два месяца после ее разговора по телефону с Хью, он не без гордости сообщил, что пролежал на операционном столе пять часов и двадцать минут.

Джек снова стал писать письма Виктории, а Ирина пересылала их во Францию своему знакомому, который обещал переправлять их в Россию, Виктории. Ее надеждам уговорить Джексона Тэйта поехать в Советский Союз и повидаться с Викторией, теперь, увы, уже не суждено было сбыться. Операция на сердце плюс старческий диабет полностью исключали такую возможность.

В свое время Виктория попросила Ирину взять для нее у отца приглашение для поездки в Штаты. Ирина знала о страстном желании Виктории повидать отца и прекрасно понимала, какому риску подвергнется, независимо от исхода ее обращения за

визой. Беспокоило и то, что она вот уже много месяцев не могла связаться с Викторией. Каждый раз, когда она заказывала с ней телефонный разговор, в ответ слышалось неизбежное: «Никого нет дома».

Виктория и не подозревала, насколько близкой для нее была возможность навсегда потерять отца. Ну да ладно, Ирина расскажет ей обо всем при личной встрече, когда поедет летом в Европу. Конечно, при условии, что ей удастся попасть в Россию, — у нее не было ни малейших сомнений, что русские знают о книге, над которой она работает, и о ее связях с диссидентами. Вопрос только в том, как много они знают.

К началу лета 1974 года Ирина узнала, что ее французский знакомый не смог передать Виктории письма отца. Надо было придумать какой-нибудь способ доставки писем и подыскать для этого другого человека.

Она остановила свой выбор на Михаиле Агурском, профессоре, занимавшемся проблемами кибернетики и философии. Еврей Агурский проявил недюжинную смелость, бросив вызов советской системе. Только человек большого мужества, как писала она о нем в своей книге, мог решиться на встречу в лесу с репортерами Си-би-эс и рассказать им о ситуации в России<sup>1</sup>.

Ирина сделала все возможное, чтобы ее письма и письма Джека Тэйта оказались в руках Агурского.

## ВИКТОРИЯ

Был обычный будничным день середины лета. Я стояла в длиннющей очереди на прохождение ежегодного техосмотра машины. Я уже отстояла не мень-

---

<sup>1</sup> Михаил Агурский живет сейчас в Израиле.



ше двух часов, и, судя по всему, мне предстояло простоять еще столько же. Предупредив мужчину, который был за мной, что отойду, я пошла позвонить.

Едва я успела сказать мамуле, чтобы не ждала меня к обеду, как она прервала меня.

— Приезжай! Немедленно! У меня есть для тебя важные новости.

— Не могу. Я потеряю очередь. Может, скажешь, в чем дело?

— Нет! Исключено. К черту техосмотр, приезжай!

Я помчалась за машиной и приехала домой. На столе лежали несколько писем от Ирины и четыре — от отца. Боже, какой великолепный праздник! Он жив! Он не забыл меня! Я с жадностью читала его письма, смахивая слезы, застилавшие мне глаза и мешавшие читать.

Потом мамуля рассказала, как к ней попали письма. Позвонил какой-то мужчина и, не представившись, спросил:

— Вы ждете писем с Запада?

Мамуля пробормотала что-то невнятное. Мужчина сказал:

— У меня есть для вас кое-что. Мы можем увидеться?

Они договорились о встрече. Это был Михаил Агурский, который пошел ради меня на огромный риск.

## ИРИНА КЕРК

Она приехала в Москву в августе 1974 года, но с Викторией увиделась не сразу. Первым делом она встретилась с Михаилом Агурским, чтобы переговорить с ним о Виктории и ее отце.

— Есть какой-нибудь шанс, что он сам приедет повидаться с ней? — спросил Михаил.

Ирина качнула головой.

— Нет. Он стар и серьезно болен. Об этом не может быть и речи.

— Значит, ехать надо ей. Как по-вашему, он станет хлопотать, чтобы ей разрешили приехать?

— Сложность заключается в том, — сказала Ирина, вспомнив свои беседы с Джексом Тэйтом, — что он понятия не имеет, как к этому подойти и какой тон взять с русскими.

Михаил задумался.

— Поскольку ее отец занимает весьма высокое положение, как-никак адмирал, его приглашение должно сработать.

Они решили, что наилучший путь побудить Джексона Тэйта к действию — попросить американское консульство в Москве написать ему и посоветовать пригласить дочь в Соединенные Штаты.

Ирина одобрила идею.

— Уверена, адмирал Тэйт с большей готовностью откликнется на официальное письмо, чем на мое. Если ему напишу я, он наверняка подумает, что я опять создаю для него невыносимую ситуацию. Джексон Тэйт еще не забыл, как его выдворили из России. Он не верит, что его пустят туда, как не верит, что Викторину выпустят оттуда.

Михаил улыбнулся.

— Не исключено, что он прав. Но надо попытаться.

— Сначала я встречу с Викторией.

Когда Ирина встретилась с Зоей и Викой Федоровыми, она рассказала им обоим о болезни Джека. Зоя грустно покачала головой.

— Это ужасно, — сказала она. — Джексон — и старый. Не могу себе этого представить.

— Он не может умереть, — решительно заявила Виктория. — Я должна хотя бы раз увидеться с ним.

Ирина сказала:

— Уверяю тебя, не в его силах приехать к тебе. А ты, если б можно было, поехала к нему?

— Конечно, — ни секунды не колеблясь, ответила Виктория.

— Эта попытка может раз и навсегда разрушить все, чего вы тут достигли. И при этом еще вопрос, разрешат ли тебе выехать.

Зоя кивнула:

— Послушай ее, Вика. Она все верно говорит.

— Мне все равно. Я всю жизнь мечтала об отце. Я хочу поехать к нему.

— Хорошо, — сказала Ирина. — Раз так, начинаем.

Встреча с американским консулом Джеймсом Г. Хаффом состоялась на Красной Площади. Вместе с Викторией и Ириной на ней присутствовал и Михаил Агурский. Хафф согласился написать адмиралу Тэйту и сообщить ему, что он может пригласить в гости свою дочь.

## ВИКТОРИЯ

*7 сентября 1974 года.*

Дорогой м-р Тэйт,

Ваша дочь Вика попросила меня перевести ее письмо к Вам. Я с удовольствием выполнил ее просьбу, хотя моих знаний явно недостаточно. Простите за ошибки.

*Михаил Агурский.*

Мой дорогой, мой любимый папочка,

Как ты поживаешь? Мы страшно обрадовались, получив твое письмо. Я пришла в сильное волнение, но, дочитав до конца, очень расстроилась. Сколько же несчастий может выпасть на долю одного человека? Главное сейчас — твое здоровье. Тебе надо собрать все силы, чтобы победить болезнь. Если я правильно поняла, худшее уже позади.

По рассказам мамы, ты очень мужественный и сильный человек, способный преодолеть все трудности. Поэтому все, что тебе сейчас необходимо, это огромное желание выздороветь, а все остальное приложится, правда? Ты даже не можешь себе представить, какую радость доставляет мне каждая строчка твоего письма.

Мысленно я все время молюсь, чтобы ты выздоровел. В нашей жизни было больше плохого, чем хорошего. Я надеюсь на лучшее будущее.

Иногда, когда мне случается раздавать автографы своим поклонникам, я желаю им счастья, такого же огромного, как слон. Тебе я желаю здоровья и счастья – такого же огромного, как все слоны в мире.

Дорогой папочка, я не знаю, как приблизить день нашей встречи. Очень жаль, что мы так долго были оторваны от Ирины, а других источников информации о тебе у нас нет.

Мы не имеем возможности прямо обратиться в соответствующее учреждение, чтобы получить разрешение на поездку к тебе. Но, как мне удалось выяснить, все упирается в соблюдение некоторых формальностей. Вот только я не знаю, достанет ли у тебя сил заняться ими.

Было бы хорошо, если бы ты мог сделать следующее:

1) Удочерить меня.

2) Сообщить в американское посольство в Москве (и лично консулу Джеймсу Хаффу) о своем желании встретиться со мной в США. Если ты считаешь, что могут возникнуть политические осложнения, – не надо.

Если это сделать по возможности быстро, я надеюсь на нашу встречу. Папа, мой самый замечательный, самый любимый папочка, мне ничего не нужно, только увидеться с тобой. Я живу этой встречей, это будет самый счастливый миг в моей жизни. С той самой минуты, как мама рассказала мне о тебе, о том, что ты есть, я знала, что найду тебя и мы встретимся.

Мне очень, очень жаль, что ты болен и не можешь приехать сюда. Собери все свои силы, наберись терпения, и все будет хорошо. Кстати, мне кажется, что политическая ситуация сейчас как никогда благоприятствует нашей встрече. Как бы то ни было,

я ничего не боюсь. У меня нет никаких других причин для поездки в США, кроме простого желания увидеть тебя. Если тебе трудно заняться всем этим, это вовсе не обязательно. Я не расстроюсь, потому что пойму тебя. Нежно тебя целую во все те места, которые причиняют тебе боль, чтобы тебе не было больно.

С огромной любовью,

*Всерага твоя Виктория.*

Папа, я написала это письмо вчера, а сегодня решила дописать несколько строк. Пожалуйста, пришли мне официальное приглашение обычной почтой на мой адрес. Интересно, дойдет ли оно? Чтобы нам встретиться, тебе придется выполнить все те формальности, о которых я написала. Еще раз целую тебя.

*Твоя гочь*

*Вика.*

Мой адрес: Советский Союз, Москва, 121248, Кутузовский проспект, д4/2, кв. 243.

## ИРИНА КЕРК

В октябре 1974 года Ирина гостила у друзей в Риме, но все ее мысли были в Москве. Ознакомившись в американском посольстве с образцами анкет для получения выездных виз, она поняла, что, если советское правительство отнесется к просьбе Виктории о поездке к отцу отрицательно, ей в скором времени грозят серьезные неприятности. Тогда ей потребуется надежная поддержка. Самым сильным гонениям подвергаются те граждане, кого не знают за пределами страны, но, если Викторину узнают на Западе, советские власти вынуждены будут проявить большую осторожность. Первой пришла мысль о Голливуде. Почему бы и нет? Ведь Виктория актриса и к тому же прелестная женщина. Но Ирина никого не знала в Голливуде.

Тогда она вспомнила о своем друге Леонарде

Бернстайне, в то время дирижировавшем оркестром в Вене. Наверняка у него есть друзья в Голливуде. Заказав разговор с Веной, Ирина объяснила Бернстайну необходимость срочной с ним встречи. Он предложил встретиться в Лондоне, куда отправится из Вены. В Лондоне она рассказала ему обо всем и поделилась идеей заинтересовать кого-нибудь в Голливуде судьбой Викторией. Чем большую известность приобретет Виктория в Голливуде, тем в большей безопасности будет она у себя на родине. Бернстайн посоветовал ей обратиться от его имени к Майку Миндлину, продюсеру «Парамаунт Пикчерс».

Возвратившись в Рим, она отправила письмо Джексону Тэйту, посоветовав ему подготовить все необходимые документы и приглашение для Викторией. Упомянула о том, что если он хочет послать Викторией рождественский подарок, то она в скором времени собирается в Москву. В конце письма она настоятельно рекомендовала ему удочерить Викторию, что, несомненно, оградит ее от неприятностей.

Джек откликнулся на удивление быстро: уже через две недели он прислал ей вызов и чек на двести долларов для покупки рождественских подарков. На эти деньги Ирина купила для Викторией замшевую куртку на мерлушке, несколько юбок, свитеров и блузок.

С присланных Джеком документов она сняла копии. Чтобы прозондировать политическую ситуацию в России, она попросила послать Викторией копии документов из Швейцарии, Англии и Италии. Ни одна из них до нее не дошла. Но та, которую она передала одному из американских дипломатов с просьбой отдать ее в Москве лично Джеймсу Хаффу, благополучно достигла адресата. Одну копию она привезла в Москву сама и передала Викторией.

Ирина приехала в Москву в ноябре 1974 года на десять дней. Перед тем как отправиться к Зое и Вик-

тории, она встретила с Михаилом Агурским и узнала от него, что Виктория готова сделать первый шаг на долгожданном пути к отцу. Она намерена обратиться к директору студии за характеристикой. Это обеспокоило Ирину.

Виктории придется официально признать себя дочерью американского гражданина и объявить о своем желании выехать из страны, чтобы повидаться с отцом. Ирина знала, что Виктория никогда не была диссиденткой, но поверит ли в это советское правительство? А вдруг Джексон Тэйт умрет раньше, чем Виктория получит разрешение на выезд? В каком она тогда окажется положении? А что будет, если ей дадут плохую характеристику? Виктория ставит на карту всё, рискуя не получить ничего — разве что расплату за предпринятую попытку.

## ВИКТОРИЯ

Увидев чудесные подарки, которые привезла мне от отца Ирина, я чуть не разревелась. Я бы подарила ему на Рождество весь мир, но что я могла найти в Москве? Я выбрала набор деревянных кубков в традиционных красных, черных и золотых тонах.

— Это обычные туристские сувениры, Ирина, но что еще я могу купить?

— Какая разница, Вика? Они понравятся ему, потому что он получил их от тебя.

Я взяла у Ирины номер телефона отца и однажды вечером, воспользовавшись присутствием у нас Михаила, решила позвонить ему. Мы заказали разговор, но телефонистка сказала, что все линии связи с Соединенными Штатами перегружены официальными и служебными разговорами, поэтому заказы от частных лиц не принимаются.

— Попробую дозвониться с Центрального телеграфа, — сказала я Михаилу. — Пойдете со мной? Без вашей помощи мне не обойтись.

Михаил предупредил, что появляться с ним, известным диссидентом, небезопасно. Я ответила, что мне все равно.

Как я ругала себя, что не слушала в школьные годы мамулю, когда она уговаривала меня учить английский! Если бы послушала, не пришлось бы прибегать к помощи Михаила. Но выхода у меня не было.

Мы отправились на улицу Горького, на Центральный телеграф, и заказали разговор с Оранж-Парком во Флориде, в Соединенных Штатах Америки. Про перегруженные линии не было сказано ни слова, предупредили лишь, что придется немного подождать. Меня охватила нервная дрожь. Совсем скоро я услышу голос отца.

— Господи, Михаил, что мне ему сказать?

Михаил написал на клочке бумаги печатными буквами по-английски: «Я твоя дочь», объяснил, что означают эти слова и как их произносить.

— А как мне его называть?

— Называй его «дэди», — ответил Михаил.

— Что значит «дэди»?

— То же самое, что папа, так на английском обращаются к отцу детишки.

Я отвергла этот вариант. Я уже давно не ребенок.

Мы прождали сорок пять минут. Наконец женщина за окошечком жестом показала мне, что на проводе Америка. Вместе с Михаилом мы зашли в кабинку.

— Алло?

— Кто говорит? — услышала я резкий мужской голос.

Я разрыдалась.



— Виктория, — сказала я сквозь слезы.

— Кто?

— Виктория! — Я схватила клочок бумаги. — Я твоя дочь, папочка, — с трудом выговорила я по-английски, бросила трубку и, закрыв лицо руками, выбежала из кабины.

Не я, а Михаил сообщил ему, что я получила приглашение.

— Слышимость была не очень хорошая, да и мой английский оставляет желать лучшего, наверное, он не все понял. Но одно я расслышал совершенно точно: он позвонит тебе в день рождения.

Уткнувшись в плечо Михаила, я снова залилась слезами. Какая же я идиотка! Надо же, пойти на такой риск, заказать разговор и не произнести ни одного путного слова! Но зато я услышала голос отца. И это самое главное.

На следующий день я отправилась на прием к руководителю объединения на Мосфильме за характеристикой. Прочтя приглашение, он спросил:

— Что это еще за ерунда?

— Это не ерунда. Я хочу повидать отца. А для этого мне нужна характеристика.

Я чувствовала, как внутри у меня все клокочет, но постаралась собраться и говорить спокойно и вежливо.

— Хорошо. Проведем собрание коллектива нашего объединения и обсудим вашу просьбу. А уж после этого дадим вам либо положительный, либо отрицательный ответ, — сказал он абсолютно равнодушным тоном.

Я вспыхнула.

— Мне не нужен положительный или отрицательный ответ. Я не прошу у вас разрешения на выезд. Работать там я не собираюсь. Хочу повидаться с отцом, а ему без разницы, что вы напишете в своей бумажонке.

Он улыбнулся, и то была отнюдь не добрая улыбка.

— Может, вашему отцу и без разницы, но, если подтвердится, что ваша репутация... не очень... вы никуда не поедете.

— Сколько мне ждать? — спросила я, хотя хорошо знала, что по закону он обязан дать ответ в течение месяца. Но я слышала, что многим приходилось ждать гораздо дольше, потому что они не осмеливались никуда жаловаться. Не на ту напали! Я ему ничего не сказала, но, если понадобится, я им закачу здесь такую истерику! Я не допущу, чтобы мой отец умер, не повидав меня только потому, что некоторым типам страсть как хочется продемонстрировать свою власть.

Он пожал плечами.

— Придется переговорить о вас с разными людьми, затем должны будут встретиться руководители всех объединений. Когда весь материал будет собран и решение принято, оно будет передано директору студии.

Я ушла со студии до предела взвинченная, но полная надежд. Мне не оставалось ничего другого, кроме как ждать и молиться, чтобы они не тянули целый месяц.

## ИРИНА КЕРК

Перед отъездом из Москвы 4 декабря 1974 года Ирина Керк встретилась с московским корреспондентом «Нью-Йорк таймс» Кристофером Реном, а Михаил Агурский — с корреспондентом «Лос-Анджелес таймс» Робертом Тотом. В общих чертах они рассказали журналистам об истории Виктории. И тот и другой согласились не предавать ее гласности до получения соответствующего разрешения. Это был, с точки зрения Ирины, единственный путь, чтобы

защитить Викторию, если против нее будут предприняты какие-нибудь действия в ответ на попытку получить визу.

Встретившись после этого с Викторией, она рассказала ей о предпринятых мерах. И посоветовала войти в контакт с этими журналистами, как только ей покажется, что события принимают плохой оборот.

— Если мир узнает твою историю, это обеспечит тебе безопасность в России.

Зое она оставила почтовую открытку со своим коннектикутским адресом. На обратной стороне этой обычной туристской открытки с видом на Красную площадь Ирина написала: «Я в Москве и чудесно провожу время. Как жаль, что тебя нет со мной. Мэри». Она объяснила Зое:

— Не знаю, что может произойти тут с тобой или Викторией, но, если случится худшее, отправь эту открытку обычной почтой. Это ничем не примечательное туристское послание, оно обязательно дойдет. Получив открытку, я сделаю все возможное, чтобы о вас узнал весь мир.

Зоя обняла ее и поцеловала.

— Ты так добра к Виктории и ко мне.

Из Москвы Ирина вылетела в Лос-Анджелес, надеясь попытать счастья в этом киногороде. Она рассчитывала продать какой-нибудь кинокомпании историю Виктории и к тому же заинтересовать Голливуд самой Викторией. Поговорив по телефону с Джеком, она поделилась с ним своими планами, попутно спросив, не сохранилось ли у него знакомых среди голливудских знаменитостей. Джек смог назвать ей лишь одного человека, вдову голливудского продюсера, но ни вдова, ни тот продюсер, имя которого дал Бернстайн, ничем ей не помогли. В Голливуде давно никого не интересовали сюжеты на

тему о «холодной войне». Расстроенная и разочарованная, Ирина почти отчаялась, а тут еще прихватили сильные боли в области грудной клетки. Ее положили в больницу. Она написала Джеку, поделившись с ним своими неудачами и напомнив о телефонном звонке в Москву восемнадцатого января, в день рождения Виктории. «Напишите, в котором приблизительно часу вы намереваетесь звонить, я попрошу кого-нибудь из моих говорящих по-английски друзей быть в это время у них дома».

В письмо она вложила свой адрес на Гавайях, где собиралась отдохнуть.

Возвратившись в Коннектикут, она обнаружила в своей почте открытку из Москвы. В ней говорилось: «Я в Москве и чудесно провожу время. Как жаль, что тебя нет со мной. Мэри».

## ВИКТОРИЯ

Я прождала характеристики целый месяц. Тем временем я собирала бесконечные справки для предоставления в ОБИР — учреждение, которое выдает визы: сколько я зарабатываю, по какому адресу проживаю, кто проживает там вместе со мной и т.д. и т.п. О характеристике по-прежнему ничего не было слышно. Я позвонила руководителю своего объединения.

— Вы что, решили замучить меня? По закону мне обязаны выдать характеристику в течение месяца. Но от вас ни ответа ни привета.

Он ответил с полным равнодушием, как если бы я спросила его о погоде:

— Заболел один из тех, чье присутствие необходимо на совещании. Поэтому решение вашего во-

проса отложено на конец недели. Мы собирались позвонить вам. Приходите в пятницу.

И снова Михаил согласился сопровождать меня, еще раз предупредив, что я здорово рискую, появляясь вместе с ним. Я ответила, что горжусь таким другом. Он остался ждать в коридоре, а я вошла в кабинет, где шло заседание. Стулья стояли полукругом против одного стула, предназначавшегося, как я поняла, мне. Я оглядела ожидавших меня мужчин. Хотя лично я мало кого из них знала, лица их были мне знакомы. Я не раз встречала их в студийных коридорах.

В центре полукруга сидел человек, который показался мне очень знакомым. Это был Смирнов, секретарь партийной организации нашего объединения. Я знала его задолго до того, как он начал восхождение по партийной лестнице. Мы должны были сниматься с ним в одном и том же фильме. Но его даже не допустили к съемкам — при полном отсутствии таланта он был еще и завзятым алкоголиком. На первой же репетиции он свалился мертвецки пьяный. Насколько я знала, актерская карьера его на этом завершилась.

И вот теперь этот алкоголик, будучи секретарем партийной организации, обладал большой властью. Посмотрев на меня, потом на сидевших рядом с ним, он сказал:

— Мы собрались здесь, чтобы обсудить вопрос, разрешить или нет товарищу Федоровой выехать в Соединенные Штаты Америки.

Я улыбнулась, постаравшись изобразить на лице любезное выражение. Мне показалось, что Смирнов и сейчас пьян, у него даже слегка заплетался язык, но, может, я и ошиблась.

— После серьезного обсуждения и изучения фактов, — продолжал он, — мы пришли к выводу, что ей не нужно туда ехать.

Я почувствовала, как внутри у меня все напряглось:

— И почему же?

— Потому что мы считаем вас аморальной личностью!

— Аморальной? Аморальной? — Я не верила своим ушам.

— Вот именно, аморальной. Во-первых, вы дважды выходили замуж и оба раза разводились.

— Неужели *это* делает меня аморальной?

— Далее, вы не проявляете никакого интереса к жизни коммунистического общества. Вы ни разу не присутствовали на лекциях по марксизму-ленинизму, которые дважды в неделю читаются на студии.

У меня перед глазами вновь встала сценка, когда, напившись до потери сознания, он грохнулся на репетиции. И вот теперь он осмеливается выступать моим судьей!

— Послушайте, я актриса, я четыре года училась в институте, где лекций по марксизму-ленинизму было значительно больше, чем по актерскому мастерству. Мне хватало этого и без *ваших* лекций.

Он улыбнулся.

— Очень смелое заявление, товарищ Федорова, и очень неумное. Когда вы не ходили на наши лекции, вас предупредили, что когда-нибудь вы об этом пожалеете. И вот теперь этот час настал. Неужели вы надеетесь, что мы позволим необразованной женщине разъезжать по чужим странам? Какое впечатление вы произведете? Скажите, вы имеете хоть малейшее представление о том, *что* сейчас происходит в нашей стране?

— Имею. Черт знает что! — Я знала, что нельзя этого говорить, но какое значение это имело теперь, когда я понимала, что они уже решили дать мне плохую характеристику?

Смирнов снова улыбнулся.

— Это забавный, но не совсем верный ответ. Вы знаете, что именно в эти минуты проходит важнейший съезд коммунистической партии?

Я всем телом подалась вперед, пристально глядя на Смирнова.

— Неужели вы думаете, что, когда я приеду в маленький городок, где живет мой отец, он первым делом скажет: «Расскажи-ка, дорогая, как жизнь в России? Правда, что там идет съезд коммунистической партии?»

У Смирнова полезли вверх брови.

— У вас отличное чувство юмора, правда, с небольшим налетом сарказма. Но мы еще посмотрим, кто будет смеяться последним, а кто, возможно, будет и плакать. — Он заглянул в лежащую перед ним бумагу. — Я тут вижу, что вы еще и злоупотребляете алкоголем.

Тут уж я взорвалась.

— Это вы-то смеее говорить мне о злоупотреблении алкоголем? Уж если на то пошло, у меня хватило силы воли перестать пить. Но даже когда я пила, я никогда не позволяла себе пить во время съемок. У меня никогда не было никаких неприятностей, я никогда не опаздывала, я никогда ни на минуту не задерживала съемок. Я дисциплинированная актриса, и все это знают...

— К сожалению, — прервал он меня, — здесь сказано, что вы хорошая актриса.

Я подняла руку.

— Я еще не кончила. А знают ли собравшиеся здесь ваши высокопоставленные друзья о вашем пристрастии к алкоголю? Знают ли они, что, еще будучи актером, вы свалились замертво в этой самой студии на глазах у пятидесяти человек, напившись до потери сознания? Как вы смеее говорить о моих злоупотреблениях?

Он даже не покраснел.

— Мы собрались здесь не для того, чтобы обсуждать меня. Это вы обратились к нам за характеристикой, мы ее и обсуждаем.

— Верно, — согласилась я. — Я обратилась к вам за характеристикой — и это все, что мне от вас надо. Только характеристику, хорошую или плохую. И нечего обсуждать, что я ем, сколько сплю, когда иду в ванную и что знаю, а чего не знаю о ваших коммунистических съездах. Ведете со мной какую-то игру, и больше ничего. Игру!

Я встала и вышла из комнаты.

## Зоя

*14 декабря 1974 года.*

Дорогой Джексон,

Для меня и для Виктории было такой приятной неожиданностью получить твое письмо и фотографии. От переполнивших меня чувств мне было очень трудно собраться с мыслями и написать тебе письмо. Да, с той поры прошло немало лет и немало случилось всякого в моей жизни, но я счастлива, что все это уже далеко позади. Мы с Викой очень были рады получить от тебя то коротенькое письмецо<sup>1</sup>, — как было бы хорошо, если б ты смог прижать к груди свою дочь!

Вике — вся моя жизнь. Она очень похожа на тебя и, по-моему, унаследовала твой характер и темперамент. Мне до сих пор не верится, что мы нашли друг друга. Не теряю надежды, что вы с Викторией когда-нибудь тем или иным образом встретитесь.

Желаю тебе, дорогой мой Джексон, хорошего здоровья, потому что было бы здоровье — остальное приложится. В моей памяти ты остался сильным, энергичным человеком. Целую тебя.

*Твоя Зоя.*

Мне очень хотелось написать тебе по-английски, но я боюсь наделать кучу ошибок.

---

<sup>1</sup> Имеется в виду приглашение, посланное Джексоном Виктории



## ВИКТОРИЯ

Когда я рассказала мамуле о совещании на студии, она ужасно расстроилась.

— Как ты посмела, Вика? Как ты посмела! Ты же не несмышленный ребенок! Ведь знаешь, что произошло со мной, когда я показала, что не боюсь их!

— А ты думала, что я буду сидеть и слушать, как этот пьяница Смирнов называет меня аморальной личностью? — Я понимала, что мамуля абсолютно права, но ни за что не хотела с ней соглашаться.

— Никто и не говорит, что он прав, Вика, но чего тебе это может стоить? — Мамуля взяла меня за руку. — Я уже стара, Вика. Я не хочу снова попасть в тюрьму. На этот раз мне оттуда не выйти.

В тот же вечер она отправила Ирине открытку.

Наступил новый, 1975-й, год, а мне все еще не сообщили о результатах второго и, как я надеялась, последнего совещания по поводу моей характеристики. Восемнадцатого января я пригласила всех своих друзей на свой двадцать девятый день рождения. Наверно, им всем было очень весело, но только не мне. Я все время ждала телефонного звонка, о котором отец написал в поздравительной открытке по случаю дня моего рождения. Чем темнее становилось на улице, тем сильнее одолевали меня прежние страхи. Он умер. Он больше не думает обо мне. Он забыл меня.

В два часа ночи я поняла, что дальнейшее ожидание свыше моих сил. Я отвела в сторонку одного из своих друзей, который говорил по-английски, и попросила помочь мне с переводом. Потом заказала телефонный разговор. У папы сейчас только шесть вечера. Разговор дали на удивление скоро.

Я услышала голос:

— Кто говорит?

— Папочка, это Виктория.

Я передала трубку своему другу и попросила узнать, почему он не позвонил. Мой друг сказал что-то непонятное, потом стал слушать. А затем объяснил, что отец пытался мне дозвониться, но ему сказали, что линия занята.

Я схватила трубку. Не зря же я целый день повторяла эти слова.

— Я люблю тебя, папочка, — сказала я по-английски.

А он ответил по-русски:

— Я очень люблю тебя.

Я заплакала, а он добавил:

— Я очень сильно люблю тебя.

А потом он сказал что-то по-английски, и мне пришлось снова передать трубку моему другу. Мой друг улыбнулся.

— Он сказал: «Я помню, где и когда я эти же слова сказал твоей матери».

Я снова схватила телефонную трубку и повторила его слова:

— Я очень сильно люблю тебя. — И добавила: — До свиданья, папочка.

Этот день рождения неожиданно стал самым счастливым днем рождения в моей жизни.

Второе совещание по обсуждению моей характеристики происходило утром двадцать шестого января в Главной студии «Мосфильма».

За длинным столом сидело около двадцати пяти человек, во главе его расположился маленький сухонький человечек с седыми волосами и в таком заношенном черном костюме, что я еще в дверях увидела лоснящиеся на локтях рукава. Это был глава службы КГБ на студии, человек, который никогда не улыбался и решал судьбы творческих работников, не имея ни малейшего представления о сути их

труда. Я невольно сравнила его с американским консулом Джеймсом Хаффом, человеком на удивление улыбчивым и приветливым.

Я знала, что среди присутствующих есть и другие работники КГБ, но узнала в лицо лишь нескольких руководителей объединений. Ни один из сидевших за столом не знал меня лично, иногда кое-кто из них кивал при встрече в коридоре. И все же вот сейчас они будут вершить суд над моей репутацией. Или по крайней мере делать вид, что вершат его. И они и я понимали, что решающее слово только за одним человеком, и этот человек — представитель КГБ.

Повторилась та же процедура, что и на первом совещании, разве что больше никто не вспомнил о моем пристрастии к алкоголю. А началось все с вопроса:

— Почему вы хотите поехать в Америку?

— Повидаться с отцом. Он стар и серьезно болен.

Все принялись изучать бумаги, передавая их из рук в руки вдоль стола. Человек из КГБ сказал:

— У нас нет никаких свидетельств о болезни вашего отца. Если он действительно болен, вы должны представить медицинское заключение о состоянии его здоровья.

Я пообещала, что постараюсь получить доказательства папочкиной болезни. Потом разговор снова зашел о непосещении лекций по марксизму-ленинизму, который плавно перешел в обсуждение моих разводов.

— Да, были разводы. А что в этом плохого?

Черный Костюм покачал головой.

— По нашему разумению, разведенному человеку негоже уезжать из своей страны.

— Но почему? В разводе нет ничего постыдного.

— Постыдного, может, и нет, но желательно, чтобы у того, кто едет за границу, оставалась тут семья.

Я улыбнулась.

— Вы считаете, что я не вернусь? У меня здесь остается мать, и вы хорошо знаете, что я хочу пови-  
дать отца, а не убежать.

Во мне вновь закипала злость, и я мысленно попросила прощения у мамули, если снова сорвусь.

— У вас есть любовник, — сказал Черный Костюм. Это не был вопрос, а констатация факта.

— У меня был любовник, — поправила я его, — но с этим уже покончено. А когда он у меня был, мы открыто, ни перед кем не таясь, жили вместе.

Я произнесла эти слова, глядя в упор на сидящего рядом с Черным Костюмом мужчину. Он занимал на студии высокий пост, и все знали, что, хотя он женат, у него вот уже многие годы состояла в любовницах одна из студийных актрис. Он потупил глаза.

— Вы считаете, это более позорно, чем мотаться между женой и любовницей?

— Мы собрались здесь, — проговорил Черный Костюм, — исключительно для того, чтобы обсудить вас и вашу характеристику.

— Почему вы не обсуждаете меня как актрису? Ведь в этом вы хоть что-то понимаете. Обо мне как о женщине вы ничего не знаете и все же беретесь решать, хорошая я или плохая.

Черный Костюм кивнул.

— Что ж, как актриса вы вполне на уровне, но как женщина — не очень. Неужели вы полагаете, мы разрешим вам с такой репутацией представлять за рубежом Советский Союз?

Я встала, дрожа от негодования.

— А неужели вы думаете, у меня на уме есть

что-то другое, кроме желания повидать отца? Неужели вы думаете, его интересует, какую Россию я представляю? Он старый человек, а мне двадцать девять лет, и мы никогда в жизни не видели друг друга. Только об этом и о нашем отношении друг к другу мы будем с ним говорить.

Черный Костюм холодно усмехнулся:

— Как у вас все просто в жизни. Советские люди обязаны следовать определенным правилам поведения, и тех, кто их выполняет, ждет вознаграждение, а тех, кто не выполняет...

— Да какое вы имеете право говорить мне о ваших правилах поведения? — взорвалась я. — Вы думаете, я не знаю их и мне неизвестно, как ими манипулируют? Почему, как вы думаете, я никогда не видела отца? Из-за ваших правил! И моя мать вынесла чудовищные страдания из-за ваших правил, пока новый режим не придумал новые! всю свою жизнь я прожила с клеймом незаконнорожденной, и кто несет за это вину? Вы, каждый из вас!

Все мужчины за столом застыли в замешательстве от моей вспышки. Только Черный Костюм, казалось, сохранил прежнюю невозмутимость. На верхнем кармашке его пиджака висела одна-единственная медалька, та, которую давали всем, кто остался в Москве, когда к ней подходили немцы. Она так мало ценилась, что никто ее не носил. Но этот плюгавенький коротышка нацепил ее, выставив напоказ, словно высочайшую из наград, присужденную лишь ему одному. И этот человек пытался помешать мне увидеться с настоящим героем, моим отцом, американским адмиралом!

Черный Костюм поднялся из-за стола:

— Я думаю, что выражу общее мнение всех здесь присутствующих, если скажу, что мы пришли к следующим выводам: политически вы абсолютно негра-

мотны; вы не сочувствуете борьбе за дело коммунизма; к тому же вы ведете аморальный образ жизни. Вот такую характеристику мы отправим в ОВИР. А с такой характеристикой вам никогда не увидеть ни отца, ни Америки. Вам не увидеть даже Киева.

Я процедила сквозь стиснутые зубы:

— Ваше дело послать бумагу.

— Не видать вам отца как собственных ушей! —

Он повернулся и вышел из комнаты. За ним поспешили и все остальные.

Еще посмотрим, подумала я про себя и расплакалась.

Из комнаты, где проходило совещание, я направилась в фотостудию и попросила фотографа снять меня на загранпаспорт. Он посоветовал мне зайти попозже, когда буду лучше выглядеть.

— Плевать мне, как я выгляжу. Снимайте. Мне нужны фотографии.

К тому времени, как я уходила со студии, я знала, что случившееся на совещании уже известно всей студии. Сплетни распространяются на студии с быстротой молнии. Те из моих коллег, которые в другое время всегда останавливались со мной поболтать или просто улыбались, проходя мимо, теперь, завидев меня, отворачивались.

А дома меня ждала мамуля. Едва бросив на меня взгляд, она поняла, что результаты совещания плачевны. Я все ей рассказала. Она прижала руку к сердцу.

— Не миновать нам тюрьмы, — охнула она.

— Мамуля, мы и так в тюрьме.

Она отвернулась.

— Пойду приготовлю чай.

Я пошла следом, рассказывая, что собираюсь предпринять. Она кивнула, но не повернулась ко мне. Я положила руки ей на плечи.

— Мамуля, ты помнишь, как боролась за себя после ареста? Помнишь, как они превратили твою жизнь в ад, требуя назвать шпионскую кличку? Помнишь, как однажды ты наконец призналась, что тебя зовут Чан Кайши?

Она повернулась ко мне, и на ее лице появилась слабая улыбка.

— Конечно, помню.

Я обняла ее, прижавшись щекой к ее щеке.

— А теперь пришло время и мне защищать свою жизнь, честь и достоинство. Ты должна понять меня.

Я почувствовала, как ее мышцы напряглись у меня под рукой. Поцеловав меня, она сказала:

— Тогда действуй.

Я взяла клочок бумаги с именами и номерами телефона, который оставила нам Ирина Керк, и позвонила. Мне ответили на чистейшем русском.

— Это Крис Рен из «Нью-Йорк таймс»?

— Да.

— Говорила ли вам когда-нибудь Ирина Керк о Виктории Федоровой?

— Вы хотите побеседовать со мной?

— Да, — сказала я, снова заглянув в бумажку. — С вами и с Робертом Тотом из «Лос-Анджелес таймс». Вы можете сейчас приехать к нам?

## ИРИНА КЕРК

Прочитав после возвращения с Гавайев открытку от «Мэри», Ирина Керк позвонила Джеку Тэйту и сказала, что получила сигнал из Москвы: пришло время поведать эту историю всему миру.

Уже многие годы она мечтала обо всем написать, ее удерживал лишь страх за судьбу Зои и Виктории. Писательский инстинкт подсказывал, что эмо-

циональный накал случившегося наверняка сулит книге судьбу бестселлера.

Но не прошло и трех дней после возвращения, как ей на глаза попалась «Нью-Йорк таймс» от 27 января 1975 года, а в ней большая, на четыре колонки, статья под названием: «Советское дитя войны мечтает встретиться с американским отцом».

Она читала отчет о проведенной Викторией пресс-конференции, и ей казалось, что у нее вот-вот остановится сердце. В самой истории для нее не было ничего нового — как-никак вот уже шестнадцать лет она — часть ее жизни, но в отчете была информация, весьма для нее интересная. «В интервью, данном двум американским корреспондентам...» Прекрасно, не пройдет и нескольких часов, как об этом узнает вся страна. Для Зои и Виктории это надежная гарантия безопасности.

В следующем абзаце она нашла то, что больше всего хотела узнать: почему Зоя отправила открытку от «Мэри» и почему Виктория устроила пресс-конференцию.

Двадцатидевятилетняя дочь, находящаяся ныне в разводе, заявила, что в ее решении обратиться за выездной визой нет никаких политических мотивов и что она твердо намерена вернуться в Москву к матери. Она до сих пор не получила ответа от властей, но уже почувствовала, что ее обращение за визой в значительной степени ухудшило отношение к ней ее коллег.

Она заявила также, что незамедлительно вслед за этим из помещения Совфильмэкспорт в центре города был убран ее фотопортрет, а представитель службы безопасности на «Мосфильме» заявил ей, что не одобряет ее намерения поехать в Америку.

Два абзаца были посвящены роли Ирины в этом деле. Ирина сама не знала, как отнестись к этому.



Она понимала, что не упомянуть о ней было просто невозможно, но уже один факт участия может напроць исключить для нее возможность дальнейших поездок в Советский Союз, а это было крайне огорчительно. Ведь в России не только Зоя и Виктория нуждались в ее помощи. Что теперь будет с теми, другими? Она решила подойти к этой проблеме философски. Через несколько месяцев выйдет в свет ее книга «Люди русского Сопротивления» с интервью, взятыми ею у русских диссидентов, и двери Советского Союза все равно окажутся для нее закрытыми.

Выйдя из университета, Ирина села в машину и поехала домой. Теперь, когда корабли были Викторией сожжены, Ирине предстояло многое сделать. Если бы только она себя чуть лучше чувствовала! Отдых на Гавайях был слишком коротким, чтобы полностью оправиться от пережитого в Лос-Анджелесе. Что ж, придется соблюдать осторожность и не перенапрягаться.

С самого начала было очевидно, что русские будут всеми силами препятствовать встрече Виктории с отцом. Вопрос заключался только в том, насколько жестко они себя поведут. Ирина улыбнулась. Что ж, Виктория, во всяком случае, не пойдет по стопам Зои и не исчезнет безропотно. Ирина знала, как бороться с русскими при помощи гласности. Она сделает все, чтобы Виктория оставалась на первых полосах газет, пока им не останется ничего другого, как выпустить ее. А Джек Тэйт поможет ей в этом. Ирина Керк посоветует ему, как это сделать.

Подъехав к дому, она услышала телефонный звонок. Отлично, подумала Ирина, уже пошли звонки. Что ж, буду говорить со всем миром.

Позже, когда Ирине удалось раздобыть экземпляр «Лос-Анджелес таймс», она вволю посмеялась,

прочитав там большую статью о Джеке Тэйте. Статья Роберта Кистлера, озаглавленная «Все это правда. Адмирал рассказывает историю тридцатилетней давности», начиналась со слов, столь характерных для человека, которого она знала только по письмам и телефонным разговорам. «Не понимаю, какой интерес представляет для мира история тридцатилетней давности», — сказал Джексон Роджерс Тэйт о своем любовном приключении в Москве в 1944 году (sic) с Зоей Федоровой». Непонятно это было одному лишь Джеку, всегда стремившемуся как можно глубже запрятать свои чувства.

Чтобы хоть немного передохнуть, Ирина сняла телефонную трубку с аппарата. Но едва снова положила ее на рычаг, телефон зазвонил с прежней настойчивостью. Не было лишь того единственного звонка, которого она так ждала, — звонка от Джека Тэйта. Зная его, она была убеждена, что он и тут останется верен себе: надо сидеть и ждать, пока вопрос о визе не решится сам собой. Он не представляет себе всей серьезности положения Виктории, раз уж дело дошло до того, что из помещения киностудии убрали ее портрет.

Она позвонила в Москву Виктории. Виктория с Зоей понятия не имели о том резонансе, который вызвала их история за пределами Советского Союза. Виктория к тому же попросила прислать медицинскую справку о состоянии здоровья Джека. Ирина пообещала связаться с ним.

Наконец позвонил и он, и первые же его слова привели Ирину в ярость. Вместо ожидаемых слов благодарности она услышала:

— Вот мы и добились!

Следующая его фраза и вовсе ее добила.

— И пусть вас не тревожит больше вопрос об авторских правах на фильм. Я передал их своему старому приятелю Джеку Камингсу.

Ирина снова ощутила во всем теле ту напряженность, из-за которой недавно угодила в больницу.

— Кто такой Джек Каммингс? Когда я спросила у вас, знаете ли вы кого-нибудь в Голливуде, вы назвали мне только имя той женщины, которая тотчас же отфутболила меня.

— О, — объяснил Джек, — Каммингс отошел от дел, но я попросил его временно вернуться к работе, чтобы поставить этот фильм.

30 января 1975 года Ирина прочитала сообщение агентства ЮПИ, озаглавленное: «Кинобизнес Соединенных Штатов намерен преодолеть сопротивление Советов». «Продюсер Джек Каммингс, — говорилось в сообщении, — заявил вчера, что вошел в контакт с рядом киностудий по поводу постановки фильма об отставном адмирале Джексоне Тэйте и его трогательном романе с Зоей Федоровой, которая провела восемь лет в тюрьме за политическую неблагонадежность».

Не прошло и трех дней после того, как мир узнал о невероятной истории, тайну которой Ирина так бережно хранила в течение шестнадцати лет, а она уже попала в руки людей, которые и слыхом не слыхивали до того о Виктории и Зое и даже никогда не были в России. Теперь, когда следовало бы вплотную заняться обеспечением благополучного отъезда Виктории из России, ей предоставили роль статиста, в задачу которого входила лишь отправка писем Джеку Тэйту с советами о том, как помочь Виктории. («Я советую Вам купить дюжину разных открыток и написать на каждой по паре фраз. Например, таких: «Помню о тебе» или «Это Флорида, я надеюсь, что смогу сам показать ее тебе», и на случай Вашей болезни оставить эти открытки у миссис Тэйт или Хью, чтобы они отправляли по одной в неделю».) Она продолжала звонить Виктории, что-

бы хоть как-то приободрить ее, и болтала с ней по телефону а, Третий телевизионный канал Хартфорда, штат Коннектикут, записывал их разговоры.

А тем временем в Москве в жизни Викторнии Федоровой появился новый персонаж, которому предстояло полностью отодвинуть в тень Ирину Керк, женщину, стоявшую у истоков всей этой истории.

## ГЕНРИ ГРИС

В январе 1975 года Генри Грис и Уильям Дик приехали в Москву с заданием написать статью о работах русских в области парапсихологии. Они представляли газету «Нэшнл инквайрер»<sup>1</sup>. Грис был разъездным корреспондентом, Дик — редактором. Из них двоих только Грис, родом из Латвии, говорил по-русски, и говорил весьма бегло.

Высокий, стройный, седоволосый, Генри Грис оказался как нельзя более нужным человеком в нужном месте в тот момент, когда отчеты о Федоровых появились на первых полосах газет. Не то чтобы он хоть что-то знал о них. В Москве о пресс-конференции Викторнии не было опубликовано ни строчки. А когда он узнал о ней из телефонного звонка своего шефа в Лэнтэне, штат Флорида, большого интереса она у него не вызвала. Их с Биллом куда более обрадовало согласие встретиться с ними одного из круп-

---

<sup>1</sup> «Нэшнл инквайрер» — бульварная еженедельная газета, издается в городке Лэнтэн, неподалеку от Палм-Бич в штате Флорида. Владелец — Дженеросо Поуп-младший. Основанная в 1926 году, газета получила вторую жизнь в 1952 году, когда ее приобрел Поуп, заполнивший страницы скандальными подробностями из жизни знаменитостей и материалами под шокирующими заголовками («Мать сварила своего ребенка и съела его»). С 1966 года Поуп стал усиленно заниматься изменением имиджа газеты, и она приобрела настолько респектабельный вид, что стала продаваться по всей стране. По последним данным, ее еженедельный тираж — четыре миллиона экземпляров

нейших русских парапсихологов. Но главного редактора во Флориде интересовало другое. История с Федоровой оказалась сенсацией. Непременно нужно получить исключительное право на публикацию материала о ее воссоединении с отцом, требовал шеф.

Он вкратце посвятил Генри в суть дела.

На просьбу сообщить ему адрес Федоровых он услышал: «Мы не знаем, справьтесь в телефонной книге».

Генри объяснил, что таковых в Москве не существует. Шеф ответил:

— Послушай, обе они актрисы, причем мать очень известная. Узнаете без труда сами.

Генри повесил трубку. Ему предлагалось без труда разыскать двух женщин в городе с девятимиллионным населением. Повернувшись к Дику, он сообщил ему приятную новость.

— Идея такова: мы помогаем девушке любым доступным нам путем добраться до Соединенных Штатов, получив за это право на эксклюзивный материал.

Они проживали в старом здании гостиницы «Националь» на улице Горького. Решив выпить и поужинать, они спустились в ресторан. Знакомый метрдотель с улыбкой проводил их к-столу, за которым уже сидели двое. Один был пожилой коренастый русский, другой, худощавый, судя по всему, был иностранцем.

Генри с Биллом тотчас принялись обсуждать, как им найти Викторию и Зою. Генри, у которого за плечами был тридцатилетний опыт работы в агентстве Юнайтед Пресс, легко находил общий язык с кем угодно и никогда не тушевался, если дело касалось сбора необходимых ему данных. Повернувшись к двум незнакомцам, он легко завел с ними разговор. Быстро выяснив, что тощий иностранец приехал из

Восточного Берлина, он сосредоточил все внимание на русском крепыше и попал в точку. Русский оказался концертмейстером из Большого театра и знал всю артистическую Москву. Генри вежливо выслушал его сетования по поводу былой славы Большого и нынешней жалкой участи многих его бывших артистов. Наконец Генри удалось спросить не знает ли он случайно актрису по имени Зоя Федорова. Глаза концертмейстера загорелись.

— Конечно, знаю. Очаровательная женщина и моя большая приятельница.

— А ее дочь Викторию?

— Вику? Еще бы. Самые длинные ноги в Москве. Но почему вы спрашиваете?

— Мы с другом разыскиваем их, хотим написать о них в нашу газету.

Русский полез в боковой карман и достал кожаную записную книжку.

— Как хорошо, что мы случайно встретились. Хотите номер их телефона?

Сразу после ужина они поднялись к Генри, и он набрал только что полученный номер. Трубку взяла Зоя. Когда Генри объяснил цель своего звонка, Зоя спросила:

— А какую газету вы представляете?

— «Нэшнл инквайрер», но не думаю, что вы ее знаете. Она издается во Флориде.

На другом конце провода кто-то взволнованно ахнул:

— Флорида? Тогда вы должны знать адмирала.

Генри объяснил, что Флорида занимает довольно обширную территорию, но уже одно то, что газета выходит там же, где живет Джексон Тэйт, весьма многообещающее начало. Зоя пригласила их обоих встретиться с ней и дочерью вечером следующего дня.

Их встреча была непродолжительной. Генри с Диком опоздали на два часа — русский парапсихолог оказался на редкость интересным собеседником. Чтобы не опоздать на самолет в Ригу, где им предстояло продолжить сбор материала к статье о парапсихологии, им пришлось ограничиться лишь краткой беседой.

Но, уходя, Генри почувствовал, что взаимоотношения с обеими женщинами установлены. Он пообещал им позвонить из Ленинграда, куда они поедут после Риги, а по возвращении снова встретиться в Москве. Генри заверил Викторию, что он и его газета готовы сделать все возможное, чтобы помочь ей встретиться с отцом.

Десятого февраля Генри позвонил из Ленинграда и сообщил, что на следующий день они с Биллом Диком возвращаются в Москву. Зоя пригласила их на обед.

Виктория приготовила свое излюбленное блюдо — сибирские пельмени — крошечные мясные пирожки, сваренные в бульоне. На столе стояло вино, которое принес Генри, но Виктория к нему не прикоснулась.

Снова возник вопрос о помощи, которую окажет Виктории «Нэшнл инквайер».

— И конечно же, — сказал Генри, — мы заплатим вам за эксклюзивный материал.

— Что такое «эксклюзивный»? — спросила Зоя.

Генри объяснил, но обе женщины только неуверенно переглянулись. Наконец Виктория сказала:

— Наверное, вам лучше переговорить с моим отцом. Как он решит, так мы и поступим.

Генри включил магнитофон и записал по нескольку слов, сказанных женщинами адмиралу, объяснив при этом: прослушав запись, адмирал удостоверяется, что Генри действительно знаком с ними.

Он даже сфотографировал мать с дочерью в их квартире.

Возвратившись во Флориду, Генри позвонил Джеку Тэйту:

— Мы с моим коллегой Уильямом Диком только что прилетели из Москвы и хотели бы лично засвидетельствовать вам свое почтение, адмирал.

Генри не совсем понял, почему ответом ему было какое-то странное ворчание, но звучало оно отнюдь не дружественно. Сделав вид, что не расслышал, Генри пустился в дальнейшие объяснения.

— Мы привезли фотографии вашей дочери и ее матери, а также записанные на пленку их слова, адресованные вам. Захватить их?

Джек согласился принять их.

Когда они приехали в «Континент-клуб», вытянувшийся в длину пятидесятидвухквартирный комплекс, построенный в Оранж-парке на берегу реки Сент-Джонс явно в подражание знаменитому Кот-д'Азур на Ривьере, Джексон Тэйт ожидал их в маленьком внутреннем дворике, примыкавшем к его квартире на первом этаже, где в изобилии росли кактусы и другие растения. Он провел их в свой кабинет и сел за письменный стол. Генри сразу понял, что Джексон Тэйт не из тех, кто легко поддается европейскому шарму и манерам в сочетании с легким иностранным акцентом, что так явно импонировало, по его мнению, Зое и Виктории.

Он поставил Джеку пленку и перевел запись. Виктория сказала: «Я очень люблю тебя, папа, и жду нашей встречи!», а Зоя: «Я очень люблю тебя, Джексон, и надеюсь, что все у тебя хорошо и ты здоров».

Прослушав пленку и посмотрев фотографии, Джек не произнес ни слова. Генри понял, что адмирал вовсе не остался равнодушным, но выжидает, что за этим последует.



— Ну и что вам от меня надо? Если интервью, то все, которые я хотел дать, я уже дал. А история эта уже стала всеобщим достоянием.

Он был скорее раздражен, чем настроен враждебно. Перед ними сидел старый человек, нервы которого были на пределе.

— Нам кажется, мы можем помочь вам, адмирал, — сказал Генри.

— Помочь? — переспросил Джек. — Я слыхом не слыхал о вашей газете, и мне не нужна никакая помощь. Вики до сих пор даже не получила визы, и, если вы знаете русских так, как знаю их я, может и вовсе никогда ее не получить.

Генри согласно кивнул.

— Верно, сэ,р, но если она ее все же получит и придет в Штаты, то как вы собираетесь совладать с толпой газетчиков, которая нагрянет сюда?

Джек впервые за все время улыбнулся:

— Знаете, джентльмены, адмиральское звание не получишь, отсиживаясь где-нибудь в уголке. Я возьму командование полностью в свои руки. Я все сделаю, чтобы весь свет узнал об этом событии. Я дам знать прессе, радио, телевидению и черт знает кому там еще, когда они могут приехать сюда, чтобы посмотреть на Вики, поговорить с ней и сделать их окайненные фотографии. Но после этого я выдвоярю отсюда все эту чертову братию, и мы с Вики сможем как следует познакомиться в тишине и покое.

Чем дальше Генри слушал его, тем больше убеждался в том, что старик и впрямь собирается провести всю операцию так, словно она происходит в годы Второй мировой войны и он, как и прежде, стоит на капитанском мостике авианосца. Он не представлял себе, как принял мир случившееся с ним, Зоей и Викторией. Джека и Зою вознесли до уровня романтических героев, таких, как Ромео и Джульетта. Одна

газета сравнила их даже с Пинкертоном и Баттерфляй, назвав Викторию многострадальной девственницей Евангелиной. Если Джеку и удастся, как он рассчитывает, справиться с прессой, то Викторию уж точно разорвут на части, не говоря о том, что непременно доведут до нервного срыва. А самому Джеку уготовят роль жалкого шута, дающего дурацкие ответы на дурацкие вопросы.

Но говорить об этом время еще не пришло.

— Понимаю, — сказал Генри. — Нам бы хотелось иметь исключительное право на освещение вашей встречи с дочерью, за что мы, разумеется, заплатим. При этом мы гарантируем, что никто не помешает вам, не потревожит при первой вашей встрече...

— «Не помешает», «не потревожит», какая чушь! — перебил Джек. — Это невозможно.

Генри улыбнулся:

— Наметьте свой план, и мы поступим в полном соответствии с ним.

Джек поднялся из-за стола:

— Полагаю, на этом мы и завершим нашу встречу.

Генри оглядел стены кабинета и обратил внимание на фотографию, где еще молодой Джек сидел рядом с человеком, в котором он узнал Джека Каммингса.

Указав на фотографию, Генри заметил:

— Как странно, адмирал, что мне надо было приехать в Оранж-парк, чтобы увидеть у вас на стене фотографию моего друга. Откуда вы знаете Джека Каммингса?

— Вы знакомы с ним? — подозрительно спросил Джек. — Мы с ним старые друзья, еще с тех давних времен, когда я выполнял для студии «Метро-Голдвин-Майер» фигуры высшего пилотажа.

— Конечно, знаком. Я даже с удовольствием позвонил бы ему от вас.

Джек пожал плечами, все еще не скрывая подозрительности.

— Что ж, звоните, если оплатите разговор.

Достав записную книжку и телефонную кредитную карточку, Генри заказал разговор.

— Джек? Говорит Генри Грис, и ты ни за что не догадаешься, откуда я звоню.

Разговаривая с Джексом Каммингсом, Генри краешком глаза наблюдал за Джеком Тэйтом. Выражение лица Тэйта мало-помалу смягчалось, подозрительности как не бывало.

Генри закончил разговор с Каммингсом словами:

— Ну так вот, я встретился с Викторией, у меня даже есть несколько ее фотографий. Когда вернусь в Лос-Анджелес, обязательно позвоню и мы поговорим, хорошо?

Генри Грис и Уильям Дик попрощались с Джеком Тэйтом, поблагодарив за то, что у него нашлось для них время. Ни к какому согласию они так и не пришли.

Вернувшись в редакцию газеты, Генри сообщил, что планы Тэйта равносильны самоубийству. У адмирала нет ни малейшего представления о том, что ждет его самого и Викторию, но вместе с тем он не желает слушать ничьих советов.

— Я выполнил свой долг, — закончил Генри. — Могу я теперь вернуться к статье о парапсихологии?

На что получил решительный отказ. Вместо этого ему предложили встретиться с Джеком Каммингсом и посмотреть, нельзя ли все-таки что-то предпринять.

Генри прилетел в Калифорнию и, пообедав с Джеком Каммингсом в ресторане «Поло лондж» оте-

ля «Биверли-Хиллз», убедился, что перед ним именно тот человек, под влиянием которого Джек Тэйт может изменить свои решения. Ибо Джек Каммингс и Джек Тэйт были очень близкими друзьями и именно Джек Каммингс посоветовал Тэйту вызволить Викторию из России.

Генри обрисовал Каммингсу сложившуюся ситуацию и высказал свою личную озабоченность в отношении Тэйта.

— Попробуй прочистить ему мозги. Выглядит он ужасно, а от Виктории я знаю, что он медленно угасает, и теперь, повидав его, я с ней согласен. Зачем ему убивать себя ради этой грандиозной пресс-конференции? Она абсолютно бессмысленна, и проку от нее не будет никакого. Мне думается, только тебе под силу его переубедить.

Джек Каммингс обещал позвонить адмиралу, но только при условии, что «Нэшнл инквайер» возьмет на себя все расходы по приезду Виктории.

— Мне кажется, тебе лучше повидаться с ним, — сказал Генри. — И убежден, если тебе удастся замолвить словечко за «Нэшнл инквайер», газета оплатит все расходы.

## ДЖЕК ТЭЙТ

Джек не мог не признать, что поведение Генри Гриса ему понравилось. Прилететь во Флориду только для того, чтобы повидаться с ним, — в этом что-то было.

То, что Джек услышал от своего друга, звучало вполне разумно. Генри Грис лично отправится в Россию, выедет оттуда вместе с Викторией и будет сопровождать ее до самой Флориды. Поскольку Виктория никогда не выезжала за пределы Советского

Союза, откуда ей знать, как вести себя на Западе и, что особенно важно, как держаться с толпой репортеров, которая ринется за ней по пятам?

Кроме того, «Нэшнл инквайер» гарантирует Джеку и Виктории возможность провести вместе время в полном уединении и в роскошной обстановке.

Когда договоренность была окончательно достигнута, стороны пришли к соглашению, что «Нэшнл инквайер» по прибытии Виктории в Соединенные Штаты откроет кредит на ее имя на сумму в десять тысяч долларов — таково было неременное условие Джека Тэйта, который не хотел иметь никакого отношения к этим деньгам. Более того, они обязались оплачивать все расходы — проживание, перелеты, питание, покупку одежды и т.д. в течение трех недель, когда газете «Нэшнл инквайер» будет предоставлено исключительное право на публикацию материалов о воссоединении отца с дочерью. (Можно только гадать, но, скорее всего, исключительное право публикации в течение трех недель обошлось газете не меньше чем в сто тысяч долларов.)

После окончательной утряски деталей между Джеком Тэйтом и юристами «Нэшнл инквайер» Генри Грис заказал разговор с Москвой и, когда к телефону подошла Зоя, передал трубку Джеку. По воспоминаниям Генри, на него этот разговор произвел тяжелое впечатление. Джек пытался вспомнить те немногие русские слова, которые знал, а Зоя пыталась говорить по-английски. Кончилось тем, что трубку взял Генри и объяснил Зое и Виктории условия соглашения, достигнутого с «Нэшнл инквайер». Они поняли, что со дня приезда Генри в Москву они в течение трех недель не должны давать ни одного интервью и что по приезде в Америку Виктория проведет три недели с отцом в уединенном месте, которое предоставит им «Инквайер».

Подписав наконец условия соглашения, Джек поглядел на Генри и усмехнулся.

— Если ей удастся выбраться, все это обойдется вам в кругленькую сумму.

Генри понимал, что, если Виктория не получит визы, соглашение останется пустым звуком и ничего не будет стоить газете.

— Что вы понимаете под словом «если»?<sup>1</sup>

— Никому не под силу вызволить ее оттуда, — покачал головой Джек.

— Держу пари, я это сделаю.

— На сколько? — спросил Джек.

— На десять баксов.

— Согласен, — сказал Джек, протягивая руку.

Они обменялись рукопожатием.

— А кроме того, если ваша газета надеется сохранить в течение трех недель в тайне от всех других газет мира историю, подобную этой, вы просто сумасшедшие.

— Поживем — увидим! — ответил Генри.

---

<sup>1</sup> Когда Генри Грис твердо заявил Джеку Тэйту, что вытащит Викторию из Советского Союза, Тэйту тотчас пришла в голову мысль, что Генри не кто иной, как агент КГБ. Кто другой мог бы взять на себя столь решительное обязательство? Эта мысль мало-помалу переросла в его сознании в твердую уверенность.

Генри Грис, вспоминая о своих словах, объяснял, что исходил не из своих возможностей, а из факта полного непонимания Джеком реального положения вещей. Учитывая, что мировая пресса продолжала активно публиковать историю любви американского моряка и русской актрисы в военные годы и о прекрасной дочери, которая мечтает встретиться с умирающим отцом, советское правительство будет вынуждено под давлением мирового общественного мнения рано или поздно выпустить Викторию.

Джек Тэйт в какой-то момент признался Генри Грису, что поверил было в его принадлежность к КГБ. В одну из их последних встреч Генри Грис преподнес Джеку Тэйту письменный прибор — нож для вскрытия конвертов и ножницы в черном кожаном футляре. По всей длине футляра были вытеснены серебряные буквы: «От КГБ с любовью».

## ИРИНА КЕРК

Вот некоторые выдержки из двух писем, отправленных Ириной Керк Джеку Тэйту.

*31 января, суббота*

Я обдумала Ваше любезное приглашение приехать в Оранж-парк вместе с Викторией. На мой взгляд, было бы неплохо провести с ней по приезду неделю-другую. Ей наверняка захочется рассказать Вам о многом, что будет носить слишком интимный характер, и она не сможет поделиться этим с Вами, прибегнув к помощи незнакомого ей переводчика. К тому же по характеру она весьма скрытна. И еще. Поскольку ваша встреча обязательно будет эмоционально напряженной и утомительной, ей наверняка захочется вечером отвести с кем-нибудь душу. Ей будет непривычно оставаться одной в «Кантри-клуб»<sup>1</sup>, они очень близки с матерью, и, возвращаясь вечером домой, Виктория всегда делится с ней самым сокровенным. Поэтому, мне кажется, будет лучше, если первое время я буду с ней рядом. Окажите любезность, сообщите мне стоимость пребывания в «Кантри-клуб». Весь 1974 год у меня не было лекций (а это значит, что я получала лишь половинную зарплату), а потому мне придется специально для этого занять денег.

На случай, если репортеры спросят Вас, где именно Зоя провела восемь лет, это была Владимирская тюрьма. Самая страшная тюрьма в мире. Посоветуйте им заглянуть в книгу Марченко «Мои показания».

*10 февраля 1975*

Конечно же, никто не собирается превращать всю эту историю в источник дохода, но в то же время непонятно, почему нужно наживаться на Викторией? «Нэшнл инквайер», представители которой недавно посетили Вас, отправила своих корреспондентов в Москву с заданием заключить сделку с Викой. Они предложили ей оплатить авиабилет, номер в гостинице, поездки по Флориде и т.д. в обмен на эксклюзивное

---

<sup>1</sup> «Континентал-клуб» и вилла, где жил Джек Тэйт.

интервью. Она ответила, что сначала посоветуется со мной. И так и сделала. Когда мы разговаривали с ней по телефону, я посоветовала ей до приезда сюда не заключать ни с кем никаких соглашений. Это лишь усложнит ей получение визы, к тому же она даже толком не знает, с кем ведет переговоры. Они вчера заявили ко мне (предварительно даже не позвонив), поскольку Виктория сказала им, что решение за мной. Она знакома со мной вот уже пятнадцать лет и доверяет мне, ибо прекрасно знает, что я давным-давно могла бы нажить капитал на этой истории, но не сделала этого, дав слово ее матери. Я поговорила с пришедшим ко мне человеком, объяснив ему, что Виктория купит себе билет сама. Ее отец оплатит все ее расходы, а уж предложений совершить поездку по Флориде будет хоть отбавляй и без них, так что ничего заманчивого в их предложении я не вижу. Он спросил, что могу предложить я. Я ответила, что только в том случае, если она сама решит дать им интервью, и только после ее приезда сюда им следует вернуться к вопросу о вознаграждении.

## ВИКТОРИЯ

После пресс-конференции с двумя американскими журналистами телефон трезвонил не умолкая. Как правило, звонили корреспонденты иностранных газет, интересующиеся ходом событий. На все их вопросы я могла ответить лишь одно: жду разрешения на встречу с отцом. Я знала, что характеристика у меня плохая, но все же не теряла надежды.

Разговаривая со мной, мамаля неизменно сохраняла бодрое настроение, но я-то знала, как сильно она обеспокоена. Я сказала ей, что нет никакой причины для волнений, на что она ответила:

— Владимирки ты не видала!

В феврале я получила через Ирину медицинское свидетельство о состоянии здоровья отца и очень



обрадовалась, что не умею читать по-английски. Я отнесла его в ОВИР, где мне сказали, что оно им совершенно ни к чему.

— Тогда зачем же его потребовали? — спросила я.

Мужчина пожал плечами.

— Не знаю. Если хотите, мы его приобщим к вашему делу, но в этом нет никакой необходимости.

— Приобщайте, — сказала я и вышла.

Дни походили один на другой и тянулись мучительно медленно. Я не виделась почти ни с кем из друзей, потому что сидела дома в ожидании телефонного звонка. Может, оно и к лучшему — не хотелось знать, сколько моих друзей поняли вдруг, что дружба со мной не так уж и безопасна.

Конечно же, позвонил Коля, не в силах побороть желание помучить меня.

— Проверяю, дома ли ты. Кто знает, долго ли ты еще сможешь отвечать на звонки, наделав столько глупостей.

— Я вешаю трубку!

— погоди! — закричал он и продолжал уже более мягким тоном: — послушай, Вика, ты мне так нужна! И я тебе нужен. вспомни, сколько у нас было хорошего.

— Я помню, сколько было плохого, — сказала я и шмякнула трубку.

Кроме мамы, единственным человеком, с которым я часто встречалась, был Борис, или, как я звала его, Боря, — танцовщик из Большого театра. Милый человек, питавший ко мне самые нежные чувства, он, к сожалению, появился в моей жизни в самое неподходящее время. Он признался мне в любви, был очень добр, но я не могла ответить ему взаимностью. Все мои мысли были заняты отцом, и

я хотела лишь одного: чтобы он дожид до нашей встречи.

Медленно текущие февральские дни скрашивали только звонки Ирины. К тому же они были хорошим знаком — раз она дозванивалась до меня, значит, ее звонки пропускали.

От Ирины я узнала, что весь мир читает обо мне и моем желании встретиться с отцом. Москва хранила молчание. Ирина посоветовала мне держаться подальше от газетчиков, которые хотят заключить со мной сделку об эксклюзивном интервью, но я ответила, что этот человек, Генри Грис, уже несколько раз звонил и сказал, что отец подписал соглашение с газетой. Как бы ни любила я Ирочку и ни доверяла ей, я понимала, что мне следует поступать в соответствии с желаниями отца.

В телефонных разговорах Ирина то и дело упоминала имена то Кеннеди, то Форда, то сенатора, то конгрессмена — имена людей, которых я и знать не знала. Я каждый раз отделялась невразумительными возгласами «О-о!» или «В самом деле?», делая вид, что все замечательно и я их всех прекрасно знаю. Я понимала, зачем она кидается именами знаменитых людей — конечно, для КГБ, который, по ее твердому убеждению, прослушивал все наши разговоры.

От нее я узнала также, что пишут газеты за пределами моей страны. В одной газете появилось сообщение, что я уезжаю в Сибирь сниматься в новом фильме. Я сказала ей, что это ложь. Я договорилась с директором студии, он пообещал не занимать меня в новом фильме, пока не решится вопрос о моем выезде к отцу.

Ирина поинтересовалась, знаю ли я Джона Линда, с которым до его высылки из России, по мнению газет, у меня были отношения наподобие тех, что связывали моих родителей. Я рассказала Ирине, что

с англичанином Джоном Линдом мы действительно дружили, когда вместе учились в институте. Если Джон Линд и был влюблен в меня, то для меня это осталось тайной.

Многие годы я не видела Джона Линда и ничего о нем не слышала, но, когда газеты начали писать обо мне, получила от него очень милое письмо. У него возникла идея приехать в Москву и предложить себя властям в качестве заложника на все то время, пока я буду в Соединенных Штатах. Я написала ему, поблагодарив за проявленную доброту.

На смену февралю пришел март, и мне казалось, я сойду с ума, день ото дня ожидая телефонного звонка с предложением прийти за визой и другого звонка — о смерти отца.

Наконец восемнадцатого марта раздался звонок, и холодный жесткий мужской голос произнес:

— Федорова В.?

— Да.

— Принесите деньги — в рублях — и паспорт. Вам предоставлена виза сроком на три месяца.

Трубку повесили.

На мой крик из своей комнаты, прижимая руку к сердцу, прибежала мама.

Я схватила ее и закружила по комнате.

— Виза! Я получила ее!

## ИРИНА КЕРК

Ирина ехала в Бриджпорт, штат Коннектикут, где ей предстояло прочитать лекцию в местном храме.

Она неважно себя чувствовала, так и не оправившись после Лос-Анджелеса, и машину вел ее сын Марк. Попросив Марка не выключать радио, она удобно расположилась на заднем сиденье.

Подъехав к храму, он разбудил ее.

— Мама, мы приехали, но тут явно что-то происходит.

Еще не проснувшись как следует, она выглянула в окошко и увидела толпу людей. Едва она отворила дверцу машины, к ней подбежал мужчина с магнитофоном и микрофоном в руках.

— Доктор Керк, — обратился он к ней, — какова ваша реакция?

— На что?

Мужчина поднес микрофон поближе:

— Вы хотите сказать, что ничего не знаете?

— Не знаю.

— Виктория получила визу.

Ирина заплакала.

Вернувшись домой, она тут же заказала Москву. Зоя объяснила, что Виктории нет дома, бегает по всяким делам, связанным с визой. Женщины поболтали о радостном событии, и Зоя сказала, что, вернувшись домой, Виктория позвонит ей.

Ирина попыталась дозвониться до Джека Тэйта, но его телефон был все время занят. Она понимала почему. У нее самой телефон звонил почти безостановочно, друзья поздравляли, репортеры просили интервью.

Виктория позвонила на следующий день.

— У меня просто замечательный отец, — сказала она. — Он посылает сюда Генри Грису, но вы никому об этом не рассказывайте. Отец оплачивает ему билет, чтобы он забрал меня отсюда. Отец не хочет, чтобы я летела одна.

Очевидно, Виктория не до конца поняла суть заключенной с газетой сделки.

— Вика, это означает, что я не увижу тебя, — воскликнула Ирина.

— Как — не увидите? — в голосе Виктории про-

звучали нотки обиды и раздражения. — Вы ведь обещали встретить меня в аэропорту.

— Да, обещала. Но Грис и его люди даже близко не подпустят меня к тебе.

— Как так? Они что, думают, что везут тряпичную куклу? Я им кое-что скажу. Я уже объяснила Генри Грису, какую огромную роль сыграли вы в моей жизни, что, если б не вы, ничего вообще бы не было. Я знаю, он понял.

Ирина постаралась успокоить ее. Очевидно, командовал всем Генри Грис, зачем же огорчать Викторию? Все кончено.

Повесив трубку, она снова набрала номер Джека. Ответил незнакомый мужской голос:

— Сожалею, но вы не сможете поговорить с ним.

— Я не репортер. Мое имя Ирина Керк.

— Вы не сможете поговорить с ним.

— Почему?

— Послушайте, леди, я всего лишь исполняю приказ.

Раздался щелчок, телефон отключился.

Ирина продолжала сидеть, держа в руке трубку и вслушиваясь в доносящийся по линии гул. Она была потрясена. Шестнадцать лет неустанной работы, наконец момент триумфа, — и она оказывается совершенно оттеснена.

Больше она никогда не разговаривала с Джексоном Роджерсом Тэйтом. Но первого апреля 1975 года получила от него письмо.

Дорогая Айрин,

Человек предполагает, а Бог располагает. Для достижения цели следовало принять выбранный мною путь. По причинам, известным только мне<sup>1</sup>, я знал, что без помощи Генри Гриса Вики не удастся получить

---

<sup>1</sup> Речь идет о твердой вере Джека в то, что Генри Грис — агент КГБ и что будущее Виктории в его руках.

выездную визу. И конечно, мне не удалось бы организовать ее приезд в Соединенные Штаты, не дав поживиться прессе, избежать шумихи и широкой огласки. А также провести все это достойно, как мне хотелось бы.

На то есть и другие, более личные причины. Первоначально я был против всех этих планов, но мой друг Джек Каммингс убедил меня, что это наилучшее решение, и теперь я понимаю, что так оно и есть. Сожалею, что оно идет вразрез с Вашими планами, но *благополучие* и счастье Виктории для меня превыше всего. Ни один из этих планов не был задуман ради улучшения моего положения. *Ни у меня, ни у Виктории* и в мыслях не было получить какую-то выгоду от ее приезда. Она не подписала и не подпишет *никаких* контрактов. Она посетит Голливуд в качестве *частного гостя* моих *давних друзей* Джека Каммингса и Гленна Форда. Эта поездка не имеет никакой другой цели, кроме установления личных отношений с людьми, связанными с американским кино.

И Зоя и Виктория одобрили мои планы.

Девятнадцатого апреля в Оранж-парке состоится прием, на котором мои друзья встретятся с Викторией. Как только будут отпечатаны приглашения, я вышлю одно Вам.

Немедленно по возвращении домой я попрошу Викторию позвонить Вам.

Искренне Ваш,  
Джек Тэйт

P.S. Прошу Вас — все это не для огласки.

Прием состоялся, но Ирина Керк так и не получила на него приглашения.

Письмо Джексона Тэйта написано прямолинейно и в несколько грубоватой манере, которой он придерживался в разговорах с Ириной Керк. Без сомнения, столь странным образом он рассчитывал успокоить ее. Для Ирины это был заключительный штрих, отнюдь не утешивший ее, а лишь ознаменовавший конец всей этой истории.

Подписав соглашение с Джексоном Тэйтом, Генри выправил визу для поездки в Россию. И сразу же разработал план операции.

Место, где Виктория с отцом могли укрыться после встречи, уже было выбрано. Остановились на Джон-Айленде, небольшом островке в Атлантическом океане, неподалеку от Веро-Бич в штате Флорида, где полиция круглые сутки держала под неусыпной охраной триста пятьдесят поместий и их владельцев. В четко сформулированном документе, предназначенном для новых владельцев недвижимости на острове, открытым текстом говорилось, что далеко не каждый желателен там в качестве нового поселенца. «Мы стремимся создать на острове сообщество близких по взглядам и вкусам людей, придерживающихся общепринятых норм и представлений. Наша цель — обеспечить этим людям спокойную, счастливую жизнь». «Нэшнл инквайер» удалось арендовать на острове три виллы на Силвер-Мосс-драйв, которые отделяло от Атлантического океана лишь шоссе. Газета надеялась снять три виллы, расположенные по соседству, но владелец одной из них отрез отказался сдать ее, поэтому пришлось снять две виллы рядом — одну для Джека и Хейзи Тэйт, другую для Виктории и третью, чуть поодаль, для охраны и репортеров «Нэшнл инквайер».

Узнав, что Виктория получила визу, Генри тут же позвонил Джеку Тэйту и сообщил приятную новость, добавив, что к нему приедет репортер из «Инквайер», которому поручено взять на себя все звонки. Еще раньше в кабинете Джека рядом с его белым телефоном установили бежевый телефон прямой связи с редакцией «Инквайер». Как было обусловлено заранее, Джек не должен был подходить ни к тому, ни к другому.

Несколькими часами позже приехал Род Гибсон, репортер из «Инквайер», которому предстояло выполнять обязанности пресс-секретаря адмирала. Немедленно по приезде он опустил шторы на всех окнах четырехкомнатной квартиры Джека. Каждый раз, когда звонил телефон, он брал трубку и отвечал, что адмирал либо спит, либо отсутствует, — все, что угодно, лишь бы сбить с толку звонящих. Это он не дал Ирине Керк поговорить с Джеком.

Гибсон спал на диване в кабинете Джека и ни разу не покинул квартиру, до тех пор пока не был окончательно утвержден план встречи на Джон-Айленде.

В самолете компании SAS, совершающем рейс из Лос-Анджелеса в Копенгаген, где он следующим утром должен был пересесть на самолет Аэрофлота, Генри Грис снова и снова прорабатывал в деталях свой план, по которому Виктории предстояло улететь из Москвы в Джон-Айленд в обстановке полной секретности. Он знал, что Зоя с Викторией не ждут его так быстро, но и это входило в его планы. Чем скорее он вывезет Викторию, тем меньше вероятность утечки информации. Более всего его беспокоила разговорчивость Зои. Несмотря на все, что ей пришлось пережить, она осталась такой же доверчивой, как прежде, и могла, сама того не сознавая, сорвать весь план.

Прилетев в Копенгаген вечером, он тут же отправился в отель, чтобы как следует выспаться. На следующее утро, в 10.30, он уже был в аэропорту, специально приехав загодя, до прибытия самолета Аэрофлота. Уточнив в справочной время его прилета, Генри обнаружил, что на табло прилета этот рейс не указан. Он занервничал, но особой тревоги не почувствовал. Он хорошо знал, как работают русские. Самолет вылетит из Москвы, прилетит в Копенгаген и пробудет там ровно столько времени,



сколько потребуется, чтобы высадить прибывших пассажиров и взять на борт тех, кто летел обратным рейсом. На все это уйдет не больше часа.

Но время шло, а на табло прилета по-прежнему не было данных о рейсе Аэрофлота. И тогда Генри решил действовать. Он обратился в справочное бюро, чтобы выяснить, есть ли в этот день какой-нибудь другой рейс из Копенгагена в Москву. Оказалось, что в три часа дня рейсом в Токио вылетает самолет японской авиакомпании, который делает краткую остановку в Москве. В бюро компании «Джапан эйр лайнс» он справился, есть ли билеты на этот рейс. Просмотрев список пассажиров, клерк отрицательно покачал головой:

— Сожалею, сэр, но все места забронированы туристической группой, летящей в Токио.

— Мне очень важно попасть в Москву именно сегодня.

Позвонив куда-то, клерк сказал:

— Если только до Москвы, мы можем предоставить вам место стюардессы. Между Копенгагеном и Москвой у нее не будет времени присесть.

В тот момент, когда Генри получал билет на рейс японской компании, по радио объявили, что рейс самолета Аэрофлота в Москву отменяется, но билеты действительны на следующий рейс, через двадцать четыре часа. Генри вздохнул с облегчением. Не предприми он решительных действий, из-за задержки весь план мог бы сорваться.

В любом случае рейс этого самолета гораздо лучше отвечал его замыслам. Кто бы ни следил за его прибытием в Москву — а он понятия не имел, будет за ним слежка или нет, — его ждут рейсом Аэрофлота через двадцать четыре часа. Он позвонил Виктории, что прилетает в Москву вечером и хочет встретиться с ней. Он позвонит ей снова из Шереметьева, как только прилетит.

Прибытие самолета японской авиакомпании было вполне будничным явлением, и, скорее всего, никто в Шереметьеве не обратил на Генри внимания. Он позвонил Виктории, сказал, что едет в гостиницу «Берлин» принять душ и перекусить, а после этого хочет повидаться с ней и ее матерью. Они условились о времени, и Виктория сказала, что заедет за ним на своей машине.

Приехал он в гостиницу «Берлин», что в самом центре Москвы, в четверг вечером, в самом начале одиннадцатого. В 10.45 Виктория заехала за ним в своей голубой машине. Рядом с ней сидел мужчина с приятным русским лицом. Она представила Генри своему самому близкому другу, Борису Грошикову, попросту Боре. Генри почувствовал раздражение. Не хватает, чтобы в его планы вмешался еще один человек.

Зоя встретила его с распростертыми объятиями, но, услышав, что Виктория улетает в субботу, разволновалась, и на глаза у нее навернулись слезы.

— Так скоро?

— Я готова, — сказала Виктория. — Но у меня билет на следующую неделю.

Генри покачал головой:

— Нет, мы полетим в субботу, у меня билеты первого класса для нас обоих.

В офисе компании «Пан-Америкен» Генри заказал два билета на утренний воскресный рейс из Москвы в Нью-Йорк на имя Виктории Федоровой и Генри Гриса. Он не собирался их использовать, но хотел, чтобы служащие московского отделения «Пан-Америкен» получили такую информацию, прекрасно понимая, что кто-нибудь из них обязательно доведет ее до сведения иностранных журналистов (русская пресса по-прежнему не проявляла к Виктории никакого интереса).

Мысленно он представил себе, что будет тво-

риться утром в воскресенье у дверей офиса «Пан-Америкен», куда наверняка кинется толпа репортеров, чтобы отыскать Викторию, сутки назад покинувшую страну.

— Как же быть, я уже стольким знакомым сказала, что Вика улетает только на следующей неделе, — пожаловалась Зоя.

— Вот и отлично, — заметил Генри. — Сказали, и хорошо. А где будете вы сами те три недели, которые Виктория и ее отец проведут вместе?

— Через четыре дня после ее отъезда я уезжаю на гастроли, — ответила Зоя.

— Прекрасно. Значит, вам придется молчать о том, где находится Виктория, всего четыре дня. А было бы еще лучше, если б вы вовсе не подходили к телефону.

— Я никому ничего не скажу, — заверила его Зоя.

Открыв атташе-кейс, Генри достал парик с волнистыми, светлыми с проседью волосами.

— Вот примерьте, — сказал он Виктории.

Затем протянул ей темные очки с огромными круглыми стеклами.

— А нет ли у вас какого-нибудь пальто, которое скрыло бы вашу фигуру? Понимаете, в Москве найдется не много девушек, похожих на вас.

Виктория достала длинное серое пальто, надела его. Пальто доходило ей почти до щиколоток. Генри одобрительно кивнул. В парике, темных очках и пальто она нисколько не походила на ту Викторию Федорову, фотографии которой обошли все газеты мира.

Виктория внимательно оглядела себя в зеркале.

— Я похожа на сумасшедшую.

Был уже почти час ночи, и Генри поспешил в гостиницу «Берлин». Уходя, он снова предупредил

Викторию, Зою и Бориса, что ни один человек не должен знать об отлете Виктории утром в субботу и о ее местопребывании в последующие три недели.

## ВИКТОРИЯ

Пятница. Неожиданно для себя я смотрю на улицы Москвы совершенно другими глазами. Я увижу их снова только через три месяца. И все еще не могу поверить, что моя мечта сбылась. Пройдет всего несколько часов — понятия не имею сколько, — и я впервые увижу своего отца. Мысли в голове крутятся вокруг одного и того же, и при этом все происходящее представляется абсолютно нереальным.

Генри Грис позвонил ранним утром, мы с мамулей только-только сели пить кофе. Он хотел знать все: что я делаю, кто мне звонил — и задал миллион других вопросов. Я еще подумала: интересно, записывает он на магнитофон наш разговор? За все время, что я знала Генри Грису, я ни разу не видела его без магнитофона. Похоже, что магнитофон для него — это третье ухо.

Я сказала ему, что мы с Борей едем менять рубли на доллары. Генри воспротивился, сказав, что деньги мне даст он.

— Я все равно поеду, — упрямо возразила я.

Этот человек мало-помалу начинал раздражать меня. Казалось, стоит кому-нибудь из нас исчезнуть из его поля зрения, как он тут же перестает нам доверять.

— Ладно, — сказал он, — но не забудьте...

— Помню, — ответила я. — Если меня спросят, я скажу, что не знаю, когда полечу в Америку.

Мы договорились встретиться у гостиницы «Берлин» в четыре часа дня.

Там, подойдя ко мне, он заговорщицки, словно в шпионском фильме, огляделся по сторонам и поспешно затолкал меня в машину. Мы поехали в аэропорт, где мне нужно было, по указанию Генри, подойти к представителю Аэрофлота и купить два билета на утренний субботний рейс из Москвы в Брюссель. Я недоуменно посмотрела на него, Он что, с ума сошел?

— Почему в Брюссель?

— Именно Брюссель. А когда назовете наши имена для регистрации, попросите служащую оказать вам любезность и никому не говорить, что вы летите этим рейсом.

Я поняла, что никаких объяснений не последует, по крайней мере здесь, и сделала все, как он велел.

Когда я вернулась в машину, он сказал:

— Итак, мы летим в Брюссель по многим причинам. Одна из них: никому и в голову не придет, что из всех городов вы выбрали именно Брюссель и что в Брюсселе у нас уже зарезервированы места на самолет компании «Сабена», летящий в Нью-Йорк. Вторая: Брюссель — один из немногих аэропортов, где есть гостиница для транзитных пассажиров, а это значит, вы сможете отдохнуть между рейсами без предъявления визы, следовательно, никто и знать не будет, что вы там.

Я была вынуждена признать, что голова у Генри, как бы он меня ни раздражал, работает отлично, хотя к нему как нельзя более подходило слово «интриган».

— Причина, по которой я попросил вас купить билеты, предельно проста: вы русская и женщина в офисе тоже русская. Если вы попросите ее никому ничего не говорить, она не скажет. Если же об этом ее попрошу я, она наверняка подумает: «Какое мне дело до капиталистической прессы?» — и прогово-

рится, и тогда вся свора, которая соберется в воскресенье утром у офиса «Пан-Америкен», примчится завтра утром сюда. Теперь понятно?

Я кивнула. Точь-в-точь шпион из комедийного фильма.

— Вы поменяли деньги? — спросил он.

— Да, — ответила я, — и никто не задал мне ни одного вопроса. Я просто показала визу, и никаких проблем. А вы что делали?

Генри улыбнулся.

— Звонил в тысячу разных мест по поводу вашей встречи с отцом. Затем повидался с вашей матерью, задал ей несколько вопросов для статьи, которую буду писать обо всех вас.

— Мамуля сказала вам о сегодняшнем вечере?

Генри кивнул.

— Да. Лучше бы она этого не делала. В результате кто-то еще узнает о вашем отъезде, — с явным неудовольствием ответил он.

— Это вовсе не прощальный ужин, — сказала я. — Просто придут несколько близких друзей. К тому же мамуля никому не сказала, когда я лечу, так что все в порядке. Будут Боря, Зося с дочерью — Зося вместе с мамулей сидела во Владимирке, — а также мама — точнее, моя тетя Александра. И все.

Когда я пришла домой, мамуля была чем-то очень расстроена. Стол уже был накрыт, в духовке жарилось мясо. На столе стояла бутылка коньяка, бутылка водки и графин с вином.

— Что случилось? — спросила я.

— Да все этот Генри со своей машинкой, — ответила она. — Приходил сюда, задавал вопросы. Всякие ужасные вопросы — обо мне и твоём отце.

— Ничего не поделаешь, он журналист, — сказала я.

Мамуля гневно тряхнула головой.

— Вопросов, какие он задавал, я никогда не видела ни в одной газете.

— Велела бы ему заткнуться и оставить тебя в покое.

— Он не из тех, кому можно что-то приказать.

Поначалу вечер удался. На мамуле был ее светлый парик, она и меня заставила надеть тот парик, который принес Генри. В глазах Генри тотчас загорелся злой огонек, как будто парик выдал какой-то его секрет.

Я не пила, но мамуля выпила не меньше трех бокалов вина: никогда прежде на моей памяти она не пила так много.

Тут неожиданно вскочила Зося и подняла свой бокал. Лукаво посмотрев на мамулю, она провозгласила:

— Не надо волноваться, леди. Американцы спасут нас!

На них с мамулей внезапно накатил приступ истерического смеха — именно эти слова произнесла когда-то Зося во время отсидки во Владимирской тюрьме.

Обстановка сложилась приятная — до той минуты, пока Генри, вытащив свой магнитофон, не склонился к мамуле и что-то ей сказал. Я увидела, как она напряглась, а лицо ее покраснело от гнева.

— Нет!

Я поняла, что он снова пристает к ней со своими идиотскими вопросами об интимных отношениях с моим отцом.

— Прекратите, Генри, — сказала я, — неужели вы не видите, что оскорбляете ее?

Извинившись, он отодвинулся, однако магнитофон с колен не убрал.

Зося принялась рассказывать какую-то невообразимую историю из быта Владимирки, клятвенно

уверяя, что это сущая правда. Мы весело смеялись, но тут Генри опять что-то сказал мамуле. Она залилась слезами

— Помоги мне, Вика, он опять мучает меня.

Я встала:

— Уходите домой, Генри. Вы меня сердите.

— Вы даже не понимаете, что для того, чтобы написать о вас, мне необходимо знать детали и подробности, — ответил он.

— И тем не менее вы не узнаете всех подробностей. Пожалуйста, уходите!

Пожав плечами, Генри убрал магнитофон.

— Хорошо. Встретимся завтра рано утром. Когда, вы знаете.

## ГЕНРИ ГРИС

Было уже за полночь, когда Генри Грис ушел от Федоровых. В пять утра он заедет за Викторией и повезет ее в аэропорт. Он решил пройтись до гостиницы «Берлин» пешком. Ему предстояло сделать еще несколько звонков в Соединенные Штаты. Перед этим хорошо бы побыть на свежем ночном воздухе, чтобы выветрить из головы винные пары и сигаретный дым.

Он надеялся, что не совершил глупости, разрешив сегодняшней вечер. Это было рискованно, поскольку никто из собравшихся, видимо, не понимал, сколь важно сохранить в тайне отъезд Виктории. Что делать, не изображать же ему из себя гестаповца. И так он уже обидел и Зою, и Викторию. Но что особенного он спросил? В Штатах в его вопросах, скорее всего, никто не усмотрел бы никакого намека. Почему Зое хотелось иметь ребенка от Джека? Ведь если Джек не понимал всей призрачности надежд на совместную жизнь после войны, то уж Зоя-то



наверняка понимала. Но Зоя обиделась, как будто он попросил рассказать о сексуальных отношениях. Странные люди эти русские.

Придя в гостиницу, он заказал разговор с редакцией газеты во Флориде. Ага, Джека и его жену уже увезли ночью в приготовленное для них убежище. Никто не обратил внимания на кавалькаду отъезжавших от дома машин. Ну что ж, половина действующих лиц доставлена по месту назначения. Теперь дело за ним и за остальными сотрудниками «Инквайрер», которые прибудут на Джон-Айленд после того, как они с Викторией покروют расстояние, равное половине окружности земного шара.

В пять часов этого субботнего утра 22 марта 1975 года Москва еще спала. Генри сел на заднее сиденье взятой напрокат машины и огляделся по сторонам. Пусто. Хорошо, что улица запорошена снегом. Если кому-то вздумалось спрятаться в подъезде, остались бы следы.

Наклонившись вперед, он заговорил с шофером по-русски. Он постарался придать голосу строгий, официальный тон, отметив при этом напряженное внимание шофера.

— Хочу, чтобы вы знали. Я сопровождаю в Америку актрису Викторию Федорову. Это официальное поручение, и я прошу вас пресекать любые попытки иностранных журналистов приблизиться к ней. Никто не должен задерживать машину. Вы меня понимаете?

Водитель притронулся рукой к фуражке:

— Понятно, товарищ. Будет исполнено.

Машина свернула на Кутузовский проспект. Они подъехали к подворотне жилого дома, и Генри внимательно оглядел ведущую к дому дорожку. Снег на ней лежал нетронутый. Миновав скверик, машина подъехала к Зоиному подъезду. Он велел шоферу

припарковаться во дворике, сохраняя предельную осторожность.

Войдя в подъезд и поднимаясь по ступеням, Генри размышлял, в каком настроении встретят его обе женщины. В глубине души он чувствовал угрызения совести за испорченный накануне вечер. Он отнюдь не считал себя жестким, бесстрастным репортером, но, видимо, именно таким восприняли его Виктория и ее мать.

Женщины сидели за обеденным столом друг против друга, накладывая косметику — перед каждой стояло зеркало. Боря слонялся по комнате. Слава богу, и Зоя и Виктория были настроены вполне благосклонно. Казалось, вчерашний инцидент был начисто забыт. Зоя предложила Генри кофе, а Виктория сказала, что от волнения перед предстоящим полетом почти не сомкнула ночью глаз. Она была уже в парике. Надев темные очки, она поднялась из-за стола. На ней были черные брюки и жакет. Потом она надела пальто, и Генри одобрительно улыбнулся.

— Я готова, — объявила она, указав на небольшой чемодан и сумку с купленными для отца и его жены подарками.

Генри попросил Борю спуститься вниз и проверить, нет ли поблизости кого-либо из посторонних. Зоя поднялась из-за стола и направилась к вешалке за пальто.

— Зачем вам пальто?

— Я еду в аэропорт.

— Нет, — сказал Генри. — Вы слишком известны. Вы привлечете внимание.

Зоя заплакала. Обняв мать, Виктория повернулась к Генри.

— Конечно, она поедет. И Боря тоже. Там никого не будет. Вы же сами сказали: всему миру известно, что я лечу завтра.

— Хорошо. Но вы прощаетесь в машине. Им нельзя входить с нами в аэровокзал.

Зоя согласилась.

Вернулся Боря, сообщил, что на улице никого, кроме машины и водителя, нет. Генри настоял, чтобы они спустились вниз не на лифте, а по лестнице.

• Выйдя из подъезда, он огляделся по сторонам, проверяя, нет ли слежки. Потом махнул рукой Зое, Виктории и Боре, что можно выходить. К его неудовольствию, Зоя решительно уселась рядом с шофером, поскольку «я всегда тут сижу». Викторию Генри усадил между собой и Борей на заднем сиденье.

Машина тронулась, впереди полчаса езды до Шереметьева. Светало, но солнце еще не взошло. На улицах попадались лишь редкие прохожие.

Генри велел шоферу остановиться, не доезжая нескольких метров до аэровокзала. Боря поцеловал Викторию, шепнув ей что-то на ухо. Она кивнула. Генри сделал ему знак, и они оба вышли из машины, чтобы Виктория и ее мать могли попрощаться без посторонних.

## ВИКТОРИЯ

На прощанье мы поцеловались, и мамуля расплакалась.

— Почему, мамуля? Почему? Всего три месяца, и я вернусь.

— Знаю, — сказала она, — но это так далеко. Я снова поцеловала ее.

— Не глупи. Представь, что я на съемках в Молдавии или где-нибудь еще, какая разница?

Кивнув, она вытерла слезы.

— Я все понимаю, но не могу забыть тех лет, когда мы были в разлуке. Поэтому мне так тяжело остаться без тебя хоть на минуту.

Генри махнул нам рукой. Мы снова поцеловались.

— Я люблю тебя больше всех на свете, — шепнула я, прижавшись губами к ее щеке, и вышла из машины.

Генри снял с плеча фотокамеру и передал ее мне. Наверно, хотел, чтобы я выглядела как американская туристка. В парике и в огромных черных очках я чувствовала себя полной идиоткой, но зато Генри был явно доволен.

Конечно же, мы приехали слишком рано для девятичасового рейса, но я уже не задавала никаких вопросов. Генри встал в очередь на регистрацию, в столь ранний час совсем короткую, и сразу после регистрации потащил меня к турникету. Все время, пока мы там стояли, он не переставал озираться по сторонам. Я решила, что в конечном итоге он свернет себе шею.

Наконец объявили посадку, и, схватив меня за руку, Генри ринулся к самолету. Мы оказались на борту первыми, и меня несколько озадачила сцена, которую он закатил стюардессе, требуя, чтобы нас поместили в первый класс. И это тот самый человек, который знал все-про-все на свете? Кроме одного: в самолетах Аэрофлота есть только один класс.

Но он добился того, чего хотел. Нас посадили на два передних места. Генри настоял, чтобы я села к окну, и, бросив последний взгляд вокруг, уселся рядом.

— Что за глупый скандал вы учинили? — шепнула я. — В Советском Союзе нет никаких первых классов. Уж кому-кому, а вам следовало бы знать.

Генри улыбнулся.

— А я и знаю. Просто хотел заполучить эти два места, чтобы перед нами никто не торчал. Теперь всем виден только ваш затылок.

Самолет оторвался от земли, я смотрела сверху

на исчезающую в облаках Москву. Невероятно! Я и в самом деле покидаю Советский Союз и с каждой уходящей минутой становлюсь на минуту ближе к отцу. Достав носовой платок, я вытерла под очками слезы.

— С вами все в порядке? — спросил Генри.

Я кивнула.

— Через три часа мы прилетим в Брюссель, где нас встретит Джон Чекли, журналист из нашего лондонского отделения. Он станет еще одним вашим телохранителем. Мы отвезем вас в гостиницу при аэропорте, и вы сможете отдохнуть, ведь до отлета в Нью-Йорк останется несколько часов.

Я отвернулась к окну, но, кроме облаков, ничего не увидела.

Генри обернулся к сидящим позади нас мужчине и женщине.

— Простите, не скажете, который час? — обратился он к ним по-русски.

Мужчина ответил на немецком, что не понимает вопроса.

Генри кивнул. Именно это ему и нужно было знать.

Потом вытащил магнитофон.

— Хочу, чтобы вы рассказали мне все, что помните о своей жизни.

Я ответила, что отнюдь не расположена вести сейчас беседу. Меня все еще не отпускало волнение.

— Пожалуйста, давайте отложим разговор до отлета из Брюсселя. У нас будет достаточно времени, да и я немного приду в себя.

Он отложил в сторону магнитофон. Стюардесса принесла обед: холодный цыпленок, толстый кусок черного хлеба с маслом, стакан красного вина и стакан содовой. Мне все очень понравилось, но Генри едва притронулся к еде.

— Похоже, что ваши соотечественники совсем не кормят цыплят. Поглядите, какой он тощий и жесткий.

— А мне нравится.

— Подождите немного, — сказал он. — Вот полетим на «Сабене», увидите, что такое обслуживание по первому классу.

— Ладно, — сказала я, не переставая жевать. Цыпленок и правда был жесткий-прежесткий, но я ни за что не хотела признаться в этом Генри. Почему-то, покидая свою страну, мне хотелось защитить се, хоть и не терпелось увидеть страны капиталистические.

Я проверила в сотый раз, на месте ли сумка, которую я сунула под сиденье. В ней лежал маленький металлический футлярчик для ювелирных изделий и набор матрешек для жены отца, а также янтарный брелок для отца.

Когда мы приземлились в Брюсселе, Генри дождался, пока самолет покинула большая часть пассажиров, и только после этого мы вышли в проход между креслами.

— Будем сходить, держитесь в гуще пассажиров, — предупредил он, крепко сжав мою руку. — И не говорите по-русски.

Я хотела сказать ему, что мне больно, но он перебил меня:

— Лучше помолчите!

Мне показалось, он сошел с ума. Кому я нужна в Брюсселе? Когда мы сошли с самолета и нас никто не встретил, я чуть не расхохоталась.

— Идем в аэровокзал, — приказал Генри.

Мы вошли в длинный коридор. С другого его конца нам навстречу шли двое мужчин в форменных фуражках компании «Сабена». Проходя мимо, один из них, не останавливаясь, бросил на нас безразличный взгляд. Генри обернулся.

— Джон?

Второй мужчина остановился, переводя взгляд с меня на Генри. Я догадалась, что ни один из этих международных суперагентов не знал другого в лицо. Джон Чекли подошел к нам.

— Генри Грис?

Высокий, в очках, Джон Чекли менее всего походил на телохранителя. Они обменялись с Генри рукопожатием, и Чекли представил нам сотрудника «Сабены». Глядя на меня, Джон Чекли спросил:

— Это Виктория Фед...

— Ш-ш-ш, — оборвал его Генри. — Да.

Представитель «Сабены» проводил нас в номер гостиницы.

— Если хотите, поспите, — сказал Генри. — Примите душ, делайте, что вашей душе угодно. До отлета в Нью-Йорк еще пять часов. У меня дела. Телефоном не пользуйтесь.

Я рассмеялась.

— Я же никого не знаю в Брюсселе.

— Неважно, — сказал он, — если будут звонить, не подходите. Никому не открывайте дверь, кроме меня. Чуть позже я пришлю вам что-нибудь поесть.

— Мне нужны сигареты. Могу я выйти и посмотреть аэропорт?

— К сожалению, нет. Это слишком рискованно. Я сам принесу вам сигареты. — Он направился к двери.

— Переведите часы. В Брюсселе другое время, чем в Москве, — и назвал мне правильное время.

— А можно снять парик и очки?

— Конечно, — ответил он с таким видом, точно я задала идиотский вопрос. Однако же, с порога вернулся и задернул шторы. — Так-то будет лучше.

Обследовав комнату и ванную и вдоволь на-

дивившись окружавшей меня роскоши, я наконец легла. Как приятно снять парик, от которого страшно пекло голову, и раздражавшие меня темные очки. Я закрыла глаза, менее всего собираясь спать. Но проснулась, только услышав стук в дверь. Это пришел Генри, который принес сигареты, лимонад и сандвич с чем-то совершенно мне неизвестным. Генри объяснил, что это салат из тунца. Салат мне понравился.

Затем он сказал, что, если я хочу принять перед отлетом душ, надо сделать это не откладывая.

— Но я не могу встретиться с отцом в таком виде. Поглядите, что сотворил ваш парик с моей прической. Когда мы прилетим в Нью-Йорк, мне обязательно нужно будет привести в порядок волосы.

— Да-да, обо всем уже договорено, — сказал Генри, хотя мне показалось, что он пропустил мои слова мимо ушей. — Я вернусь через два часа. Мне надо сделать еще несколько звонков.

И снова ушел.

До его возвращения я не надевала парика. Вместе с Генри пришли Джон Чекли и тот прежний представитель «Сабены», а также двое других мужчин — служащих «Сабены».

— Мы сейчас идем прямо к самолету, — сообщил Генри. — Вы в центре, мы по бокам. Если кто-то подойдет к вам, продолжайте идти, глядя прямо перед собой. И что бы ни случилось, ни с кем не вступайте в разговор.

Я кивнула. Генри и Джон встали по сторонам от меня. Я настояла, что сама понесу дорожную сумку, чемодан взял Джон. Трое представителей «Сабены» шли с нами, один впереди, двое — сзади. К моему удивлению, на нас никто даже не взглянул. А я-то вообразила, что мы похожи на маленький военный



отряд! Я с трудом сдерживала смех, глядя, как Генри и Джон напряженно всматриваются во все, что попадает на пути. Два немолодых человека играют, словно мальчики, в шпионов, хотя никому в аэропорте нет до них дела.

Представители «Сабены» провели нас прямо в «Боинг-747», стюардесса проводила нас в салон первого класса, и мы снова уселись на передние места. Джон занял кресло у прохода в самом начале салона туристического класса, чтобы при необходимости преградить дорогу любому подозрительному пассажиру.

Генри снова заставил меня сесть у окна.

— Можно мне говорить? — спросила я.

— Только не по-русски.

— Но другого языка я не знаю. Только русский и несколько слов по-английски.

— Тогда вообще молчите.

— Но ведь в самолете никого еще нет.

— Придут, — сказал он.

— Тогда разрешите задать несколько вопросов, пока нет других пассажиров. Что будет дальше? Сколько часов лететь до Нью-Йорка?

— Мы будем в Нью-Йорке вечером. После краткой остановки вылетим в Майами.

— Тогда я и встречусь с отцом?

— Нет. Дальше мы поедem на машине.

— Сколько туда езды?

— Несколько часов.

В салон самолета стали подниматься первые пассажиры, и Генри предостерегающе поднес ко рту палец.

Я откинулась в кресле.

Как я и ожидала, никто не проявлял ко мне ни малейшего интереса.

Мало-помалу с этим согласился и Генри, разрешив мне пойти в туалет. Там я первым делом стащи-

ла с головы парик, от которого голова у меня просто раскалывалась. Я бы с удовольствием провела в туалете час и больше, но знала, что в любую минуту может появиться Генри, который не остановится и перед тем, чтобы вышибить дверь.

Когда я вернулась, Генри снова вытащил магнитофон. Он хотел знать в мельчайших подробностях все, что осталось у меня в памяти о прежней жизни. Наш разговор помог скрасить время полета.

За весь полет произошел лишь один неприятный инцидент, когда стюардесса пришла взять заказ на ужин.

Я не поняла ее и успела произнести по-русски только одно слово — «что?», как тут же получила удар по щиколотке от Генри.

Он что-то сам заказал для меня, объяснив удивленной стюардессе, что я из Восточного Берлина, а потому не понимаю ее.

На ужин мне принесли шиш-кебаб, потрясающе вкусный. Никогда в жизни я не ела такого вкусного мяса и никак не могла поверить, что на Западе в самолетах кормят такой вкуснятиной бесплатно. Наклонившись ко мне, Генри спросил:

— Вы по-прежнему предпочитаете цыпленка по-аэрофлотски?

— Он тоже был очень вкусный. — Я и себе самой не могла бы объяснить эту внезапно возникшую потребность защищать все русское. Наверно, это как-то было связано с чувством страха, все более усиливавшимся по мере приближения встречи с отцом. Я так долго ждала этой минуты, что теперь, когда она перестала быть мечтой, мне стало страшно. Что, если я не понравлюсь ему?

Потому, наверно, я так и цеплялась за то единственное, что у меня было за душой, — за свою принадлежность к России.

## ГЕНРИ ГРИС

Генри посмотрел на Викторию. Наконец-то заснула. Он взглянул на часы. Не пройдет и часа, как они приземлятся в Нью-Йорке.

Он улыбнулся, глядя на нее. Она оказалась твердым орешком. Смешно, как она кидается на защиту всего русского. Вот уж не ожидал встретить в ней шовинистку. Скорее всего, в душе она просто умирает от страха, хотя ни за что не признается в этом. Что ж, это ее проблемы.

Он позавидовал ей: надо же, смогла заснуть. Он, если бы даже захотел, не имел на это права. Ему надо быть начеку. Кто знает, что может случиться? Виктория наверняка принимает его за кретина. Она и половины не понимает, что происходит вокруг нее и от знакомства с какими чудесами журналистики ее избавили. Он с улыбкой подумал о толпе журналистов, которые ринутся воскресным утром в Шереметьево.

Вытащив блокнот, он уточнил детали следующего этапа их путешествия. Первая проблема может возникнуть в нью-йоркском аэропорту, где Виктории придется предъявить свои документы. Но адмирал позвонил в иммиграционное ведомство в Вашингтоне, объяснив, что его дочери необходимо как можно быстрее, не привлекая к себе внимания, пройти иммиграционный контроль. Собеседник адмирала на другом конце провода заверил, что лично оповестит об этом тех, кто будет в тот день при исполнении обязанностей в аэропорту имени Кеннеди.

Тэйт с женой уже на острове, так же как и Род Гибсон и сотрудница газеты Дайана Олбрайт — Ди-Ди, — которая составит там компанию Виктории.

Позвонив в редакцию, Генри узнал, что при про-

хождении таможни рядом с Викторией будут находиться четверо репортеров из «Инквайрер». Машины будут ждать неподалеку от таможни, на ближайшей к ней стоянке.

Из Брюсселя Генри заказал разговор с Зоей и с удовольствием услышал, что абонент на звонок не отвечает.

— Запомните, начиная с этой минуты — ни с кем ни слова. Только с чиновником, который попросит у вас документы, да и то лишь в ответ на его вопросы.

Виктория устало кивнула.

Они стояли среди пассажиров, вышедших из самолета в Нью-Йорке. Как только они покинули салон первого класса, с ней рядом встал Джон Чекли. Все трое быстро направились к выходу. Виктория пошла к стойке для иностранцев. Следом за ней шел Джон, британский подданный, а Генри, как американский гражданин, отправился к другой стойке.

Дождаясь своей очереди, Генри внимательно оглядывал зал контроля. Там, у входа в зал ожидания, стоял лишь один человек, которого можно было бы принять за журналиста. Что-то в его нарочито небрежном виде настораживало. Генри сделал знак Джону и чуть заметно кивнул в сторону незнакомца. Посмотрев на него, Джон в ответ слегка наклонил голову.

У Генри с собой был только атташе-кейс, поэтому, когда Виктория только поравнялась с инспектором, он уже прошел таможенный контроль. Тот перевел взгляд с фотографии на стоявшую перед ним женщину.

— Федорова? Мы ждем дочь адмирала по имени...

— Да-да, — вмешался Джон, не давая инспекто-

ру снова повторить вслух ее имя. — Это она. И пожалуйста, проведите досмотр как можно скорее в соответствии с полученными вами инструкциями.

— Нет вопросов, — ответил инспектор, ставя в паспорт визу. — Удачи вам, мисс Федорова, и счастливой встречи с отцом.

Ее тотчас перехватил Генри.

— Повернитесь спиной к двери.

Они подождали, пока пройдет досмотр Джон.

— Видишь его? — спросил Генри.

Джон кивнул.

— Я толкну его, и, пока буду извиняться, вы проскользните мимо.

Но когда они подошли к двери, там никого уже не было — мужчина, кто бы он ни был, ушел. Как только они вышли из дверей, откуда ни возьмись появилось еще четверо незнакомцев, как бы случайно окруживших их. Все это происходило в полном молчании.

Неподалеку стоял лимузин, и Генри помог Виктории сесть на заднее сиденье. Двое мужчин сели на откидные сиденья лицом к ней.

Они направились в гостиницу «Интернэшнл-инн», всего в нескольких минутах езды. Едва они вышли из машины, Генри сказал Виктории:

— Не оглядывайтесь. Идите прямо в вестибюль. Держитесь около меня.

## ВИКТОРИЯ

Я даже не поднимала глаз. Единственное, что я видела, — это ковер, по которому я шагала. Мы подошли к столику, и кто-то пододвинул мне стул. Я услышала женский голос, исполнявший что-то под аккомпанемент рояля, и подумала, что это запись, но, подняв голову, увидела за роялем женщину в

вечернем платье, которая пела, аккомпанируя себе. Я огляделась. Если судить по фильмам, которые я видела, мы сидели в коктейль-баре, каких у нас в Москве не было.

— Хотите что-нибудь выпить? — спросил Генри.

— Пожалуй, — ответила я, — только без алкоголя.

Должно быть, это был лимонад, только чуть горьковатый. Какая разница. Меня всю трясло. Мы проведем здесь час или немного больше, и после этого нас с отцом будет разделять лишь один перелет. Мне захотелось остановить время. Я еще не была готова.

Генри беседовал с другими мужчинами, сидевшими за столиком. Я почти ничего не понимала из их разговора. Женщина продолжала петь. Вокруг было много людей, а я чувствовала себя ужасающе одинокой и испуганной. Что я тут делаю, ночью, в Нью-Йорке? В полумраке бара ни за одним столиком я не увидела человека, одетого так, как я. Я чувствовала себя идиоткой. Представляю, какой у меня дурацкий вид. За соседним столиком засмеялись мужчина и женщина. Я даже не решилась взглянуть в их сторону: не сомневалась, что они смеются над ненормальной в пальто до пят, нелепом парике и темных очках. Господи, и зачем я согласилась на этот маскарад? Лишь для того, чтобы добраться до какого-то места под названием Флорида и встретиться с человеком, которого никогда не видела? Он мой отец, поскольку был близок с моей матерью. И только. Нас не связывают никакие духовные узы. Мы ни одной секунды не прожили вместе. Может быть, Коля и прав: мне следовало довольствоваться его фотографией.

Я почувствовала, как на глаза навертываются слезы. Слава Богу, на мне очки. Невольно всхлипнув, я увидела, что Генри смотрит на меня.

— Все в порядке?

Я кивнула. Вопрос привел меня в чувство. Что я делаю? Мучаю себя, вот и все. Разве отец не купил билет Генри Грису, чтобы он поехал за мной? Отец думает обо мне. Он хочет меня видеть.

На душе немного полегчало. Это все от усталости и от этого чертова парика, словно тисками сдавившего мне голову.

Наконец Генри дотронулся до моей руки. Положив на стол сколько-то денег, он поднялся. Мы тоже поднялись, мужчины снова кольцом окружили меня, и мы направились к лимузину. Было прохладно, но не так холодно, как в Москве. Я села в машину, и мы помчались в аэропорт «Ла-Гардиа».

— Мне надо вам что-то сказать, Генри.

Он посмотрел на меня:

— Слушаю вас.

— Я просила, чтобы кто-то занялся моими волосами, и вы согласились. Но вот мы снова едем в аэропорт. Я говорю всерьез, Генри: я не хочу, чтобы отец увидел меня в первый раз в таком ужасном виде. Мне надо принять душ и что-то сделать с волосами.

По тому, как он взглянул на меня, я поняла, что до него дошел смысл моих слов. Я стойко выдержала его взгляд. Наконец он кивнул.

— Я позвоню из аэропорта в Майами и все устрою.

— Не забудьте.

## ГЕНРИ ГРИС

Эти нотки в ее голосе он услышал впервые. Генри Грис ни на секунду не сомневался, что Виктория откажется от встречи с отцом, если ей не сделают хорошую прическу. Что ж, настоящая дочь адмирала!

Из аэропорта он позвонил в редакцию во Флориду.

Голос редактора на другом конце провода задрожал от ярости.

— Вы что, тронулись, Генри? Где мы, черт возьми, найдем парикмахера в это время суток? Забудьте об этом.

— Говорю вам, Виктория требует парикмахера, а она не из уступчивых. Надо что-то сделать.

— Какого черта, вы же понимаете, что мы не можем поднимать парикмахера посреди ночи. Это обязательно вызовет у него подозрения. Стоит только узнать ее — и все полетит к чертовой матери.

— Верно, — согласился Генри, — значит, найдите кого-нибудь в редакции, кто поможет ей.

— Я подумаю и дам вам ответ в Майами.

Генри сообщил Виктории, что ее прической займутся во Флориде. Они сели в самолет. Была суббота, чуть больше десяти часов вечера. Джон Чекли остался в Нью-Йорке, чтобы на следующий день вернуться в Лондон. В самолет сели только Генри, Виктория и двое встретивших их мужчин. Самолет был полупустой, а потому Генри не составило труда усадить Викторию у окна и сесть с ней рядом, устроив одного репортера перед ней, а другого позади.

Как только они поднялись в воздух, Виктория спросила:

— Генри, вы действительно договорились о парикмахере?

— Я позвонил. Редактор, с которым я разговаривал, обещал что-нибудь придумать. Не знаю, каковы ваши сведения об этой стране, но салоны красоты у нас по ночам не работают.

— А я ждала этого момента двадцать девять лет не для того, чтобы выглядеть так, чтобы моему отцу стало за меня стыдно!



Опять тот же тон. Так же говорил с ним ее отец в ту первую их встречу, когда сообщил о своем намерении устроить пресс-конференцию.

Откинувшись в кресле, Генри закрыл глаза. Вряд ли ему удастся заснуть, но он попытается. Глаза болели, челюсти сводило от напряжения, все нарастающего с того самого момента, как они покинули Москву. Прошло уже более суток, и он слишком много потратил сил, преодолевая менявшиеся часовые пояса.

Он открыл глаза и взглянул на Викторину. Она сидела, пристально вглядываясь в ночной мрак.

## ВИКТОРИЯ

За окном была такая темень, что я ничего не видела. Но так или иначе я понимала, что мы летим над Соединенными Штатами, может быть, даже над Флоридой и совсем скоро я предстану перед папочкой.

Прежний страх ушел. Я слишком устала. Все тело ломило, голова горела под париком. Только бы мне наконец снять его — я разорву его на кусочки и сожгу. И очки тоже.

Я подумала о мамуле. Интересно, что она сейчас делает? Я даже не знаю, ночь сейчас в Москве или день, и вообще, какой сегодня день недели? Как бы я хотела, чтобы она была рядом! Ведь по праву этот миг принадлежит скорее ей, чем мне. Кому, как не ей, с гордостью показать Джексону дитя их любви? Она бы даже смогла сказать ему несколько слов по-английски.

Я почувствовала, как по щекам покатились слезы. Я даже не вытерла их. Зачем? Генри спит. Кто другой их увидит? Бедная мамуля. Сколько же страданий выпало на ее долю только за то, что она любила человека, любить которого ей не полагалось.

И вот теперь, когда все позади, ее даже нет со мной. Жизнь так несправедлива!..

Прозвучал негромкий звонок, и на табло зажглись слова, которых я не поняла. Я знала, что это сигнал, предшествующий посадке. Генри открыл глаза и посмотрел на часы.

— Майами, — сказал он.

И снова нас окружила маленькая армия, а не-подалеку поджидали три машины. Мы с Генри сели в среднюю. Я едва ли пробыла на открытом воздухе больше минуты, но меня поразило, как тут тепло. В Москве еще стоит зима. Даже в Нью-Йорке и то холодно.

Первая машина отъехала от тротуара, наша последовала за ней. Мы с Генри сидели сзади. Впереди устроились двое репортеров из «Инквайрер».

— Похоже, мы справились, Генри, — сказал один из них.

Генри рассмеялся.

— Мы? Разве вы были в Москве, когда все началось?

Я тронула Генри за рукав.

— Как насчет парикмахера, Генри?

В глазах его снова мелькнуло раздражение, и он наклонился к одному из сидящих впереди мужчин. Я не сомневалась, что кажусь ему глупой бабенкой, но мне было плевать. Главное, чтобы отец испытал чувство гордости, впервые увидев дочь.

Генри откинулся на сиденье.

— Мы сделаем по пути остановку. Там нас ждет одна женщина, она поможет вам.

Я отвернулась к окну, пытаясь разглядеть Флориду, но увидела лишь редкие пальмы да зайцев, прыгающих в свете фар по дороге.

Передняя машина замедлила ход, наш шофер тоже притормозил. Впереди на обочине дороги сто-

яла еще одна машина. Помигав фарами, она возглавила кавалькаду.

— В чем дело, Генри?

— Это Ян Галдер, наш главный редактор. Он отвезет нас к себе в Бойнтон-Бич. Там вы сможете принять душ и причесаться.

— Можно мне снять парик?

— Только когда мы приедем.

## ГЕНРИ ГРИС

Джейн Галдер уже стояла на лужайке перед домом, когда подъехали машины. Лишь только Виктория вышла из машины, Джейн подошла к ней, дружески обняла за плечи и повела в дом.

Ян провел мужчин в огромную гостиную их двухэтажной виллы. Перед камином уже был накрыт столик с сэндвичами и кофе. Генри слишком устал, есть ему не хотелось. Только кофе. Пока Виктория была наверху, состоялся военный совет. Фотограф сообщил, что им не следует приезжать на место раньше 6.40 утра.

— Нужно, чтобы за спиной у нее вставало солнце, когда она будет подходить к дому. А еще лучше, если его лучи проникнут через окна в дом. Восход в 6.27, кладите еще хотя бы десять минут, и тогда можно двигаться к дому.

Генри посмотрел на часы. Было только 2.46.

— Что нам прикажешь делать еще четыре часа? До Веро-Вич и Джон-Айленда совсем недалеко.

Кто-то заметил:

— Надо задержать ее здесь по крайней мере до трех. Не думает же она, что отец сидит всю ночь напролет, поджидая ее?

— Не знаю, что она думает, — сказал Генри, —

но знаю, что этой встречи она ждала всю жизнь. Не представляю, как ее здесь удержать.

— Перестань, Генри. Тебе не впервые делать такие материалы. Что-нибудь придумаешь.

— Наверное, — кивнул Генри.

Виктория спустилась вниз в пять минут четвертого. Она приняла душа и сделала макияж. Уложенные Джейн Галдер чистые высушенные волосы мягкими волнами ниспадали на плечи. Она вопросительно взглянула на Генри.

Он подошел к ней:

— Вы выглядите прелестно. Ваш отец будет горд.

— Надеюсь. Я больше не надену парик, Генри.

— Ну конечно, — улыбнулся он.

Ян Галдер подвинул ей чашечку кофе и тарелку с сэндвичами. Виктория попыталась отказаться.

— Нам пора ехать, — сказала она по-русски.

Генри возразил, что время еще есть, а ей необходимо перекусить.

— У нас впереди еще несколько часов езды.

Было 3.30 утра, когда они вышли из дома Галдера. Похолодало, и, забравшись в белый «линкольн», Виктория запахнула пальто. Генри уселся рядом.

Первая машина отъехала от тротуара и двинулась к пролегающей неподалеку автотрассе. Было темно и пустынно.

— Мне кажется, что мы едем медленнее, чем прежде? — спросила Виктория.

— Вряд ли, — ответил Генри. — Вам, должно быть, кажется потому, что вы очень волнуетесь.

## ВИКТОРИЯ

Сама не знаю почему, я не отрываясь смотрела в окно. Все равно ничего не было видно — лишь

мелькали иногда в кромешной тьме выхваченные светом фар пальмы. Но я по-прежнему вглядывалась в ночь, словно ожидала в любой момент увидеть табло с надписью: «Здесь живет твой отец».

Жалко, что я не переоделась в платье. Ну ладно, хоть волосы привела в порядок, уже что-то.

Внезапно впереди показались огни, и передняя машина остановилась возле какого-то дома.

— Что там? — спросила я Генри.

— Ночной ресторан.

— Но ведь мы только что поели? — удивилась я.

Открывая дверцу машины, Генри поглядел на часы.

— Сейчас выясню.

Он направился к передней машине. И тут же вернулся.

— Одному из парней захотелось яичницы с беконом.

— Сейчас? — Я почувствовала, как все у меня внутри напряглось. Я не верила своим ушам. Я провела в пути черт те сколько часов, наконец-то нахожусь почти рядом с отцом, а теперь они хотят, чтобы я сидела и спокойно смотрела, как один из них поглощает яичницу с беконом!

Генри прошептал мне на ухо:

— Насколько я знаю, у него что-то вроде диабета. Ему обязательно надо есть через определенные промежутки времени, не то все кончится весьма печально. Вы должны понять.

И мы направилась к ресторану. Кроме нас, там никого не было. Генри усадил меня спиной к входной двери, а больной фотограф заказал яичницу с беконом и кофе. Для меня Генри попросил принести кофе.

Казалось, прошла целая вечность, пока готовили яичницу, а потом, клянусь, я еще не видела человека, который ел так медленно, отщипывая один за

другим крохотные кусочки. Я не спускала глаз с настенных часов, глядя, как стрелки приближаются к пяти. А он все ел.

Мы ушли из ресторана только в двадцать минут шестого. Я с трудом подавила желание подойти к фотографу и залепить ему пощечину. Дожидаясь, пока он кончит есть, я выпила две чашки кофе и выкурила бог знает сколько сигарет.

Наконец мы снова тронулись в путь — три машины на ночной пустынной автостраде, и тут-то заявил о себе выпитый кофе. Мне необходимо было заглянуть в туалет. Я старалась думать о чем-нибудь другом, только бы не делать еще одной остановки. Вдруг кому-то вновь захочется яичницы с беконом, и я так никогда и не встречу с отцом.

И все же мне пришлось признаться Генри. Он наклонился к шоферу.

— Немного впереди будет площадка для отдыха.

Шофер посигналил машине, идущей впереди. Подъехав к площадке, он снова посигналил и, включив указатель поворота, въехал на стоянку. Все вышли из машин. Я отправилась в женский туалет и, войдя в кабинку, повернула затвор.

Когда пора было выходить, я попыталась открыть затвор. Он не открывался. Я крутила его и так и эдак, но все было напрасно. Сама же дверь оказалась так плотно пригнана к полу, что проползти под ней при всем желании было невозможно.

Я была близка к истерике, не зная, то ли смеяться, то ли плакать. Двадцать девять лет ожиданий — и нате вам: заперта в туалете. Я принялась было колотить в дверь, но никто меня не слышал.

И тут я увидела, что затвор вовсе не надо поворачивать — он двигался вверх и вниз, опускаясь в специальный паз. Я приподняла его, и дверь легко открылась. Рассмеявшись, я вышла из кабинки.

Наш караван снова тронулся в путь. Через не-

сколько миль Генри указал мне на приближающийся дорожный знак.

— Это Веро-Бич. Остров, на котором отец ждет вас, совсем от него близко.

Я почувствовала, как все у меня внутри перевернулось, и меня охватила дрожь. Я разрыдалась. Рыдания вызывали сильную боль в груди, но сдерживать их я не могла.

Генри обнял меня:

— Что с вами? Скажите.

— Я боюсь, я боюсь...

— Успокойтесь, — сказал он, потрепав меня по спине. — Это же самый счастливый день в вашей жизни. Вам нечего бояться.

— Я знаю, — сказала я, все еще рыдая.

Генри протянул мне носовой платок.

— Если ваш отец увидит красные глаза, он решит, что его дочь просто кролик.

Глубоко вздохнув, я сжала зубы, пытаюсь унять слезы.

— Ну вот, кажется, лучше. Все прошло.

Я вытерла слезы.

И увидела океан и высокие стройные пальмы, раскачивающиеся на ветру. Далеко-далеко на горизонте виднелась едва наметившаяся полоска света, словно серебристо-розовый отблеск на поверхности океана.

— Светает, — сказал Генри, и я почувствовала, что машина замедляет ход.

— Мы приехали? — спросила я.

— Почти, — ответил Генри.

— Тогда почему мы едем так медленно?

Генри снова посмотрел на часы.

— Шофера передней машины уже один раз оштрафовали в Веро-Бич за превышение скорости. У них здесь очень строгие правила, поэтому

надо соблюдать осторожность, не то потеряешь права.

Полоска света на горизонте, там, где вода встречается с небом, все расширялась, и вот уже оранжево-розовое зарево окрасило небосвод. До меня донеслось щебетание проснувшихся птиц.

Мы подъехали к небольшому домику из белого камня, из которого вышел мужчина в белой фуражке.

— Кто это? — спросила я у Генри.

— Охранник Джон-Айленда.

Охранник обменялся несколькими словами с шофером передней машины и показал, куда ехать. Мы снова тронулись в путь.

## ГЕНРИ ГРИС

От виллы, где нас ждали Джексон Тэйт, его жена и по меньшей мере один фотограф из «Инквайер», нас отделяла всего лишь коротенькая подъездная аллея, а нам нужно было как-то протянуть десять минут, остававшихся до восхода солнца.

Генри проверил номера видневшихся в парке вилл. Джексон Тэйт ждал их в первой. Вилла, приготовленная для Виктории, была рядом. Генри велел шоферу подъехать ко второй. Повернувшись к ней, он сказал:

— Сначала мы подъедем к вилле, где будете жить вы. Она рядом с виллой вашего отца, вы попудритесь, чтобы он не заметил следов слез, а уже оттуда мы отправимся к нему.

Виктория кивнула. Казалось, она утратила дар речи.

Машина подкатила к вилле № 39 по Силвер-Мосс-драйв. Навстречу им выбежала тоненькая брюнетка. Генри помог Виктории выйти из машины.



— Это Дайана Олбрайт — Ди-Ди, она будет вашей компаньонкой и секретарем. Ди-Ди, почему бы тебе не проводить Викторию в дом и не помочь ей привести себя в порядок? А я тем временем посмотрю, готов ли к встрече ее отец.

Генри постучал по своим часам, показывая их Ди-Ди:

— Я приду за Викторией ровно через десять минут, понятно?

Генри пересек лужайку у дома № 40. В дверях он столкнулся с одним из репортеров, другой сидел в нише, оборудованной телефоном прямой связи с редакцией «Инквайрер». В дальнем конце комнаты на диване сидела, теребя носовой платок, Хейзл Тэйт. Посредине гостиной стоял Джексон Тэйт, широко расставив ноги, словно на капитанском мостике в шторм. На нем была яркая спортивная рубашка — из тех, которым он явно отдавал предпочтение.

— Ну, Генри? — крикнул он, и голос его прозвенел как натянутая струна. — Где же она?

Подойдя к адмиралу, Генри пожал ему руку.

— Наводит последний марафет, чтобы понравиться вам.

Джек покачал головой.

— Чертовски трудный день, Генри. Чертовски трудный.

— Нервничаете, адмирал?

— А вы как думаете? — фыркнул Джек. Он хлопнул себя по животу. — Понимаете, я ведь уже совсем не тот человек, о котором ей рассказывала мать. Надеюсь только, что она не ждет слишком многого.

Генри похлопал его по плечу.

— Она ожидает увидеть отца, которого уже любит, только и всего.

— Надеюсь, — сказал Джек.

Лучи восходящего солнца золотили окна.

— Пойду приведу ее, — сказал Генри.

## ВИКТОРИЯ

Генри спросил, готова ли я.

— Он ждет вас.

Я кивнула, не в силах произнести ни слова. В горле стоял комок.

— Не хотите снять пальто?

Я покачала головой. По какой-то непонятной причине оно было мне сейчас совершенно необходимо, это пальто из Москвы. Оно стало моим защитным покрывалом, словно рядом была мамуля, охраняя меня.

Генри взял меня за руку, и мы двинулись по дорожке к стоявшему рядом дому. Я глядела на позолоченный лучами восходящего солнца океан. Золото тотчас расплылось, растеклось по поверхности нечетким пятном — это я боролась с вновь подступающими слезами. Мне не хотелось, чтобы отец увидел их.

Дорожка делала поворот к открытой настежь двери. Кажется, за нами следом шли фотографии, потом я заметила, как кто-то с камерой в руках вбежал в дом, опередив нас, но я ни на кого не обращала внимания, я видела только эту дверь, надвигавшуюся на меня — все ближе и ближе. За ней был мой отец, мой папочка, которого я ждала всю жизнь. Уже почти на пороге я почувствовала, что у меня подкашиваются ноги, и стала медленно валиться на землю.

Генри крепко обнял меня, удержав от падения.

— Я не могу, — прошептала я. — Не могу.

— Вы должны, — сказал Генри. — Ради этого момента вы летели тридцать три часа и пересекли два континента. Осталось сделать всего несколько шагов.

С усилием оттолкнувшись от земли, я с помощью Генри заставила себя сделать шаг.

— Отлично, — сказал он. — Идите, идите.

С каждым его словом я делала по шагу. Наконец мы дошли до двери. Передо мной открылась комната, и я увидела мужчину в яркой нелепой рубашке, протягивавшего ко мне руки. Он плакал.

Я шагнула ему навстречу и почувствовала себя в его объятиях. Я тоже заплакала. Мы просто стояли, обняв друг друга, и, не говоря ни слова, рыдали. Наверное, для нас обоих этот момент оказался слишком важным.

Молчание нарушил Генри.

— Послушайте, адмирал, а ведь с вас десять целковых!

— Вы правы, черт вас возьми, — сквозь рыдания выговорил отец. Потом и поцеловал меня, и тут я снова залилась слезами.

— Папа, папа, папа... — твердила я.

— Ш-ш-ш, ш-ш-ш, девочка, теперь все в порядке, я с тобой. — Он похлопал меня по спине, словно маленького ребенка. Потом прижал губы к моему уху и тихонько, чтобы никто не слышал, стал напевать мелодию вальса из «Цыганского барона» — песню любви, которая много-много лет назад соединила их с мамулей.



## ЭПИЛОГ

Генри Грис и «Нэшнл инквайер» успешно осуществили свой план, получив исключительное право на освещение встречи Виктории с отцом. В течение трех недель они держали их в уединении на Джон-Айленде, пока в «Инквайер» не появились три большие статьи об этой встрече со множеством фотографий. После этого состоялась пресс-конференция, на которой представители остальной прессы получили доступ к уже опубликованной в «Инквайер» информации. Сейчас Генри Грис возглавляет отдел специальных корреспондентов в «Нэшнл инквайер». Проживает в Калифорнии.

7 июня 1975 года Виктория Федорова вступила в брак с Фредериком Ричардом Пуи, вторым пилотом компании «Пан-Америкен уорлд эйруэйз». Они познакомились на приеме, данном в честь Виктории в Нью-Йорке. Пуи узнал о желании Виктории встретиться с отцом из публикации в журнале «Пипл». Он написал Джексону Тэйту письмо, в котором сообщил, что часто летает в Москву и почтет за честь выполнить любое поручение адмирала. В Соединенных Штатах Виктории подарили пуделя по кличке Моряк, которого ей очень хотелось взять с собой в Москву, и адмирал вспомнил про второго пилота из «Пан-Америкен», попросив послать Пуи приглашение на прием.

Чета Пуи проживает в Южном Коннектикуте вместе с сыном Кристофером Александром (которо-

го так назвали в честь отца Фреда Пуи и тети Виктории), родившимся 3 мая 1976 года. Вместе с ними живет и пудель Моряк.

Зоя Федорова живет, как и прежде, в Москве, и по-прежнему пользуется популярностью как актриса кино. Раз в год ей предоставляют визу на трехмесячную поездку в Штаты для встречи с дочерью, зятем и внуком.

27 апреля 1976 года Зоя повидала наконец своего Джексона во время очень короткого визита к нему в Оранж-парк. Говорили они в основном о дочери и о внуке, которому предстояло вскоре появиться на свет. Больше они никогда не встречались.

Доктор Ирина Керк по-прежнему преподает в Университете штата Коннектикут. Она регулярно перезванивается с Викторией, время от времени они встречаются.

Джексон Роджерс Тэйт умер от рака 19 июля 1978 года в возрасте 79 лет. Он принимал деятельное участие в работе над той частью книги, которая касается его лично. Он успел прочесть первую половину рукописи, но не дожид до выхода книги в свет.



Воспоминания Виктории Федоровой обрываются в тот момент, когда ее мать Зоя Федорова была еще жива и радовалась предстоящей встрече с дочерью и внуком в Америке. Но судьба распорядилась иначе: она трагически погибла от рук убийцы. Преступление это до сих пор не раскрыто. Мы сочли возможным поместить вместо послесловия рассказ Юрия Нагибина, мастерски написанный и психологически тонкий — художественную версию случившегося. Разумеется, это прежде всего именно версия, версия писателя, а не выводы следствия. Перефразируя известный афоризм, можно сказать: когда молчит прокуратура, слышны музы.

Юрий Нагибин

## АФАНАСЬИЧ

*Рассказ*

Праздник по обыкновению удался. Его ритуал был раз и навсегда установлен еще в те давние времена, когда страна впервые отмечала День своих покоезащитных органов. Сперва Шеф душевно поздравил собравшихся и тех, кто по служебным заботам не мог присутствовать на вечере, потом его первый заместитель сделал получасовой доклад, в конце торжественной части зачитывались приветствия, а после короткого перерыва был дан большой концерт лучшими московскими силами. Программа концерта тоже не менялась: па-де-де из «Лебединого озера», ряд популярных эстрадных номеров — акробатика, жонглирование, фокусы, русские пляски, пародии на известных артистов, советские песни, военные и лирические, а завершалось все выступлением знаменитого тенора, который медленно выходил из-за кулис и вдруг раскидывал руки, словно хотел обнять весь зал, и с широчайшей силой, удивительной в сильно пожилом человеке, моляще-требовательно призывал присутствующих сеять разумное, доброе, вечное. И когда расплавленным серебром изливались последние слова: «Спасибо сердечное скажет вам русский народ», Афанасьич неизменно пус-

кал слезу и наклонял голову, чтобы другие не заметили его слабости. Уловка не помогала, люди подталкивали друг дружку локтями, кивали на плачущего оперативника, но делалось это с доброй душой — Афанасьича любили и уважали, никому и в голову не приходило потешаться над милой и трогательной чувствительностью человека такой закалки.

Сморгнув слезы, Афанасьич украдкой следил за красивыми жестами певца. Дав истаять последней ноте, певец резко поворачивался к единственной ложе и делал такое движение, будто хотел пасть на колени в экстазе мольбы. И тогда Шеф делал ответное условное движение, имеющее якобы целью удерживать артиста, не дать ему грохнуться стариковскими коленями на помост. Артист как бы против воли оставался на ногах, лишь ронял в глубоком поклоне голову с зачесанными через лысину пушистыми белыми волосами. И зал, восхищенный артистизмом обоих участников пантомимы, взрывался аплодисментами.

И на этот раз действие развивалось, как положено. С удовольствием наблюдая за скрупулезно выверенным поведением артиста, Афанасьич вдруг озадачился его возрастом. Он уже был седым стариком, когда Афанасьич увидел его впервые. А ведь минуло четверть века, если не больше. Как сдали за эти годы все остальные непрременные участники концерта. Беспощадным оказалось время к балетной паре: партнер едва удерживал на руках жилистое, потерявшее гибкость тело балерины, и страшна была ее улыбка, напоминающая оскал черепа; жонглер ронял шары и булавы, заменяя былую ловкость, покинувшую подагрическое тело, лихими вскриками, изящными поклонами и воздушными поцелуями. Старость не пощадила никого, но аудитория все равно любила их и не хотела менять на молодых. Здесь



умели чтить традицию. Лишь над этим седым Орфеем быстротекущее было не властно.

Афанасьич еще думал о загадках времени, когда артист повернулся к ложе и — незаметно для людей средненаблюдательных и более чем отчетливо для острого глаза Афанасьича — удержался от условного коленопреклонения. Афанасьич оценил реакцию старого сценического волка, успевшего заметить, что сумеречная глубина ложи не скрывает осанистой фигуры Шефа, и посчитавшего ниже своего достоинства тратить самоуничижительный жест на его зама. Артист при его высочайшей репутации мог бы и перед Шефом не гнуться, если бы тот не был личным и задушевым другом Самого. Поэтому условное коленопреклонение относилось не столько к Шефу, сколько к его Другу. Тут скользящая память Афанасьича за что-то зацепилась. Он вспомнил, что певец стал участником праздничных концертов после того, как его обокрали. У него похитили старинные иконы, которые он собирал чуть не всю жизнь. Он заявил о пропаже, был принят Шефом, спел на концерте. Через некоторое время часть его коллекции нашлась. Артист снова отдался своей страсти. Больше его не трогали. Уже на следующем концерте был узаконен жест мольбы и благодарности.

Артист ушел со сцены на своих длинных, стройных ногах. Афанасьичу его походка показалась чуть тяжелее обычного. Наверное, он был разочарован отсутствием Шефа. Тот ушел сразу после торжественной части. Ему бы вовсе не приходиться — на расстоянии паром дышит. Но Шеф всегда был таким — всё для людей. Он знал, что без его доброго слова и праздник не в праздник. В таких случаях даже жена не может его удержать, а для него нет выше авторитета.

И до чего же по-глупому, по-досадному простудился Шеф. В воскресенье это было. Шеф пообедал

в кругу семьи, а затем поспорил о чем-то с зятем. Башковитый мужик, в тридцать два года доктор философских наук, зам. директора Лесотехнического института, но с закидонами: обо всем свое мнение хочет иметь. Ну, а Шефу это, естественно, не по душе, он куда старше и несравнимо опытнее — какую жизнь прожил: из ремесленников на самый верх номенклатуры! Шеф, как и Сам, кончал машиностроительный техникум, который впоследствии стал институтом, поэтому официально считается, что оба они инженеры. Но разве дело в дипломах, в бумажках? Шеф любому академику сто очков вперед даст. Ну, а зять в своем молодом глупом гоноре не хочет этого понять. Не ценит отношения. Когда на управление пришли «мерседесы» — двести двадцаток последнего выпуска. Шеф первым делом позаботился о зяте, а другую машину выделил овдовевшему тестю, чтобы была игрушка одинокому старику. Сам же остался при «Феррари» чуть не трехлетней давности. Нынешние молодые все принимают как должное, никакой благодарности не чувствуют. Разругались вдрызг, и Шеф, чтобы унять расхолодившиеся нервы, поехал прокатиться на своей развалюшке. Выехал на Садовую, довольно пустынную по воскресному дню, только разогнался маленько, чтобы свеяло с души обиду, как свисток. Подходит гаишник лопухий: превышение скорости, давайте права. Шефу до того смешным показалось, что у него права спрашивают, что он даже не обиделся. Видать, совсем молодой чувачок, начальство в лицо не знает. Шеф ему так со смешком: попробуй на такой машине без превышения ехать, это ж зверь! Ладно, больше не буду, повинную голову меч не сечет. А этот чудила заладил: права, права — и всё тут. У Шефа, конечно, никаких прав с собой нет, он уехал, как был: в брюках и полосатой пижамной куртке. Вот тебе права! — и сунул ему шиш под нос. А гаиш-

ник тоже с гонором: вылазь из машины, ты в нетрезвом виде. Пойдешь на рапорт. Тут Шеф всерьез озлился: не на придирки, а на непроходимую тупость парня. Любой дурак на его месте давно бы сообразил, кто перед ним. Много ли в Москве людей на «феррари» ездит да еще с превышением и без прав? Шефу противно стало, что в его системе такой охладмон работает. Он распахнул дверцу, вышел из машины. «Ты как смеешь меня тыкать? Пусть я все правила нарушил, обязан мне «вы» говорить. Тебя чему учили, дуботол? Гнать тебя в шею из ГАИ!» Тут парень наконец увидел генеральские лампы и заткнулся. Но коли Шеф разойдется, его не остановишь. В общем, парня в тот же вечер отправили в Потьму, а Шеф, бедняга, зачихал и заперхал, еще бы — на дворе ноябрьская стынь, а он в тапочках.

И с каким-то особым теплом вспомнилось Афанасьичу, что он увидит сегодня Шефа. Никто из присутствующих не увидит: ни замы, ни помы, ни другие начальники, а он увидит, хотя человек маленький, в сорок восемь лишь до капитана дослужился. Впрочем, он не считал свое звание таким уж низким. Когда после детдома его призвали в армию и направили в органы правопорядка, то и звание старшины казалось недостижимым. Он не принадлежал к числу бойких умников, расторопных ловкачей, умеющих быть на глазах, брал только исполнительностью. Правда, любое задание ему надо было подробно растолковать, «разжевать», говорили нетерпеливые начальники, иначе он не терялся даже, а бездействовал, как механическая игрушка, которую забыли завести. Но если толково и подробно объяснить, что к чему, у Афанасьича не случалось ни промаха, ни осечки, как и на учебных стрельбах. Это было еще одно качество, обеспечивающее счастливую, хоть и скромную службу Афанасьича. Верный глаз и твердая рука

делали его непременно участником различных соревнований по пулевой стрельбе, где он неизменно завоевывал призы. Начальству это, естественно, льстило: кубки, бронзовые статуэтки и вымпелы Афанасьича украшали клубный музей славы. Но чуждый спортивного честолюбия и сильно загруженный Афанасьич был рад, когда его освободили от участия в соревнованиях. Тренировок он, впрочем, не бросал, держал себя в форме. И сейчас, на пороге пятидесяти, Афанасьич был крепок, как кленовый свиль, и надежен, как мельничный жернов. И все же только нынешний Шеф угадал, что Афанасьич годен на что-то большее, нежели обычная рутинная служба с ночными дежурствами, топтанием возле ресторанов и других опасных мест человеческого скопления, и вечный старшина Афанасьич за десять лет прошел путь до капитана. Красивое, хорошее звание, другого ему и не надо.

Афанасьич вышел из зрительного зала. В фойе попискивали скрипочки, побрякивали трубы — музыканты настраивали инструменты. Праздничные танцы в клубе всегда проходили под оркестр, хотя тут имелась превосходная японская техника. Но разве сравнить по чистоте и нарядности звука живые инструменты с проигрывателем. Афанасьич даже в молодые годы не был любителем шаркать ногами, он спустился в буфет, где собиралась публика посOLIDнее.

Его появление было сразу замечено. Послышалось: «Афанасьич, к нам!»... «Афанасьич, белого или сухарика?»... «Афанасьич, просим к нашему шалашу!»... «Афанасьич!... Афанасьич!...» Афанасьича замечали в любом многоядстве: в буфете или в концертном зале, на собрании или в зоне отдыха, куда выезжали по воскресеньям целыми семьями. Афанасьич не обладал привлекающей внимание внеш-

ностью: среднего роста, бесцветный, лысый, рыжловатый; последнее было обманчивым: глянешь — тюфяк, тронешь — гибкая сталь. Он как-то растворялся в окружающем, но сослуживцы узнавали его спиной. И вот уже тянутся со стаканами, бокалами, рюмками. Культяпый нос Афанасьича чует запах гнилой соломы — виски, раздавленного клопа — просковейский коньяк, мочи — московское пиво, бензина — столичная, матушка. Хочется отведать и того и другого, но нельзя: он перед делом никогда не пьет, ни грамма, хотя на редкость крепок к выпивке. Впрочем, эту свою крепость Афанасьич ни разу не подвергал серьезной проверке, будучи по природе своей трезвенником, но твердо знал, что его с ног не собьешь. Он любил жизнь в ее чистом, незамутненном виде: работу, сослуживцев, Шефа, последнего до обожания, свою опрятную, как у девушки, однокомнатную квартиру, телевизор, особенно фильмы о войне, хорошие книги про шпионов, репродукции в «Огоньке» и оперетту. Женщины для него не много значили. А может, справедливо другое: слишком много значили, он всегда был влюблен в какую-нибудь недоступную красавицу: в Софи Лорен, английскую королеву, Эдиту Пьеху или Галину Шергову. Впрочем, один женский образ преследовал его с молодых дней, когда в кинотеатре повторного фильма он посмотрел довоенную картину о зажиточной и веселой колхозной жизни. Героиня фильма, задорная, с темной, как смоль, головой, дерзко вздернутым носом и легкой, доброй улыбкой стала такой же властительницей его сердца, как Дульсиня Тобоская — сердца Дон Кихота. Правда, Рыцарь Печального Образа и помыслить не мог о другой женщине, Афанасьич же допускал совместительниц. Но остальные воображаемые возлюбленные как бы накладывались на этот изначальный, фоновый образ, ничего

не отнимая у него, а подруги из живого тела не имели над ним власти. Лишь эфемерные образы владели его душой, делая ее сильнее и чище. Не питая иллюзий, он хотел быть достойным своих избранниц и не расходовал себя на плоскую обыденщину.

В последние годы он довольствовался вдовой летчика-испытателя, называя ее в интимных мужских беседах: «одна чистая женщина, которую я навещаю». Эта женщина, его ровесница, выглядела намного моложе своих лет, была опрятна, обходительна, ничего не требовала, сама ставила бутылку и ужин и при этом смотрела так, будто Афанасьич ее облагодетельствовал. Однажды Афанасьичу захотелось выяснить, чем он сумел так обаять чистую женщину, которую навещал. Она долго думала, наморщив маленький лобик, а потом сказала застенчиво: «Вы непьющий». Странное дело, Афанасьич никогда не мог вспомнить, как она выглядит. Возникал некий женский абрис и тут же заполнялся чертами его Главной избранницы, той, что просвечивала сквозь все иные прелестные и недоступные образы. Никто, конечно, не подозревал, что пожилой капитан, недалекий исполнительный службист, скучноватый в общении, но заставляющий уважать себя за спокойную надежность и прямоту поведения, живет в идеальном мире, сотканном его воображением.

Афанасьич мягко отверг все предложения выпить, ребята не настаивали, сразу поняв, что в день, когда им положено отдыхать и веселиться, Афанасьичу надо выполнять ответственное задание. Его всегда удивляла чуткость, с какой его сослуживцы угадывали такие вещи. Мало ли почему человек, и вообще-то почти не пьющий, отказывается от рюмки: голова болит, устал, в гости собрался, но они безошибочно распознавали ту единственную причину, которая исключала уговоры. Вот и сейчас разом

отстали, но в их потеплевших взглядах читались понимание и ласка.

Он еще немного потолкался среди своих, как бы заряжая их теплом, их дружеским участием. Не потому, что нуждался в поддержке, он всегда полагался только на самого себя, а потому, что был теплым человеком, отзывчивым на всякое добро. При этом он не имел близких, друзей, и это тоже коренилось в его идеализме. Афанасьич боготворил Шефа, находился в постоянном внутреннем общении с ним, на других просто не оставалось чувства.

Афанасьич чурался услуг служебных машин. Даже маленькие привилегии, которыми не располагает простой народ, разлагают душу, а Афанасьич заботился о своей душе. Да и хотелось пройтись неспешно по вечернему осеннему городу, еще раз пережить в себе праздник и настроиться на встречу с Прекрасной Дамой. Да, жизнь так богата и непредсказуема, что свела скромного капитана с экранным Чудом, явившимся ему четверть века назад.

Тот старый фильм был черно-белый, и Афанасьичу пришлось самому дописывать ее облик, наделяя его красками. Он был уверен, что черные ее волосы отливают вороненым блеском, смутлые скулы рдеют, полные губы румяны, что радужки глаз жемчужные, а не серые и не голубые. Ее длинные ресницы круто загибались вверх, открывая все глазное яблоко. Афанасьич никогда не встречал такого распахнутого, открытого, не таящего ничего про себя взгляда.

Его удивляло, почему он раньше не видел фильмов с этой артисткой, ведь она была знаменитостью еще до войны. Оказывается, в сорок шестом ее посадили, поэтому фильмы с ее участием были запрещены. Позже, уже в эпоху волюнтаризма, выяснилось, что посадили ее зря — это было проявлением культа личности. Ее выпустили, реабилитировали, она опять стала сниматься, правда, уже в других ролях.

Теперь она играла не юных комсомолок, а женщин в возрасте: больничных нянечек, магазинных кассирш, ткачих со стажем, заведующих молочными фермами. Она несколько пополнела, утратила летучую стройность, как-то осела, но осталась улыбка, остались широко распахнутые глаза, а нос все так же задорно смотрел в небо, утверждая, что владельце его все нипочем. И чувство Афанасьича к ней не уменьшилось, хотя стало несколько иным: меньше сосущей тяги к недостижимому, больше сердечности, участия, какой-то уютной теплоты. Он смотрел на экран, где она уже не любила, не страдала, не ждала, как прежде, а ругалась, командовала, переживала за порученное дело или за непутевую дочку. Афанасьич смотрел на экран и шептал: милая, милая, милая!.. Она правда была милая, но всю милоту ее Афанасьич постиг, когда встретился с ней не на экране, а в настоящей, непридуманной, но чудесней всех сказок жизни. Скажи ему кто раньше, что это возможно, Афанасьич и спорить не стал бы, разве что улыбнулся б грустно или пожал плечами. Но жизнь такие номера откальвает, что ни в каком кино не увидишь.

Это случилось совсем недавно. За минувшие годы ее дочь выросла и года два назад перебралась на постоянное местожительство за рубеж. Никаких препятствий ей не чинили. Да и какие могут быть препятствия при коллективном руководстве и возвращении к ленинским нормам? Дочь огляделась, люто затосковала по матери и принялась звать ее к себе. Та долго не решалась покинуть родину. После долгих уговоров съездила в гости, покаталась по стране, согрелась возле дочки и вернулась домой. Снова снималась, выступала в концертах и вдруг разом собралась в отъезд. Это как-то странно совпало с исчезновением ее собаки, пудельки Дэзи, сучонки дипломированной, лауреата разных международных



и союзных конкурсов. Неужели только Дэзи ее держала? Старой собаке не перенести было перелета. Так или иначе, едва Дэзи пропала — может, украли, а может, помирать ушла, старые породистые собаки не хотят кончаться на глазах любимых хозяев, жалея их, и находят себе укромное место, — артистка сразу подала бумаги в ОВИР. Ее не удерживали.

Она уже взяла билет, когда Афанасьич зашел к ней узнать, все ли в порядке. Она была удивлена таким вниманием, но Афанасьич объяснил ей, что ничего странного тут нет: она человек знаменитый, и о ней проявляют заботу. Надо, чтобы она благополучно уехала. В наше время все возможно: любые провокации, врагам хочется еще больше накалить мировую ситуацию. Похоже, она ничего толком не поняла, но испугалась — все же человек битый. Но старалась вида не показывать, смеялась, тарасила свои жемчужные глаза и приговаривала: «Кому нужна старая баба?» «Какие же вы старые?» — сохлым от волнения голосом возражал Афанасьич. Он чувствовал: она знает, что нравится ему. Если бы она знала, чем на самом деле является для него!.. Она брала его за руку, говорила, что с таким защитником ничего не боится. Он просил ее быть осторожнее, держать дверь на цепочке и не открывать незнакомым людям. Уходя, проверять замки, а еще лучше не оставлять квартиру пустой. Она продолжала смеяться, и, похоже, ей была приятна его забота. Она предложила выпить по рюмке коньяка за знакомство. «Я на работе», — напомнил Афанасьич.

Он ушел со смятенным сердцем. Ему уже не хотелось вспоминать, какой она была в молодости, она была прекрасна ему в своем нынешнем образе, другого не нужно.

Удивительно пригожая стояла осень. Ноябрь — самый дождливый и неприятный месяц в Москве.

Особенно в последние годы. Уже в первой декаде начинает сыпаться снег, когда крупяномелкий, он сразу истаивает, едва коснувшись земли, когда большими медленными хлопьями, плавно опускающимися на асфальт, крыши, деревья, пешеходов. Но и это белое убранство недолговечно, быстро исходит в слякоть. А сейчас город был сух и опрятен, слабый теплый ветер порой шуршал по асфальту черным сухим листом, деревья все еще не отряхнулись. Хорошо было идти притихшим вечерним городом. Афанасьич впервые обратил внимание, как пустынна Москва даже в погожий субботний вечер. Начало десятого, а город словно вымер, редко-редко мелькает торопливая фигура прохожего, гуляющих и во все не видать. А с другой стороны, чего по улицам слоняться — не весна, не лето. Люди сидят дома, в тепле, смотрят телевизор, а молодые в кино, в дискотеках, и театры и рестораны заполнены — нормальная городская жизнь. И все-таки странной печалью тянуло от пустынных молчащих улиц, которым не прибавляли жизни автомобили и троллейбусы. И тревожно горели неоновые ядовито-зеленые и кроваво-красные письма, наделяя ночь косноязычной загадочностью: «апека», «парикхера», «астроном», «улочна», «ыры», «ясо», «светское шпанское». Афанасьич начал играть, что его занесло на далекую планету, где азбука та же, что у нас, даже слова похожие, но все же другие, и неизвестно, что они значат. Жаль, что все закрыто и не узнать, что такое в этом мире «ыры», «ясо» и «улочна». Тут инопланетянин, который при всех отвлечениях внешней жизни всегда был начеку, заметил, что опаздывает, и вскочил в автобус.

— Кто там? — послышался за дверью милый голос.

Афанасьич вобрал в себя его звучание, просма-

ковал интонацию, в которой было недоумение, капелька тревоги, но куда больше ожидающего любопытства. Как это похоже на нее, от каждого жизненного явления ждать какой-то нечаянной радости. Вот кто-то постучал в дверь — звонок не работал, — и она, дрогнув напряженными нервами, в следующее мгновение подумала сердцем — не рассудком — о чем-то добром.

— Кто там? — повторила она, и по голосу чувствовалось, что она приняла молчание стоящего за дверью человека за милую игру.

— Афанасьич, — сказал Афанасьич и улыбнулся, зная, что она тоже улыбнется.

Дверь отворилась, и улыбки двух людей встретились.

— Милости просим, — сказала она. — Вы обо мне совсем забыли. Думала, так и уеду, не попрощавшись.

— Как можно! — Афанасьич всплеснул руками. — Вы не думайте, что о вас забыли. Мы вас охраняли, за квартирой приглядывали.

— Заходите. — Она жестом пригласила его в комнату.

— Да ничего... — засмутился Афанасьич. — Я так постою.

— Будет вам! Тоже — красная девица!

Актриса видела, как неловко, застенчиво просовывается Афанасьич мимо нее в комнату — квартира была малогабаритной, и двум людям трудно разминуться в крошечной прихожей. Видела и все понимала про него: поклонник, один из тех, кто остался ей верен, полюбив по старым фильмам, когда она была смутлолицым чудом. Странно, что таких людей оказалось довольно много в самых разных слоях: ее радостно узнавали шоферы такси, продавцы магазинов, старые интеллигенты, пенсионеры, полунитские старухи-меломанки, реже всего граждане эпо-

хи рока. Конечно, и Афанасьич был из числа «ушибленных». «Охраняли!.. Приглядывали!» — передразнила она про себя. Рассказывай сказки. Придумал себе службу, чтобы на доярку Лизу вблизи поглядеть. Гляди на здоровье, больше не придется. Ей стало грустно. Ей и вообще было грустно с того самого дня, когда она решила ехать, поняв, что без дочки не проживет, но случались мгновения, самые непредсказуемые, и боль предстоящей разлуки шилом прокалывала сердце. Ну какое ей дело до этого и всех других мусоров? Зла особого она от них не видела, ей сломали хребет другие силы, но с тех пор всякий институт власти стал ей малопривлекателен. И ничего привлекательного в нем нет: мешковатая фигура, простецкое лицо, культяпый нос... нет, что-то располагающее все-таки было — в самой нелепости фигуры, в открытой и доверчивой некрасивости, в смешной застенчивости было что-то такое родное, что дух перехватывало. И до взвоя не хотелось лощеных, прилизанных, безукоризненно воспитанных и ловких джентльменов, пропади они пропадом! Нечто схожее она испытала утром, когда ее обхватила зеленщица в грязной лавчонке. И обхватила-то без нужды и повода, просто по пьяной разнузданности. Она хотела возмутиться и вдруг — уколом под лопатку: а ведь этого больше никогда не будет, ни вонючей лавочки, ни бледных капустных кочанов и черной картошки, ни сизого носа и сивушного дыхания, ни акающего московского говора: «Ишь, растапырилась! Паари еще, вабще не абслужу!» Сестра моя, родная кровью и бедой, никто не знает, кто из нас несчастнее. И она подумала об Афанасьиче: «Если он захочет поцеловать меня, пусть поцелует». Но знала, что тот не осмелится.

Они прошли в комнату. Она только начала собираться, но жилье уже потеряло обжитость и уют. На выгоревших обоях остались яркие квадраты от

снятых гравюр и фотографий. И люстры хрустальной уже не было, с потолка свисал лишь обрывок шнура, освещалась же комната настольной пластмассовой лампой. Не стало и персидского ковра, спускавшегося со стены на диван, и старинного чернильного прибора на маленьком дамском письменном столе. И вот по этой уже отлучившейся от ее существования комнате Афанасьич понял до конца, что она действительно уезжает, уезжает, и все тут, навсегда. Господи!.. Она его о чем-то спрашивала, он машинально отвечал, сам не слыша себя, только зная, что отвечает впопад.

Она села за столик. Афанасьич хотел присесть на стул, но загляделся на фотографию, висевшую над туалетным столиком. Он еще в первый раз заметил эту фотографию, а сейчас прицепился к ней взглядом, будто видел в первый раз. Доярка Лиза: платочек, челка, улыбка, комбинезон с лямками, легкая кофточка в цветочках.

— Что вы уставились, Афанасьич? — спросила она.

— Карточка...

Она засмеялась.

— Эту я вам не дам. Почему — секрет. Но есть похожая. Из того же фильма. Хотите подпишу?

— А можно?

Она открыла средний ящик стола, нашарила там карточку и стала надписывать. Афанасьич, как завороченный, шагнул к туалетному столику. Он оказался у нее за спиной и, оглянувшись, увидел ее голову, склонившуюся над столом.

Холодный ум, горячее сердце, твердая рука... Может, это и верно, но не для Афанасьича. К моменту, когда надо было нанести удар, ум его был так же раскален ненавистью, как и сердце. Эта ненависть сцепляет все существо человека в единый волевой клуб, дающий безошибочную верность глазу

и крепость руке. Промажнуться можно, стреляя в собственный висок, а тем паче с расстояния, пусть самого малого. Сука!.. Изменница!.. Сионистка!.. Все предала... заботу родины... бесплатное обучение и медицинскую помощь... конституцию... Октябрь... Первомай!.. Вот тебе заграница!.. Вот тебе дочь-невозвращенка!..

Слова будто взрывались в черепной коробке Афанасьича. Все, что втемяшивали в слабый детский мозг детдомовские воспитатели и учителя и что осталось незыблемым, как бы потом ни менялась жизнь, все, что совпадало с этими первыми и самыми прочными истинами из последующих научений, усиливая их непреложность, в должную минуту дарило Афанасьича небывалой цельностью, подчиняя его нервную, умственную и мускульную системы одному поступку и делая из него безукоризненный инструмент уничтожения.

Он мгновенно отыскал точку на затылке склонившейся над столом головы, где разделялись темные крашенные волосы, седые у корней, и в эту точку, в шив черепных костей направил выстрел. Пуля, разрушив мозг, выйдет через тонкую кость глазницы, не повредив при этом глаза. Он ее подберет, ибо никогда не нужно оставлять вещественных доказательств. Пусть ему ничего не грозит, но работать надо чисто.

Простреленная голова дернулась и ударилась о крышку стола, это было конвульсивное движение, женщина не успела осознать случившееся, не испытала ни испуга, ни боли, просто перестала быть. Теперь она никуда не уедет и ляжет в родную землю, как положено русскому человеку.

Половина дела была сделана. Афанасьич надел резиновые перчатки, какими пользуются на кухне опрятные хозяйки, достал из серебряного стаканчика, стоящего на столе, ключи от письменного стола

и отомкнул крайний верхний ящик. Он не сомневался, что искомое окажется там. В первый свой приход он заметил быстрый взгляд, брошенный хозяйкой дома на этот ящик. Не было хуже хранилища, но именно здесь должна была она держать свою драгоценность. Это вывернутая наизнанку осмотрительность: чтобы всегда была под рукой. Беспечная, шалавая, незащищенная, она не могла всерьез позаботиться о сохранности ценной вещи. А если бы и придумала для нее тайник, то наверняка не смогла бы потом найти. Зная себя, она боялась этого куда больше, чем неправдоподобного в ее чувстве жизни нападения злоумышленников.

Афанасьич вынул драгоценность, выслезившую ему глаза своим блеском, и пошарил в ящике в поисках футляра, но его не оказалось. Вот непутевая! — покачал головой. Он уже не чувствовал гнева, являвшегося при всей своей естественности рабочей предпосылкой. Он опустил драгоценность в карман пиджака, подобрал пулю, принес из кухни мокрую тряпку и тщательно вытер все предметы, на которых могли остаться его следы. Тряпку он выжал и повесил на батарею.

Вот вроде и все. Афанасьич надел пальто, шляпу, повязал шарф и в последний раз оглянулся на убитую. Она как будто спала, положив правую, поврежденную часть головы на столешницу. Волосы прикрывали рану, а другой глаз был широко открыт и, круглый, блестящий, жемчужный, таранился удивленно. Да ведь таким и всегда казался ее распахнутый взгляд. Последняя неожиданность жизни не успела стать переживанием.

Афанасьич подошел и осторожно вытащил фотографию из-под ее головы. «Милому Афанасьичу перед разлукой на добрую память». А расписаться не успела, только первую букву вывела, и острие

шариковой ручки проткнуло бумагу. Конечно, фотографию с капелькой крови следовало уничтожить, но может человек хоть раз в жизни сделать что-то для своего сердца, не думая о бесконечных правилах, предписаниях и запретах? Афанасьич стер кровь и положил карточку в партийный билет — для сохранности.

Надо было идти, он и так опаздывал, но что-то не отпускало Афанасьича. Он смотрел на любимое лицо и ждал. А потом понял, чего ждет. Смелости в себе самом, чтобы подойти и поцеловать ее прощально. Коснуться губами ее щеки возле носа на чистой половине, куда не вытекла кровь, почувствовать теплоту еще не остывшей кожи и тот нежный сладкий запах пудры и духов, что щекотал ему ноздри даже на расстоянии, и будет чем жить до самого конца. Но как же так — без разрешения?.. Воспользоваться ее беспомощностью... нет, этого он себе не позволит.

Он с усилием посмотрел на нее, повернулся и вышел, погасив за собой свет. На лестничной площадке снял резиновые перчатки, сунул их в карман, надел обычные кожаные, поднял воротник пальто и сбежал по лестнице. Он вышел из подъезда, пересек двор, не встретив ни одного человека.

Через двадцать минут он переступил порог квартиры Шефа.

— Что так долго? — недовольно спросил Шеф, собственноручно открывший дверь.

От него сильно пахло коньяком, но простуды как не бывало. Шеф умел выгонять каждую хворость с помощью винной терапии.

Был он в генеральских брюках и пижамной куртке — его любимый наряд на отдыхе. В таком виде он трапезовал в кругу семьи, принимал гостей, но сейчас дело шло к одиннадцати, к тому же Шеф был



простужен, и ему естественно было бы сменить брюки на пижамные штаны, а сверху накинуть халат. В его полумобилизованности проскальзывали тревога, готовность к действию. Неужели он допускает мысль, что Афанасьич подведет и придется вмешиваться?.. Горько сознавать, что тебе не доверяют.

— Так вот управился, — утрюмо сказал Афанасьич, проходя следом за Шефом в кабинет.

Сколько раз он тут бывал и не переставал поражаться великолепию этого музея, дворца, комиссионного магазина, не знаешь, как даже назвать. Красное дерево, бронза, хрусталь, ковры — под ногами, на стенах, на диванах, картины в золоченых рамах, гравюры, старинное оружие: мечи, кинжалы, пистолеты, щиты и копья. Даже рыцарский шлем был с золотым гребнем. А на письменном столе, опиравшемся на львиные лапы, — целая выставка: фигурки из мрамора, бронзы, дерева, малахита, шкатулочки с мелкими картинками, охотничий набор, нож и вилка в футляре из красного дерева, хрустальная чернильница с серебряной крышечкой, золотой резной стаканчик с гусиными перьями, какими еще Пушкин писал, фотографии в красивых рамках и самая большая цветная — супруги Шефа. Такая и только такая женщина может быть супругой Шефа. «Русская Венера» называют ее в управлении: вся розовая, сливочная, кремовая. Щеки румяные, губы алые, бровь соболиная, и ведь никакой косметики не применяет, вся натуральная. Она на двадцать лет моложе Шефа, значит, ей уже за сорок, а ей и тридцати не дашь. Говорят, что маленькая собачка до старости щенок, а жена Шефа дородна, осаниста, на полголовы выше мужа, и при этом легка на ногу, быстра, как ртуть, и даже гибка, хотя талию ее едва ли обхватишь. Когда она ходит с сыном и дочерью, то выглядит их старшей сестрой. Шеф наглядеться

на нее не может. Конечно, никому в голову не придет назвать Шефа подкаблучником, просто тут полное любовное взаимопонимание, когда двое чувствуют и думают, как один человек. А то, что Шеф любит подчеркивать свое смирение перед умом и вкусом «Мамочки», так это от растроганности души большого и сильного человека, не боящегося признать чужое, пусть и мнимое, превосходство. Говорят, Шеф не был счастлив в первом браке, жена сильно уступала ему по развитию. Это не было так заметно, когда Шеф учился в техникуме на инженера и делал первые служебные шаги, но в дальнейшем ее отсталость стала несовместима с его положением. И тут судьба улыбнулась Шефу, хотя оплатил он эту улыбку временной задержкой в продвижении по служебной лестнице. Аморалку приписали. На помощь пришел старый друг по техникуму.

— Докладывай! — сказал Шеф, и непривычно официальный, суховатый тон выдал его беспокойство.

Афанасьич расстегнул пальто и простецким жестом вытащил из кармана сверкающее чудо.

— Докладываю, — сказал он и, широко размахнувшись, положил драгоценность на зеленое сукно письменного стола.

Шеф посмотрел, зажмурился и двумя пальцами прижал заслезившиеся глаза.

— Да... — произнес он тихо, — умели в старину делать вещи...

Можно было подумать, что вся операция была затеяна, чтобы убедиться в мастерстве старых ювелиров. Шеф потрогал драгоценность, но в руки не взял.

— Ты чего в пальто? — обернулся он к Афанасьичу. — Небось не в забегаловке.

Афанасьич послушно снял пальто и шляпу.

— Да брось на кресло, — сказал Шеф и пошел к этажерке с книгами.

Основная библиотека Шефа: философские труды, собрания сочинений классиков русской и зарубежной литературы, книги по искусству и литературные произведения его Друга хранились в больших, тяжелых, наглухо закрытых шкафах красного дерева с бронзовой отделкой, а эта красивая этажерочка приютила литературу особого назначения. Шеф достал пухлый том в сафьяновом переплете и вынул из него квадратную бутылку, в другом томе оказались высокие серебряные рюмки. Шеф налил всклень и протянул рюмку Афанасьичу.

— Держи!

По напряженности руки и слишком сосредоточенному взгляду Афанасьич понял, что волнение еще не оставило Шефа. Неужто он до сих пор не постиг, что у Афанасьича проколов не бывает? Афанасьич мягкой рукой взял за донце налитую выше края рюмку, жидкость держалась поверхностным натяжением, приблизил губы и втянул коричневый колпачок.

— С праздником, — сказал Шеф. — Будь здоров!

Оба выпили, и Афанасьич опрокинул рюмку над лысиной, показав, что в ней не осталось ни капли. От второй рюмки Афанасьич отказался.

— Нельзя. Хочу еще в клуб заглянуть.

— Ну и что? В такой день не грех.

— Какой пример я дам молодежи? Надрался, скажут, старый пес.

— Голубь бы! — Шеф глядел умиленно. — По тебе вообще не видно, пил ты или нет. Полрюмочки!..

Они выпили. Афанасьич споловинил, Шеф взял целую. И сразу почувствовалось, что его отпустило. Он убрал бутылки и рюмки и присел на краешек письменного стола.

— Думал ли ты, Афанасьич, сколько ценностей ушло и до сих пор уходит из нашей страны?

— Много, поди.

— Очень много. Ужасно много. Непростительно много! Ты знаешь мою супругу. И знаешь, какой она культуры человек. Ведь все она. — Он обвел рукой вокруг себя. — Я-то технарь, винтики-шпунтики, сопроматы и рейшины. Потом уже, как с людьми стал работать, добрал маленько. Но рядом с Мамочкой — пентюх. А ведь она тоже институт культуры не кончала. Но знаешь, это дело такое... врожденное. Вот и про эту цацку, — он уже приручил драгоценность и свободно касался пальцами, — Мамочка разузнала. Ее разведка работает получше моей. И кабы не она, уплыло бы народное достояние на Запад. Ты не знаешь, Афанасьич, как нас обобрали капиталисты, пользуясь бедностью молодого Советского государства. У Хозяина-то не было иного выхода...

Взгляд Шефа скользнул в угол кабинета, где на тумбочке стояла в тени фотография «Ленин и Сталин в Горках». Афанасьичу всегда тяжело было смотреть на эту карточку, смонтированную из разных снимков. Когда два человека снимаются вместе, они либо смотрят друг на друга, либо в одну точку, а здесь их взгляды не фокусировались, как не сопрягались и позы. Афанасьича огорчало, что не потрудились сохранить настоящей фотографии вождей, когда они вместе. Ведь известно по старым замечательным фильмам, что Ленин шагу не мог ступить без Сталина.

— Не было другого выхода, — развивал свою мысль Шеф. — Страна задыхалась без валюты. И Рафаил, и Цициан, и этот, который весь черный, становились тракторами, машинами, станками. Индустриализация, одним словом. А что потом было? Расхищали страну, кто во что горазд. Хрущ разда-

рил фирмачам алмазный фонд, Катька Фурцева любому гастролеру Маневича совала. А Маневич, не поверишь, одни квадраты малевал, сейчас в той же цене, как этот... мать его, на языке вертится, ну, черный весь. А уж после фарцовщики за дело взялись. Ихняя специальность — иконы. Пограбили по церквям да по крестьянству — будь здоров! Но чумее всех для русской культуры отъезжанты. Сколько предметов на Запад ушло: ожерелий, браслетов, колец, диадем, бриллиантов, изумрудов, сервизов — подумать страшно. Россию никому не жалко. — Голос Шефа дрогнул. — Я это к тому, чтобы ты чувствовал, какое большое дело делаешь. Уж мы-то не уедем, не выпустим из рук, что России принадлежит.

Афанасьич чувствовал. Это были лучшие минуты его жизни. Шеф обладал редким умением очаровывать людей, которые ему служили. Он уже не раз дарил Афанасьича такими вот экскурсиями в большой мир культуры, истории, политики. И жалко было, что Шеф вдруг свернул с серьезного разговора на ненужное личное и стал выпрашивать Афанасьича, задал ли тот посмертного щупака своей клиентке. «Скажи честно, ты подержался?..» Правда, к этому времени Шеф до конца дочитал пухлый том из своей особой библиотеки. Отмолчаться не удалось, и Афанасьич сказал с укоризной: «Как вам такое в голову пришло?» «А ты же обмирал по ней», — трезвым и холодным голосом отозвался Шеф. Ну откуда он мог знать? Ни с ним, ни с кем другим Афанасьич сроду не говорил о своих чувствах. На то он и «Шеф», а не «подшефный», что обладает даром видеть тайное, что открыта ему подноготная окружающих. Иначе не мог бы рядовой техник, пусть и с инженерским дипломом, стать одним из первых лиц в государстве. Только на дружбе с Самим далеко не уедешь, мало, что ль, у него таких дружков по всей стране.

— А, покраснел! — В голосе Шефа не было торжества, настолько он был уверен в своей догадке. — Ишь, скромняга! А ничего особого в этом нет. Мамочка рассказывала, во время Великой французской революции аристократки платили палачу, отдавали перстни, золотые кресты, ожерелья. — Шеф кинул взгляд на драгоценность, — чтобы он не имел их после казни. И не только простые принцессы, сама королева Мария-Антуанетта откупилась от палача, забыл его фамилию. Надо у Мамочки спросить. Она все помнит. Вот голова! Я ее Коллонтайкой зову. Знаешь, кто такая Коллонтай?

— Нет.

— Надо знать историю партии. Первая советская женщина-посол и... последняя. Пламенная революционерка. Одна из всей ленинской гвардии, которая не села. У нас на Украине говорят: ще це за ум, ще це за розум!

И вдруг, как это не раз бывало, он перестал трагично и серьезным, деловым голосом заговорил о предстоящем деле, намеченном на послезавтра. Афанасьичу предстояло выяснить отношения с профессором ГИТИСа, уезжавшим к сыну в Канаду. Он не обладал громким именем, но в узком кругу специалистов пользовался уважением как один из самых удачливых старушатников Москвы. «Старушатниками» называются коллекционеры, которые шуруют среди старух, порой берут над ними опеку и тянут до самой смерти, получая в наследство всякую рухлядь, в которой нередко оказываются предметы высокой ценности. Не было случая, чтобы старушатник не оправдал потраченных на старуху сил и средств. Эта специальность требует терпения, выдержки и умения наступать на горло не собственной, а чужой песне, когда слишком затянувшаяся, бесполезная, мучительная и для себя, и для других жизнь толкает мысль опекуна к повышенным дозам снотворного или

сильнодействующей комбинации крепких лекарств. Настоящий старушатник чтит уголовный кодекс и не идет на открытую распря с ним. Старушки всегда отходят чисто, не придерешься, до последнего вздоха считая опекуна своим бескорыстным другом. Театральный профессор скопил за долгую терпеливую жизнь кое-что, но было у него и настоящее сокровище: собрание древнекитайских эмалей. Они имеют какое-то специальное название, но Шеф запомнил и долго сокрушался, помянув Мамочку-Коллонтайку и называя ее своей памятью. Дело не в названии, надо воспрепятствовать увозу исконной русской ценности на Запад. И Шеф считал, что операцию хорошо провести под шум, который подымет в городе в связи с гибелью артистки. Обывательская мысль наверняка устремится к таинственной и дерзкой банде, и это воспрепятствует возникновению темных слухов и грязных сплетен.

Афанасьича побочные соображения не интересовали, а суть задания он давно уже усвоил. Хладнокровие Афанасьича чем-то задело Шефа. Он спросил, глядя в упор:

— А если тебе прикажут меня замочить, как поступишь?

— Никто мне такого не прикажет, — спокойно ответил Афанасьич.

— Нет, а все-таки... Представь себе такую ситуацию.

— Как я могу ее представить, если выше вас никого нет?

— Ну, а понизят меня? — домогался Шеф, сам не зная для чего.

— Я вас очень уважаю, — тихо сказал Афанасьич.

Шеф не понял застенчивого сердца Афанасьича и затосковал. Ну, договаривай. Уважать-то уважаешь, а долг служебный выполнишь. И не верхний я

вовсе, есть повыше меня. Да и не в этом дело... Нет у нас личной преданности, только — креслу. Пора на покой этому судачу. Жаль, что нельзя его просто на пенсию: годы не вышли и знает слишком много. Второго такого не скоро найдешь. Но, как говорится, незаменимых людей нет.

— Ладно, Афанасьич, ты побежал. Не то в клуб опоздаешь. Хочешь на посошок? Вольному воля. Была бы честь предложена. Бывай!

Он вышел вслед за Афанасьичем в прихожую, затворил за ним дверь, наложил засовы, вернулся в кабинет и по внутреннему телефону попросил жену зайти к нему.

И она пришла. Она вшумела в комнату, «как ветвь, полная цветов и ягод», так, кажется, у Олешки? И, как всегда, ее появление отозвалось сушью в горле. Ее спелая, налитая прелесть, уму непостижимые формы неизменно заставляли его врасплох. Она была чудесна двадцатилетней, но с годами, особенно шагнув в зрелость, делалась все лучше и лучше, как бы стремясь к заранее предназначенному несовершеннейшему образу. Иные женщины перегорают в молодости, большинство — к сорока (тридцать девять не возраст — состояние, которое длится годами), а Мамочка широко отпраздновала свое сорокалетие и в том же победном сиянии двинулась дальше.

Высокая должность и соответствующий ей чин, то особое положение, в которое его ставила дружба с Самим, весь достаток были выслужены им самоотверженным трудом, бессонными ночами, личной верностью, беззаветной преданностью социализму в его нынешней, завершенной, как спелое яблоко, форме (в этом немалая заслуга его Друга по техникуму-институту), но Мамочку, если начистоту, он не заслужил. Она была ему не по чину. И когда пятнадцать



лет назад Высокий друг положил на нее глаз — тогда свежий, карий, а сейчас похожий на тухлое яйцо, — он не ревновал и даже не переживал, приняв как должное. Мамочка была создана, чтобы царить. Все же царицей она не стала — жениться по любви не может ни один король. Осталась с ним, не только не нарушив, но еще более укрепив узы верной, хоть и неравной дружбы. Мамочка была для него трофеем, который каждый день надо завоевывать заново. Что он и делал.

— Опять наглотался? — пронизательно определила Мамочка.

В другое время он стал бы изворачиваться, врать, но сейчас верил в свои козыри.

— Маменция! — сказал он развязно. — Докладаю: задание выполнено, противник уничтожен, взяты трофеи.

И протянул ей сноп ослепительных искр. Мамочка отличалась завидным хладнокровием; но сейчас она дрогнула. Всем составом и по отдельности: качнулся высокий, как башня, шиньон («шиньонским узником» называл его Сам в добрую минуту, явно на что-то намекая), и в разные стороны метнулись под капотом тяжелые груди.

— Да-а, это предмет, — сказала она осевшим голосом. — Так бы тебя и поцеловала.

— За чем же дело стало?

— Не выношу сивухи... Ладно, я тебя сегодня приму, только прополощи рот.

— Будет сделано, товарищ маршал!

— Подумать страшно, что такая красота могла уплыть за бугор. Вот уж верно: что имеем, не храним...

— ...а потеряв, не плачем, — подхватил муж и добавил с невинным видом: — Может, сдадим в Оружейную палату?

— Еще чего! Чтобы ее стащили? Нет уж, у нас сохранней будет. Как там с театралом?

— С каким «театралом»?

— Ну, с отъезжантом. Из ГИТИСа.

— Все нормально. Послезавтра Афанасьич его навестит.

Она сказала задумчиво:

— Не нравится мне твой Афанасьич. Больно глубоко залез.

В унисон бились их сердца и трудилась мысль. Если у него еще оставались какие-то сомнения насчет Афанасьича, то теперь они исчезли без следа.

— Не беспокойся, Мамочка, я уже принял решение.

Она взглянула на него с неподдельной нежностью. Конечно, он был не блеск, впрочем, как и все нынешние мужики: выпивоха, необразованный, малокультурный, но под шапкой у него кое-что имелось. А жить можно с любимым, только не с дураком. Нет, дураком он не был.

— Долго не канителься, — сказала она. — А то я усну...

Тяжелодум Афанасьич тоже не был дураком. Весь долгий путь от дома Шефа до клуба он думал о странном вопросе, которым тот ошеломил его перед уходом. Вопрос этот был покупкой, но Афанасьич не купился, поскольку никогда не замышлял против Шефа. А вот Шеф себя выдал. Он чего-то боится, не доверяет Афанасьичу и хочет от него избавиться. Афанасьичу в голову не приходило подвергать сомнению правовую сторону своей секретной службы. Он исполнитель, что прикажут, то и делает, остальное его не касается. Нечего ломать мозги, отчего да почему переменялся к нему Шеф. Важно одно — это приговор. Но от приговора до исполнения есть время. Можно опередить Шефа и самому нанести

удар. Замочить Шефа, конечно, очень нелегко и... жалко. Эдак вовсе один останешься. Чистая женщина — для спанья, а душа осиротеет. А если Мамочку?.. Небось это она сбила Шефа с толку. Бабы подозрительны да и не умеют ценить мужской дружбы. Ее убрать куда проще и безопасней. Подымать волну не станут. Спишут на самоубийство. А Шеф поймет намек. Поймет, что Афанасьич обо всем догадался, но не захотел его губить. А коли так, почему не сохранить партнерство? Старый друг лучше новых двух.

Успокоившись на этот счет, Афанасьич отворил тяжелую дверь клуба и шагнул в тепло, свет, музыку.





Джексон Роджер  
Тейт в 1945 году,  
накануне приезда в  
Москву.



Зоя Федорова в  
1934 году.





День Победы на Красной  
площади. Рядом с Зоей на  
снимке слева ее подруга  
Элизабет Иган, за спиной  
которой – Джексон Тейт.

Зоя с дочерью Викторией.

Фотография, послужившая  
обличительным докумен-  
том в преследованиях Зои  
НКВД.

Вика Федорова в возрасте  
10-ти лет – вскоре после  
того, как она встретила с  
матерью.





Зоя Федорова в 1958 году.



Зоя и Вика у гостиницы «Украина».



Адмирал Тейт с дочерью на первой пресс-конференции во Флориде.  
Апрель 1975 г.





Джексон Тейт в своем кабинете.



Виктория Федорова.

## СОДЕРЖАНИЕ

ПРОЛОГ .....	7
КНИГА ПЕРВАЯ .....	11
КНИГА ВТОРАЯ .....	47
КНИГА ТРЕТЬЯ .....	117
КНИГА ЧЕТВЕРТАЯ .....	183
КНИГА ПЯТАЯ .....	265
ЭПИЛОГ .....	443
Ю. Нагибин. АФАНАСЬИЧ (рассказ) .....	446

*Литературно-художественное издание*

**Федорова Виктория, Фрэнкл Гэскел**

## **ДОЧЬ АДМИРАЛА**

Художественный редактор *А. А. Барейшин*  
Технический редактор *Т. А. Комзалова*  
Корректор *Е. Ж. Попова*

Подписано в печать с готовых диапозитивов 25.09.97. Формат 84×108<sup>1/32</sup>. Бумага типографская. Гарнитура Академическая. Печать высокая с ФПФ. Усл. печ. л. 25,2. Доп. тираж 15 000 экз. Заказ 2352.

Фирма «Русич». Лицензия ЛР № 040432 от 29.04.97.  
214000, Смоленск, ул. Глинки, 7.

При участии ООО «Харвест». Лицензия ЛВ № 729 от 09.02.94.  
220013, Минск, ул. Я. Коласа, 35-305.

Минский ордена Трудового Красного Знамени полиграфкомбинат МППО им. Я. Коласа. 220005, Минск, ул. Красная, 23.

Качество печати соответствует качеству предоставленных издательством диапозитивов.



## Ж Е Н Щ И Н А - М И Ф

### Виктория Федорова, Гэскел Фрэнкл ДОЧЬ АДМИРАЛА

Книга Виктории Федоровой, написанная в соавторстве с Гэскелом Фрэнклом, напоминает сценарий фильма со счастливым концом: молодая русская актриса встречается с отцом-американцем, которого она никогда в жизни не видела. Однако полная история жизни двух русских женщин – Зои и Вики Федоровых – куда сложнее. Виктория Федорова – дочь известной русской актрисы Зои Федоровой и американского офицера Джексона Тейта, которых судьба свела в самые тяжелые годы – годы войны. Их страстный роман продлился совсем недолго: Тейт был выслан из страны еще до того, как узнал, что у него будет ребенок. Все тяготы времени пали на плечи Зои: тюрьма, лагерь, разлука с любимым и дочерью... История, в свое время облетевшая весь мир, сегодня вернулась, наконец, и к российскому читателю.

